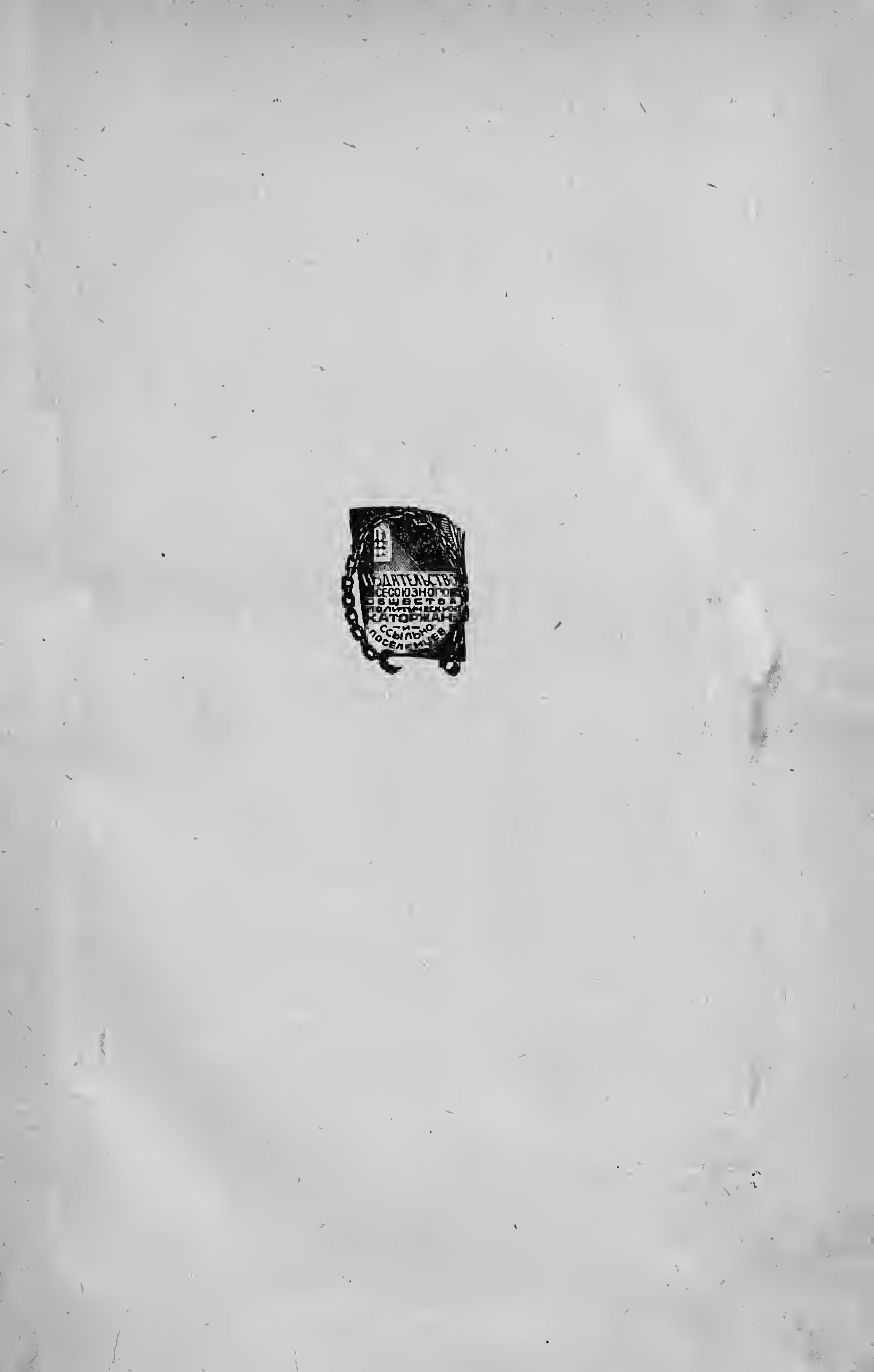
СИБИРСКАЯ ССЫЛКА

ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН

МОСКВА 1927




ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
— И —
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА“

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГА XXIII—XXIV

МОСКВА

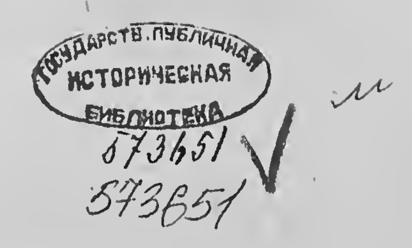
СИБИРСКАЯ ССЫЛКА

СБОРНИК ПЕРВЫЙ

Редакция
Н. Ф. Чужака

С иллюстрациями

1927



Москва. Главлит № 82.816. 3.000 экз.

Москва, «Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный 9.

СОДЕРЖАНИЕ.

Наши сборники.

(Предисловие).

Как это ни странно слышать чуть ли не на 25-ом году со времени почина массовой сибирской ссылки, но предлагаемый вниманию читателя сборник по изучению этой ссылки приходится считать буквально *первым*. И—понятно. С 1900-х, примерно, годов по 1917-й нам было не до истории массовой ссылки потому, что не было конца, казалось, самой ссылке. Ну, а с 1917 года по другим причинам стало вообще не до истории. К истории мы понемножку подбираемся уже в наши дни.

По тем же самым, нужно думать, причинам мы только начинаем еще работать *планово*. Так, в области истории тюрьмы и ссылки, как и в области истории революционного движения вообще, мы все еще не можем выйти из *периода первоначально-мемуарного накопления*, лишь очень слабо выявляясь в работе *исследовательской*. Вот, даже и наличие такого исключительно благоприятного фактора, как Общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, с его огромным человеческим материалом, мы не можем еще в этом смысле полностью использовать.

Чертами индивидуально-эпизодического преобладания, а с ним и неизбежного суб'ективизма, отличается и настоящий выпускаемый Обществом сборник, посвященный массовой сибирской ссылке.

Из работ специально-исследовательских читатель с удовлетворением остановится здесь на обстоятельной статье *В. Н. Соколова* «Сибирь и ссылка», с исключительной марксистской четкостью анализирующей социально-правовое, экономическое и культурно-бытовое положение ссылки. Статья «Ссылка и областничество» *Н. Чужака* посильно углубляет затронутый и В. Н. Соколовым вопрос об отношениях между ссылкой и коренным населением Си-

бири; там же трактуется и ряд других «сибирских» вопросов. Статья *В. Николаева* «Ссылка и краеведение» иллюстрирует культурно-научное значение сибирской политссылки на примере Якутской области (в дальнейшем эту тему, как и тему о революционизирующем влиянии ссылки, придется расширить).

«Историческая справка» *Е. Никитиной* дает впервые извлеченные из разного рода официальных документов интереснейшие цифры о составе, положении и росте политической ссылки в Сибири, начиная с 1900 года.

К монографически-мемуарным статьям, характерным единством темы, принадлежат два небольших сравнительно наброска: «Черемховские копи» *В. Кухарченко* и «История одной столовки» *С. Корочкина*.

Из статей индивидуально-воспоминательских читатель, думается, с интересом остановится на очерке «На Лене» *С. Сибирякова*, привлекающем внимание своей жуткой, эпической бесхитростностью, возвышающей этот совсем непритязательный фото-набросок до уровня исторического документа. К мемуарным же, но не повинным в цельности монографизма, очеркам относятся: «От каторги к ссылке» *Д. Яковлева*, «У берегов Байкала» *В. Плескова*, «Из ангарских переживаний» *Ядова*, «В якутской ссылке» *А. Байкова* и другие.

Наконец, из статей, описывающих побеги из сибирской ссылки и представленных в редакцию в количестве несоразмерном, мы сочли возможным взять только наброски: «На уру» *Н. Лавриновича*, «С казенной дачи» *А. Иосифова* и «Наши побеги» *Нестроева*. Обилие описывающих побеги статей отнюдь не радовало редакцию. Не говоря уже о том, что большинство этих побегов похожи один на другой,—с содействием товарищей по ссылке и извне, с обманом стражника, урядника или жандарма,—самым характерным для авторов таких статей является игнорирование ими местной (физической) оболочки, в которой—плохо ли, хорошо ли—обреталась их «душа» и без которой, это ясно, нет ни «ссылки», ни «сибирского».

Редакция меньше всего хотела бы останавливаться и на так-называемых «душевных переживаниях» ссылки, ковыряться в которых так охочи многие авторы, не замечающие того, что воспроизведение этих переживаний на расстоянии обращается в своеобразное, нередко обывательское, *любование* и что главное-то все же

было не в том, как воздействовала на товарища среда, а в том, как переделывал эту среду массовый ссыльный. Изучение *сопротивляемости* окружавшей ссыльного среды—вот первая наша задача. *Преодоление* этой сопротивляемости—второй, и еще более важный, момент для нашего изучения.

Несомненно, что в последнем отношении в сборнике имеется достаточно дефектов, но обойтись без этих дефектов мы сумеем разве только в следующем сборнике. В этом, между прочим, сборнике должны будут найти себе место не только монографии-*воспоминания* по частным случаям сибирско-ссылочного бытия,—что тоже нужно,—но и четкие монографические *исследования* бывших ссыльных на определенные темы.

Мы хотели бы иметь в этом втором нашем сборнике работы товарищей, видевших в Сибири не насильственно навязанную, и поэтому уж ненавистную им, территорию-канву для «внутренних», сладко-мучительных узоров, вышиваемых «героем», а ни в чем постыдном не повинную окраину, нуждавшуюся в добром приложении рабочих рук,—товарищей, *умевших ненавидеть деспотические цепи, но умевших и любить страну, как бы невольно предназначенную для воздействия.* Центр тяжести для нас не столько в том, как издевалось царское правительство над ссылкой, сколько в том, как героически *преодолевала* ссылка эти издевательства и, невзирая на расправу, боролась и делала.

Этим мерилом для оценки отбираемого для печати материала и руководствовались мы, составляя первый, предлагаемый ныне вниманию читателя сборник. Этот же критерий хотели бы мы положить в основу составления и будущего сборника. Только в порядке более монографическом. И более плановом.

Редакция.



Возвращение ссыльных с охоты.

Е. Никитина

Ссылка 1905—1910 годов.

(Историческая справка).

Русская ссылка ведет свое начало еще с XVI века, со старинной «опалы», изгнания подданного, прогневавшего высшую власть.

В этот период ссылка не сопровождалась никакими правовыми или имущественными лишениями, и ссылаемый на новом месте начинал новую жизнь полноправным гражданином своего отечества. Ссылали в дальние места, а позже, для закрепления за русской верой, языком и законом вновь завоеванных земель, на окраины государства.

С ростом русского владычества раздвигались рамки границ, а с приобретением Сибири открылась новая, огромная, никому неведомая территория. Ссылка в Сибирь стала уже носить характер тяжкого наказания, равного гражданской смерти, и обросла безобразными придатками такового: лишением прав, битьем кнутом, бритьем, заковкой и проч. Право ссылать в Сибирь, как в новую колонию, приобрели губернаторы, городские и сельские общества, помещики (собственно—«ходатайствовать о ссылке», что равнялось приговору).

В 1835 году ссыльных было: в Восточн. Сибири—41.942 чел. (муж.—34.390, женщ.—7.552); в Зап. Сибири—38.652 чел. (муж.—32.268, женщ.—6.384); всего—80.594 ч.

Вся эта масса оторванных от жизни людей не жила в тюрьмах, как каторжные, но так или иначе обслуживала государство, состоя вечными его ленниками.

Законодательство, начиная с попытки Сперанского в 1826 году, старалось ввести права, обязанности и распорядок жизни ссыльных в какое-то русло, но вечно текучий состав насильно водворяемых на жительство и поселение людей не укладывался ни в какие рамки. Много раз поднимался вопрос об упразднении сибирской ссылки: в 1865 году он обсуждался в кабинете министров, в 1880 г. государственный совет вынес «пожелание», чтобы ссылка в Сибирь производилась не иначе, как по постановлению суда, а в 1888 году само тюремное ведомство, в лице своего начальника Галкина-Враского, возбудило ходатайство об отмене административной ссылки.

Доклад был написан очень пространно и по-своему убедительно, поступил в министерство внутренних дел и в 1895 году, пройдя все инстанции, должен был обсуждаться в специальной комиссии. Но тут Галкин-Врасский был назначен членом государственного совета, и... комиссия больше не собиралась!

Вот краткое предисловие к истории новой ссылки.

К началу XX века (по временному законоположению 10 июня 1900 года), т. е. ко времени широкого захвата ссылкой политических «преступников», уже выработались ясно два вида ссылки: 1) *по суду*, ссылка на поселение в Сибирь с лишением всех прав состояния, за преступления политические и религиозные и бродяжничество, пожизненное, уголовное наказание и 2) *административная*, по постановлению органов охраны государственного порядка на определенное время, с сохранением обще-гражданских прав и обязанностей.

Поселение, как сопряженное с лишением прав и насильственным водворением, считалось после каторги тягчайшим наказанием; поселенец привязан к месту, он не может отлучиться больше, чем на 7 суток и на 25 верст от своего жилья; побег с поселения карается почти механическим присуждением к каторжным работам до 4-х лет; наконец, ссыльно-поселенцы могли быть подвергнуты телесному наказанию (напр., за отлучку более, чем на 7 суток). Кроме того, ссыльно-поселенец не мог заниматься торговлей, охотой, рыбной ловлей, приобретать имущество, служить государству до истечения определенного срока (от 6 до 10 лет), когда ему разрешалось приписываться к крестьянству и ходатайствовать о дозволении прожития в городе.

В ссылку поселенцы попадали не только непосредственно после суда, но и по окончании срока каторжных работ; поселение являлось для каторжанина переходным состоянием к свободному положению. Даже по официальному донесению Галкина - Врасского, экономическое и правовое положение ссыльно-поселенцев так невыносимо, что рассчитывать на возможность для них естественного перехода в крестьянское сословие не приходится: поселенец бежит от нищеты и бесправия при первой возможности. Практика жизни показала, что поселенцы, — это лишь этап на каторгу, ибо 75% ссыльных «ударяются в бега» с первой же весной и либо становятся бродягами-непомнящими, либо попадают в разряд каторжан-обратников.

Если ссыльно-поселенцы, в видах будущего их крестьянствования, направлялись в сравнительно благополучные Иркутскую губернию, Приамурскую и Забайкальскую области (судившиеся в Сибири—в Якутскую область), то *административные*, особенно высылаемые за политические дела, распределялись в ледяных, голодных и диких пустынях Нарымского и Туруханского края, в суровой Тобольской губернии и частью в Якутской области.

Насколько непонятен был порядок распределения ссыльных, может, напр., показать такое распоряжение на 1898 год: 1) в Иркутский уезд посылается 5% женщин и 18% мужчин (со всей ссыльной наличности); 2) в Нижнеудинский уезд—«менее тяжкие преступники»; 3) в Балаганский у.—бродяги; 4) в Киренский уезд—грабители и разбойники; 5) в волости по р. Ангаре—евреи. Как видите, ни семейное положение, ни экономическое, ни физическое состояние при этом никакой роли не играло.

К 1900 году ссыльных всех категорий в Сибири значилось:

			% к жител.
В Тобольской губернии	106.098	чел.	7,4
„ Иркутской „	71.800	»	14,2
„ Енисейской губ. (Турух. край)	51.019	»	9,1
„ Томской губ. (Нарымск. край)	38.334	»	1,4
„ Забайкальской области	14.395	»	2,2
„ Якутской области	5.177	»	2,0
„ Амурской „	679	»	0,6
	287.502	чел.	5,6

Из них: ссыльно-поселенцев—100.595 и административных—148.418; остальные—водворяемые и бродяги; собственно же политических, считая и отбывших срок каторги, всего 1.760 чел.

Такое малое количество административно-ссыльных политических не должно нас удивлять: по литературе мы знаем, что ужасом сибирской ссылки были не нужда, не оторванность от старой жизни, а одиночество, заброшенность среди дикого, чужого, часто враждебного населения. Даже нельзя сказать—«населения»: в Туруханском крае, напр., всего 15 тыс. жителей, 3 человека на 10 кв. верст; в Якутск. обл.—1; в Архангельск. губ.—4; в Сибири вообще 6—против 230 в Европ. России. Вспомним описания ссылки 80-х годов у Короленко и письма ссыльных народовольцев, отчаянные побеги (у Тана и Серошевского) и гибель одиночек, затерянных в гиблых местах.

За десятилетие до первой революции всего было сослано административно в Сибирь и северн. губернии 1.443 чел. политических. А именно:

1894 г.	21	чел.	1899 г.	49	чел.
1895 „	48	„	1900 „	40	„
1896 „	58	„	1901 „	38	„
1897 „	117	„	1902 „	115	„
1898 „	47	„	1903 „	910	„

В 1904 г., по случаю русско-японской войны, ссылка в Сибирь была временно приостановлена.

Революция 1905 года выкинула в Сибирь небывалое до того количество «политики». И—не в одну Сибирь: 15 отдаленных губерний и областей России должны были принять опасный для цен-

тральных местностей элемент. Насколько такая нелепая мера способствовала искоренению крамолы в государстве, мы не будем обсуждать; известно только, что «ссыльные» губернии оказались наиболее революционными в момент последнего боя. В 1905 году к ссылке назначены были в порядке охраны всего 115 лиц; дальше идет уже *ликвидация революции*:

1905 г.	115	чел.	
1906 „	7.677	„	
1907 „	8.130	„	и 600 чел. военными
1908 „	10.160	„	властями по зако-
1909 „	2.203	„	нам военного вре-
1910 „	650	„	мени.
Всего . . .	28.935	чел.	+ 600 = 29.535 чел.

Как видим, к 1910 году мин. вн. дел пришло к тому же выводу, что и в 1880: административная ссылка вредна для населения, бессмысленна для наказуемого, ибо толкает его на дальнейший путь «преступления», и обременительна для государства. В самом деле, препровождаемые не только в отдаленные губернии, но и в самые глухие места этих областей, ссыльные должны были за счет государства: 1) просидеть некоторое (в среднем—50 дней) время в тюрьме; 2) ехать по железн. дороге или на пароходе; 3) итти пешком—все в сопровождении стражи и конвоя.

Вот число пеших верст в этапах обычных мест ссылки (на 1910 год):

Семиреченская область	2.110	вер.
Семипалатинская „	1.890	„
Архангельская губ.	1.600	„
Тобольская „	1.490	„
Вологодская „	1.385	„
Вятская „	1.130	„
Томская „	1.080	„
Олонецкая „	1.075	„
Казанская „	1.070	„
	12.830	этапных верст.

Мудрено ли, что тюремное ведомство, высчитывая стоимость арестантских передвижений, брало в среднем на 1 арестанта 4 тыс. верст пути в год? Кроме того, для наблюдения за ссыльными политиками, как поднадзорными, требовались «надзиратели» из расчета 1 надзиратель на 5, позже—на 12 человек, с жалованьем в 200—300 руб. в год (смотря по местным условиям); да на каждого ссыльного исчислялось 200 руб. казенного довольствия (тоже в год).

По отчету министерства внутренних дел к 1 января 1910 г. в *административной* ссылке числилось:

	По охране.		По воен. положен.	Всего.
Архангельская губ.	1.915	чел.	25	1.940
Томская губ. (Нарымский край)	1.788	„	—	1.788
Тобольская губ.	1.420	„	7	1.427
Вологодская „	1.416	„	9	1.425
Енисейская „ (Турух. край)	856	„	6	862
Олонецкая „	816	„	23	839
Оренбургская губ.	646	„	119	765
Вятская губ.	533	„	59	592
Якутская обл.	331	„	—	331
Пермская губ.	290	„	12	302
Астраханская губ.	231	„	26	257
Забайкальская обл.	61	„	34	95
Уральская „	10	„	1	11
Иркутская губ.	7	„	34	41
Всего . .	10.320	чел.	355 чел.	10.675 чел.

Практика выработала известную традицию мест и сроков ссылки: обычно ссылали в Якутскую обл. и Иркутск. губ. на 5 лет; в Туруханск. край, Нарым и Тобольскую губ.—на 4 года; в Архангельскую, Вятскую, Пермскую, Олонецкую губернии—на 3 года; Вологодскую и Астраханскую—на 2 года. Практика же исчислила число бежавших в 15% к общему количеству административных ссыльных. При этом ясно, что бежали профессиональные революционеры или те, кто хотел перейти в эту категорию; следовательно, в огромном большинстве основная масса ссыльных на местах состояла из беспокойных обывателей или случайных бунтарей.

Этим об'ясняется количество всевозможных, иногда драматических, историй, которыми полна ссылка 1905—08 годов. Раскройте любые воспоминания ссыльного и вы найдете потрясающие картины. А вот им об'яснение—разработка данных о составе ссылки 1908 г.

Всего было налицо в это время . .	15.883	человека ссыльных
Из них: рабочих 41%	6.411	„
крестьян 25%	3.970	„
интеллиг. и разночинц. 34%	5.502	„

Первое данное—66%—10.382 чел.—*люди, оторванные от труда, земли и своего класса.*

Членов социалист. организ.

	Чел.	% к общ. числу.
Социал-демократ. . .	3.500	22,0
Социал.-революц. .	3.000	18,9
Еврейск. с.-д. парт. (Бунд)	460	2,8
Польск. социалист. парт. (ППС) . . .	460	2,8
Женщин партийных	365	2,4
	7.785 ч.	48,9%

Случайный и бунтарский элемент.

	Чел.	% к общ. числу.
Беспартийных. . .	5.998	38,0
Бесп. крест. союза	1.200	7,5
Анархистов всех толков	900	5,6
	8.098 ч.	51,1%

Преобладание участников массовых группировок времени революционного под'ема ясно: аграрники, забастовщики, экспроприаторы, просто сочувствующие—вот кто отправлялся в «места отдаленные» и «не столь отдаленные от столицы». По интеллигентской группировке (34% всего количества, или 5.502 чел.) ссыльные распределялись так:

	Челов.	%
Учителей и учительниц	790 чел.	14,3
Врачей, фельдш. и фельдшериц	778 „	14,1
Неопределен. профессий . . .	746 „	13,5
Студентов	550 „	10
Земских деятелей	414 „	9,6 и т. д., и т. д.

Как общее правило, огромное большинство ссыльных—мужчины; женщин всего 10%. Если далее мы будем рассматривать массу ссылки по юридическим признакам, окажется, что сослано по обвинению:

в принадлежности к партии	44%
„ „ „ преступному сообществу	15%
за пособничество (хранение, распространение, сокрытие)	9%
„ участие в бунтах и восстаниях	17%
„ „ „ призыве к забастовкам, неповиновению властям и пр.	15%

Тут чистая партийность сокращается еще более—до 44%: очевидно, что не все члены революционных организаций шли в ссылку по партийным делам. Но во всяком случае и за этой полусознательной массой уже был большой тюремный стаж: 51% всей административной ссылки имели уже за своими плечами месяцы и годы тюрьмы.

Сидели в тюрьмах: 1 раз	49%
2 „	25%
3 „	15%
4 „	7%
более 4-х раз	4%

Значит, более половины имели политическое прошлое. А между тем, это все молодежь: возрастное соотношение в ссылке резко перемещается в сторону молодости против нормального в стране.

Возраст.

	18—20 л.	21—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	более 60 л.
В ссылке	18%	57%	16%	6%	2,6%	0,4%
„ России	13%	29%	23%	16%	12%	7%

Поражает количество несовершеннолетних «преступников», не достигших 20-ти лет, а ведь за каждым из них еще числятся долгие месяцы, а, может быть, и годы тюрьмы! Со скольких же лет стали опасны государству эти дети?! Восемнадцать процентов—ведь это 3 тысячи человек, 3 тысячи изломанных молодых жизней!..

Национальная группировка также перемещается, обнаруживая широту повстанческого движения этих годов:

	Русских и украинц.	Евреев.	Поляков.	Кавказск. народ.	Остальные.
В ссылке . . .	60%	22%	12%	4%	2%
„ России . . .	68,8%	4%	6%	1,2%	20%

Характерной является и образовательная скала: оказывается, что среди этих подрывателей основ—10% безграмотных, 4%—малограмотных, 43%—с низшим образованием, 26%—с домашним, 14%—с средним и лишь 3% с высшим, считая и неокончивших студентов. Опять-таки напрашивается сравнение: против 17% систематически обучавшихся—73% с отрывочными знаниями и 10% совсем без всякого образования.

А вот другое сопоставление, открывающее перспективы русского рабочего движения:

	Рабочих квалиф.	Горожан вообще.	Крестьян-землепашцев.
В ссылке . . .	41%	73%	25%
„ России вообще	10%	25%	70%

По мере углубления общего революционного движения в России, соотношения классовых группировок ссылки очень показательно изменились: через 3 года (1912 г.) большая анкета показала такую картину:

Рабочих.	50%
Землепашцев-крестьян.	10%
Кооператоров и земцев	10%
Интеллигент.-разночинцев	30%.

Пролетарский элемент преобладает по всему фронту, между тем как квалифицированная интеллигенция отступает—разбитую армию сменяет молодая поросль могучего рабочего движения.

К 1913 году административная ссылка отмерла вместе с отменой чрезвычайных и военных положений. Ликвидировали ее так же скоропалительно, как и восстановляли.

В 1910 году было	11.500	ссыльных.
К началу 1911 г.	6.946	„
„ июню 1911 „	5.632	„
„ началу 1912 „	3.500	„
„ июню 1912 „	189	„

Итак, об *административной* ссылке послереволюционного периода, по статистическим данным, мы можем вывести несколько заключений:

1. Продолжительность ее, как массового явления, можно считать 6½ лет (1906 г.—середина 1912 года).

2. Наибольшая напряженность — 1907 — 08 годы, наибольшая многочисленность—1908—1909 г.г.

3. Преобладание городского населения над сельским, рабочих над земледельцами и вообще людей мускульного труда над интеллигенцией.
4. Наступление рабочих и отступление крестьян.
5. Низкий образовательный ценз.
6. Преобладание беспартийных.
7. Большое количество повторных тюремных сидельцев.
8. Исключительно молодой возраст ссылаемых.
9. Малый процент женщин.

Что касается *ссылки на поселение*, то определить ее состав, а тем более подсчитать количество поселенцев пока вовсе не представляется возможным. Поселение питалось из двух совершенно различных источников: 1) из сосланных по суду непосредственно на вечное поселение с лишением всех прав и т. д. и 2) из отбывших срок каторжан. Первых можно почти без колебаний считать сплошь (с 1905 года) политическими, ибо по религиозным и бродяжьим делам шли единицы. По отчетам Г. Т. У., отправлено из России на поселение за эти годы 10.000 человек.

1. Сослано в Сибирь на поселение.

Годы.	Мужчин.	Женщин.	Всего.	% женщин.
1905 г.	641	28	669	4
1906 „	439	47	486	8
1907 „	753	41	794	5
1908 „	789	93	882	10
1909 „	880	96	976	9
1910 „	780	73	853	8
1911 „	1.100	88	1.188	7
1912 „	1.287	101	1.388	7
1913 „	2.601	169	2.770	6
Всего	9.270	736	10.006	7,3

Политические поселенцы распределялись по Иркутской и Енисейской губерниям; судившиеся по 102 ст. Уг. улож.—в Киренский уезд, Иркутской губ.; осужденные в самой Сибири—в Якутской области; из каторжан—в Забайкальской обл. и северных уездах Иркутск. губернии.

Если обратимся к данным о распределении сс.-пос. по Сибири (таб. 2 на стр. 20), то тут не только не совпадут годовые цифры, но и вообще число всех ссыльных за те же 9 лет превысит первые данные

на 2½ тыс. человек. Об'ясняется это тем, что таблица о ссыльных в Сибири дана, очевидно, по судившимся в Европейской России, тогда как в числе распределяемых по Сибири учтены уже и осужденные сибирскими судами и кончившие сроки сибирские каторжане.

Кроме того, отчеты отмечают два момента: посылку в Сибирь (вышеприведенная таблица) и доставку на место (нижеследующая), между которыми могут пройти месяцы, и таким образом—и почти наверное—ссылаемые и распределяемые в течение одного и того же года были различными подотчетными единицами и, естественно, давали разные цифры. Эти обстоятельства, конечно, не могут нарушить общего числа и соотношения (см. табл. на стр. 20).

Расход по доставке на место из России таких поселенцев был невероятно велик; если же принять во внимание, что по прибытии более половины поселенцев немедленно бежало, ловилось и снова водворялось либо на места, либо на каторгу, то эта трата государственных денег станет еще более несообразной. По официальному исчислению, содержание, провоз, доставка пешими трактами (насколько они огромны—мы уже видели) и окарауливание одного ссыльно-поселенца обходилось казне в среднем в 800 рублей, да натуральной и денежной повинностью на местное население—300 руб., итого 1.100 рублей на общественно-кастрированного человека!

По составу своему «чистые» [1] ссыльно-поселенцы приближаются, примерно, к административным: анкета 1912 года в Иркутской пересыльной тюрьме, где зимовали и шли дальше поселенцы, осужденные за весь год, дала: рабочих—69%, крестьян—совсем нет; партийцы распадаются на такие группы:

Социал-демократы	57,9%
Социал.-революционеры	17,5%
Анархисты-коммунисты	4,3%
П. П. С.	17,4%
Беспартийные	2,3%

Из этой же анкеты группа *окончивших каторжан-политиков*, шедшая на поселение (и, следовательно, осужденная 3—4 года тому назад на малые сроки), дала уже другое соотношение:

Социал-демократы	30,7%
Социал.-революционеры	35,8%
Анархисты-коммунисты	15,4%
П. П. С.	3,1%
Беспартийные	15,0%

По социальному составу указанная группа распределяется так:

Рабочих	46%
Крестьян	19%
Интеллигентов	35%

[1] Т.-е. получившие поселение по суду.

2. Ссыльно-поселенцы распределены по Сибири.

	1905 г.		1906 г.		1907 г.		1908 г.		1909 г.		1910 г.		1911 г.		1912 г.		1913 г.		Итого.		Всего человек.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Енисейская губ.	—	—	—	—	515+	60	18+	4	806+	139	82+	9	386+	59	—	—	636+	57	2.443+	328	2.771
Иркутск. губ.	—	—	—	—	3+	3	712+	117	17+	1	499+	96	723+	54	1348+	125	2126+	146	5.428+	542	5.970
Якутск. обл.	—	—	63+	1	56+	8	30+	3	58+	1	68	—	73+	1	18	—	18+	6	384+	20	404
Забайкальск. обл.	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	22+	3	27	—	84	—	75	—	214+	3	217
Тобольск. губ.	44+	14	175+	51	161+	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	380+	83	463
Томск. губ.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Приморская обл.	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
В распоряжении иркутского тюремн. отдела и иркутского губернатора	684+	174	301+	57	74+	14	50+	11	198	—	—	—	736	—	—	—	223	—	2.266+	256	2.522
	728+	188	541+	109	816+	103	810+	135	1081+	141	671+	108	1945+	114	1450+	125	3078+	209	11.120+	1.232	—
	916		650		919		945		1.222		779		2.059		1.575		3.287		12.352		12.352

Условия жизни ссыльно-поселенцев были как-будто те же, что и у административных: раз попав в ссылку, они подвергались тому же надзору и той же регистрации, но, во-первых, они были лишены материальной поддержки (в сумме около 15 руб. в мес.), которую получали административные, а, во-вторых, как мы уже отмечали, были прикреплены к своей волости или посаду...

Такими отрывочными данными о ссыльно-поселенцах мы должны пока довольствоваться. Дело будущего—разработать архивы иркутской и енисейской ссылки и подробно осветить эту область старороссийской карательной системы, с одной стороны, и интереснейшую полосу нашего общественного бытия—с другой.

Статья наша уже была в наборе, когда нам удалось, наконец, получить точные цифры по приговорам к ссылке на поселение за государственные преступления после 1905 года. Данные по приговорам военных судов оказались хорошо разработанными в официальных отчетах военного министерства, изданных в ограниченном количестве и до сих пор совершенно не исследованных; приговоры же по гражданским судам пришлось взять из статьи Тарновского в № 10 за 1915 г. «Журн. Мин. Юстиции», составленной на основании анкетных карточек министерства юстиции. Таким образом, мы получили не только точное количество приговоренных, но и любопытную картину работы этих судов, а также освещение состава ссыльных.

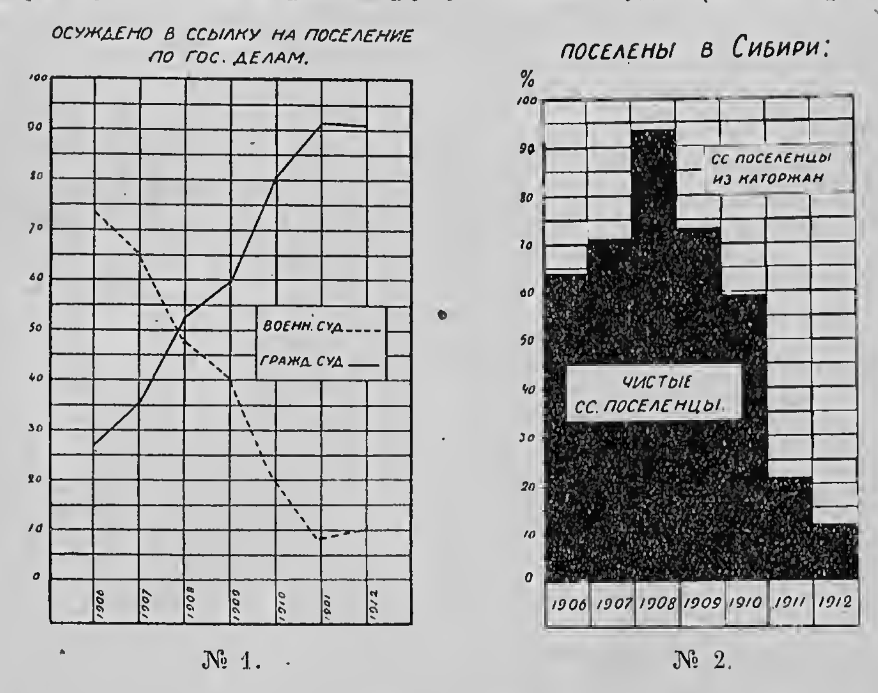
Начнем сводку данных с 1906 г., так как октябрьская амнистия 1905 г. освободила всех политических поселенцев, а реакция не успела еще засудить новых.

3. Осуждено по государственным преступлениям в ссылку на поселение.

Годы.	Военно-окружн. суд.	%%	Гражд. суд.	%%	Всего.
1906	306 чел.	74	108 чел.	26	414 чел.
1907	471 „	65	252 „	35	723 „
1908	439 „	47,5	485 „	52,5	924
1909	364 „	40	533 „	60	897 „
1910	98 „	19	432 „	81	530 „
1911	36 „	8,6	384 „	91,4	420 „
1912	16 „	9,5	153 „	90,5	169 „
Всего . .	1.730 чел.	42,6	2.347 чел.	57,4	4.077 чел.

В конечном результате число осужденных военными и гражданскими судами почти уравновешивается — 43 и 57%; но какая

разница в соотношении приговоров на протяжении 7 лет! В то время, как военные суды с 1906 года, апогея массовых процессов, постепенно снижают приговоры на поселение почти на-нет, гражданские широкими шагами нагоняют и далеко перегоняют своих блистательных конкурентов. Оно и понятно. Наказание это чрезвычайно удобно в сомнительных случаях («за принадлежность»), когда явных улик в тяжких государств. преступлениях не было, а убеждение в «причастности» подсудимого укреплялось; к тому же, оно разгружало тюрьмы от беспокойного и всегда опасного элемента. И мы видим, что если к каторжным работам гражданскими судами было приговорено 1.138 чел., то к ссылке на поселение—2.347 чел. политических, т.-е. вдвое больше; к общему же числу приговоренных ко всяким наказаниям гражд. судами за политику сс.-поселенцы составляют 10%, а каторжане 4,5%. Увеличение приговоров па поселение в работе гражд. судов явно растет с 1908 г.—времени изжития военных положений и ликвидации обще-народного революционного под'ема: в лапы казенной юстиции попадают все больше чистые политики, улавливать и уличать которых присяжные юристы умели лучше, чем скорые на руку военные судьи (см. диагр. № 1).



№ 1. № 2.

Военно-окружные суды были учреждены с 1906 г. для суждения по законам военного времени в местностях, об'явленных на чрезвычайном или военном положении, т.-е. по всей России. Поэтому естественно, что в их ведение попадали как лица военного, так и гражданского звания; суды же гражданские (палаты, окружной суд и пр.) распоряжались судьбой только штатских граждан.

4. Осуждено в ссылку на поселение по государственным делам

Годы.	Лиц военного звания.	%%	Лиц гражданск. звания.	%%	Всего.
1906	166 чел.	40	248 чел.	60	414 чел.
1907	250 „	34,6	473 „	65,4	723 „
1908	33 ..	3,6	891 „	96,4	924 „
1909	86 „	9,6	811 „	90,4	897 „
1910	4 „	0,8	526 „	99,2	530 „
1911	20 „	4,8	400 „	95,2	420 „
1912	15 „	9	154 „	91	169 „
Всего . .	574 чел.	14	3.503 чел.	86	4.077 чел.

Из подробной разработки военного мин-ва видно, что прошедшие через воен. суды сс.-поселенцы осуждены по трем обвинениям: 1) в государственных преступлениях (ст. 241—261)—98,6%, 2) преступлениях против порядка управления (ст. 261—317)—1,2% и 3) в участии в военных бунтах, восстаниях и явном неповиновении воен. власти (ст. 96—112)—0,2%.

Гражданские же суды вообще давали ссылку на поселение только за государственные преступления (100-е статьи), когда не было достаточно улик в явном восстании, убийстве, покушении и пр. Таким образом, поселенческая масса, особенно после 1908 г., представляла собою довольно однородную революционную среду, в которой преобладали скромный партиец, старый работник-рецидивист и активная революционная молодежь. Казалось бы, такая высокая средняя квалификация приговоренных должна была обусловить таковой же состав самой ссылки; на деле вышло не так: обще-ссыльная масса, состоявшая в огромном большинстве из окончивших срок каторжан, медленно, но верно растворяла в себе «чистых» (т.-е. по суду) ссыльно-поселенцев. При этом не нужно забывать, что политические каторжане составляли в общем едва 11% на всю каторгу, при чем половина из них имела срок более 8 лет, т.-е. на поселение выходила к 1912—13 году. Стало быть, на 90% ссыльно-поселенческая среда, куда попадали осужденные, состояла из уголовной каторжной братии.

Вот таблица и иллюстрирующая ее диаграмма, ясно показывающие внедрение чистых поселенцев в человеческий материал, поставляемый тюр. ведомством в распоряжение всяких сибирских властей:

5. Соотношение между «чистыми» и каторжными поселенцами.

Годы.	Распределено по Сибири сс.-посел.	Из них «чистых» сс.-посел.	%
1906	650 чел.	414 чел.	63,8
1907	1.019 „	723 „	71
1908	945 „	924 „	97,8
1909	1.222 „	897 „	73,4
1910	798 „	530 „	64
1911	2.059 „	420 „	20,4
1912	1.575 „	169 „	10,7
Всего . .	8.268 чел.	4.077 чел.	49,2[1]

Мы видим, что до 1910 г. чистые поселенцы заполняют собою ⅔ наличия ссылки; но с 1911 г., когда начинают прибывать кончающие сроки малосрочные каторжане, осужденные в 1907—08 г.г. (наивысшие по числу каторжных приговоров), соотношение резко меняется. К сожалению, у нас нет разработки материалов приговоров следующих лет, но, судя по быстро падающей кривой, ссылка на поселение по суду за государственные преступления к 1914 г. сошла к такому же нулю, как и административная. Еще одна карательная система российской юстиции сама себя изжила до абсурда.

---

[1] См. диаграмму № 2 на стр. 22.

В. Н. Соколов (Мих. Садко).

Сибирь и ссылка.

I.

Огромная страна—измеряемая до сих пор «астрономически» («по Стрельбицкому») миллионами квадратных верст. И—вековой период политической ссылки, считая только от декабристов. Масштаб— не для литературной статьи, а для исторического многотомного исследования. Тема—достойная особой кафедры лучшего из ФОН'ов.

К сожалению, она мало в этом отношении разработана. И имеющийся, исключительной ценности, разнообразный и красочный материал недостаточно систематизирован и изучен.

Между тем, изучение его крайне необходимо. В нем—целые эпохи и большие литературно-исторические имена. Декабристы, петрашевцы, народовольцы. Чернышевский, Короленко, Якубович. Многие десятки тысяч менее известных, но несомненно идейных представителей российской революционной мысли и практики. Все они прошли через сибирскую ссылку. Вся история российской революции с ней связана неразрывно. И вся она, в лице ссылки и через нее, оставила свой отпечаток на истории сибирской культуры.

При непосредственном, прямом или косвенном, участии и воздействии ссыльных формировалась сибирская действительность. Многое в ней было от ссылки. И многое от нее восприняла сама ссылка. В результате почти векового сожительства этих одинаково политически обездоленных категорий,—ссылки и сибирской окраины,—получилась своеобразная «психологическая диффузия» взаимопонимания и взаимосочувствия. В ходе времени «психология» обволакивала действительность. Отдельные, разрозненные случаи взаимоотношений обобщались, утрачивали индивидуальный характер. Непроизвольно скрадывались и затушевывались социальные контуры. Родилась своеобразная романтика, в окружении которой легенда заменила историю. И взаимоотношения Сибири и ссылки вылились в сентиментально-мещанскую формулу: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним».

В этой формуле нет большого преувеличения. Нет чрезмерной утрировки. Такая полоса, и очень длительная, романтических

переживаний ссылки была. И она имела для своего существования достаточно исторически законных оправданий. Здесь, действительно, много правды. Хотя и расцвеченной, облеченной в лирику. Но еще больше здесь правды затушеванной, невыявленной, действительно жизненной и суровой. Много романтики и политического либерализма. И—совершенно нет диалектики.

И с этой правдой, в которой классовое ее содержание в течение десятилетий покрывалось романтической пылью, сживалась наша дореволюционная интеллигенция. С ней сжилась и дореволюционная литература. Она стала аксиомой и для самой дореволюционной ссылки. И кто из сибирских ссыльных не помнит ходячего обобщения: «Сибирь любит ссылку, знает и ценит ее,—ссылка многое ей дала!» И многие ли из них в свое время не принимали этого обобщения, как заранее данного, не требующего доказательств? А между тем, в этом обобщении скрывается целый ряд предрассудков, искажающих историческую правду, поддерживающих творимую легенду вместо суровой действительности.

Вот почему необходимо внимательное изучение сибирской ссылки. Действительность всегда проще, грубее и... поучительнее, чем самая красивая легенда. И *выявление действительного характера взаимоотношений Сибири и ссылки сибирской нужнее, чем те предрассудки, которые во многих случаях существуют еще и до сего времени.*

Роман Сибири (или, точнее, буржуазии сибирской) со ссылкой начинается с декабристов. Они оказались первыми, которых она встретила в своем экономическом и политическом отрочестве. И они дали посильный толчек ее сознанию и развитию. Дворянско-конституционные идеалы их ей едва ли были понятны и вразумительны. Но было видимо и понятно их опальное положение представителей правящего класса. Видимо и понятно было их умственное и психологическое превосходство над представителями того же класса—местными сатрапами. Сравнение—начало суждения. Суждение легко становится осуждением. И даже без непосредственной пропаганды декабристов идеологическая формировка сибирской оппозиции приходила сама собою. Но пропаганда эта все же была. Ее не могло не быть. И она не могла не укреплять зародившихся симпатий. Для пробуждающейся сибирской буржуазии это была красивая сказка. Тем более привлекательная, что была далека от повседневной хозяйственной деятельности. Можно было с спокойной совестью воспринимать достаточно неясные отзвуки идей французской революции и одновременно обирать инородцев или запарывать на приисках уголовную посельгу. Противоречие здесь едва ли усмотрели бы и сами учителя. Книжному свободолюбию их достаточно импонировали своевольные повадки учеников, воспитанные тайгой. И революционному героизму воспитателей в известной мере соответствовала предприимчивость и энергия воспитанников.

Завязывался действительно некоторый роман, классовая сущность которого, на мой взгляд, не была достаточно ясна ни той, ни другой стороне. И та, и другая взаимно обманывались. Но симпатии их друг к другу были все-таки достаточно искренними. И они-то именно и наложили на взаимоотношения Сибири и «государственных» тот романтический отпечаток, который сказывается в дальнейшем во всех воспоминаниях и суждениях о сибирской ссылке.

II.

Позднее, когда сибирская буржуазия подросла и оформилась, пришла ссылка *иная*—преднароднического и народовольческого периода. Более ей доступная и понятная. Ссылка, уже не так «кровно» связанная с властью, но не совсем от нее и удаленная. Социальные и экономические нити, незаметные уже, но еще не порванные, тянулись от новой ссылки и к власти сибирской, и к сибирской буржуазии. И власть не отказывалась при случае от использования ссылки в своих интересах: официальное расследование или изыскание, административный совет или даже служба в губернаторской канцелярии. Эта ссылка не была особенно в тягость власти: она не оставила позади себя революции, а связи с Питером кое-какие имела. И была иногда полезна, как элемент служилый и образованный.

Для буржуазии же теперь требовалось идеологическое бродило. Нужен был и выполнитель открывающихся экономических возможностей. Декабрист мог быть «апостолом». Мог снизойти при случае до «консультанта». Но к роли компаньона в предприятии или управляющего он не был пригоден. Новая ссылка не была так «высоко поставлена». Она знала не только крепостническую Россию, но и буржуазную. Практически наблюдала в метрополии формы и пути капиталистического развития. И сама она была много практичнее декабристов. Она не только проясняла классовое сознание буржуазии, но и толкала его к развитию. И при этом *не пугала* буржуазию социальным переворотом. Ибо та социалистическая концепция, которую привносила с собой ссылка народническая, воспринималась здесь, как любопытная поэма—не больше. Угрозы социальным сибирским основам в ней не чувствовалось. Преобладали элементы не «обобществления», а «равенства». И предприимчивая сибирская буржуазия инстинктивно формулировала его в своем сознании, как равенство «перед состязанием» (в конкуренции), но не как таковое же в использовании (распределении) результатов общественного труда.

При всем том буржуазная Сибирь уже нуждалась в познании окружающих ее экономических возможностей, в исследовании и использовании сибирских богатств. Встала перед ней и неотложная надобность в перелицовке выраставших уже сибирских горо-

дов. В переорганизации их, применительно к буржуазному образцу, в противовес «воеводскому» типу, насаждавшемуся властью.

Все эти задачи требовали для выполнения своего знаний, которых на месте не было. Эти знания и достаточный практический опыт у новой ссылки имелись. И взыскующий, подраставший, но еще слабо организованный сибирский капитал не мог не приветствовать ссылку. Не мог ее не использовать. Отсюда жертвы его на сибирские гимназии и университет, на изучение края, музеи, местную печать. И здесь же расширенная возможность активного участия во всем этом самой ссылки, ее собственных научных трудов, организации известных сибирских музеев, создании сибирской печати. Всего того, чем совершенно справедливо ссылка в дальнейшем гордилась. И что не менее справедливо связывается с нею и до сего времени.

Но и здесь надо отсеять иллюзии. И в этом новом «романе» стороны самообманывались, как и в романе с декабристами. По крайней мере—одна из них. Не «учителя» и «компаньона» желала иметь в лице народнической ссылки буржуазия,—как это казалось тогда самой ссылке и как казалось потом, долго спустя, со стороны,—а *репетитора и служащего*. Достаточно недорогого и в высокой степени исполнительного. И дореволюционная ссылка эту роль закваски для сибирской буржуазной квашни выполнила чрезвычайно добросовестно. Совершенно даже не подозревая всей «служебности» этой роли.

В деревнях и улусах сибирских положение дореволюционной (до 1905 года) ссылки укладывалось в иные формы. Более упрощенные. Но не менее поучительные. Сравнительно обеспеченная материально, она не нуждалась в особенно близком соприкосновении с окружающим населением. Поэтому имела возможность избегать тех мелочей и передряг, которые всегда свойственны вынужденному общежитию. Известная степень изолированности исключала необходимость возникновения тех или иных разногласий и трений. Население обращалось к ссылке лишь тогда, когда испытывало в этом *собственную* надобность. Значит, оно *одолжалось* и, следовательно, было *заинтересовано* в расположении к нему ссылки. И так как надобности населения, в особенности культурного характера (юридические советы, прошения, письма, обучение грамоте), выполнялись ссыльными всегда охотно и в большинстве бесплатно, то отсюда рождалось по отношению к «государственным» и чувство признательности. С годами приязнь росла. Но росла не столько на почве *личных достоинств* сожительствующих, сколько на почве отношений, исключающих *взаимообязательность* и не причиняющих *материального ущерба* населению: за продукты платит аккуратно и не торгуясь и не «обижается», если ему всучат за хорошую цену, вместо песца, зайца с пришитым хвостом. «Государствен-

ный»—не уголовный: не украдет, не сожжет. Ореол первого вырастал далеко не без участия второго.

И здесь точно так же было много неясного и недоговоренного в взаимоотношениях ссылки и местного населения. И эта неясность и недоговоренность точно так же поселяла иллюзию понимания и сочувствия, взаимной приязни и доброжелательства. И возможно, что воспоминания об этих, в известном смысле идиллических, отношениях значительно усиливали впоследствии неприязнь окружающего к ссылке *новой, послереволюционной.*

III.

После революции 1905 года роман Сибири со ссылкой окончился. Исчезло взаимопонимание и взаимосочувствие. Потускнели иллюзии. Потухла взаимная привязанность. Суровая действительность обнажила горькую правду взаимоотношений.

Сибирская буржуазия выросла. Резче обозначились классовые грани. Революционная же весна 1905 года закрепила этот рост и оформила ее классовое сознание. Яснее встали перед ней ее собственные экономические и политические задачи. И задачи уже усложнившиеся. Помимо организации собственной территории, приходилось думать и о борьбе с капиталом метрополии. Сибирская магистраль открыла ему доступ в колонию. И он уже начал в ней хозяйничать. Нужно было укрепляться против него, организовать борьбу. Появился капитал иностранный. Необходимо было, в противовес «Москве», коалировать с ним. И самые сибирские вопросы уже выросли до общероссийских и больше. Челябинский перелом[1] и портофранко в устьях Енисея и Оби волнуют уже сибирскую буржуазию в течение чуть не десятилетия. От того или иного разрешения их зависит судьба сибирского капитала, выросшего на хищничестве и перестраивавшегося на культурный лад. Идеи областничества, подкрепленного ввозной техникой (беспошлинно), становятся в сознании сибирской буржуазии повседневно обиходными. Вокруг них ведется уже и та совершенно новая для Сибири *политическая* борьба, доступ к которой открылся для нее через добытый революцией российский парламент. Впервые за всю свою историю сибирский капитал выходит на международный рынок и пытается на нем занять себе место.

Вся эта новая и сложная обстановка требует новых крупных сил—и организаторских и исполнительских. А их нет. Собственные не выросли. «Привозные» после революции рассосались или ушли в метрополию. И вся организационная политическая работа в Гос. Думе ложится по существу на плечи двоих—коренного сибиряка

[1] Хлебный тариф, закрывавший для сибирского хлеба выход в метрополию.

Степана Востротина и «привозного» ренегата Караулова. Для внутреннего, домашнего обихода остается единственная, уже весьма ослабевшая, сила — Г. Н. Потанин. И — много, конечно, «исполнительских» сил, но в большинстве профессорских или газетных. Они вести высокую политику не могли. Организовать практическое дело тоже не были в состоянии.

Получалась для сибирского капитала трагедия. А жизнь так манила! Открывались огромные перспективы хозяйничанья в необ'ятной, богатой Сибири. И не оказывалось под рукой старой «идейной, благороднейшей и самоотверженной» ссылки, излюбленного пестуна сибирской буржуазии и ее вдохновителя

А новая ссылка...

Она оказалась из другого мира. И из другого теста. Была уже *не персональной, а массовой*. Вышла из революционного котла. С настроениями и кой-какими навыками не сотрудничества с буржуазией, а борьбы с ней. Чаще давала отпор и пред'являла «требования». Отсюда целая полоса, измеряемая годами определенного недовольства Сибири ссылкой. Полоса тяжелых испытаний для самой ссылки. Повседневной мелкой и мелочной ее борьбы против условий, ее окружавших в Сибири. И еще большей борьбы с теми условиями, которые вновь создавались уже специально против нее. Создавались не без косвенного участия, а иногда прямого содействия, буржуазной Сибири. Взаимопонимание и взаимосочувствие здесь уже не нашли себе места.

Ссылка по сословиям[1].	До революции.	После революции.			
	Карийцы и ленская партия 1902 г.—129 чел.	Админ. и сс.-посел. Якутской обл.—289 чел.	Сс.-посел. Енисейской губ. 1909 г.—460 чел.	Админ.-ссыльн. Москов. перес. тюрьмы 1907 г.—2.500 чел.	Политическ. каторж. Москов. центр. 1908 г.—615 чел.
	В процентах.				
	1	2	3	4	5
1. Дворян, чиновн. и почетных граждан	59	13	16	6,9	2,6
2. Разночинцев и мещан	26	51	80	31,4	18,5
3. Крестьян и казаков	11	31		61,2	73,7
4. Инородцев и проч.	4	5	4	0,5	5,2
	100	100	100	100	100

[1] Данные получены: 1 и 2 — «Сибир. Вопр.» № 24 — 25 за 1912 год, 3—анкета Краснояр. перес. тюрьмы, 4 и 5 — анкетн. обследов., произвед. мною совместно с политкаторжанином Я. Я. Даниловым.

Старая ссылка, кроме своей «персональности», была по преимуществу и *привилегированною*. Новая, массовая, оказалась преимущественно *демократическою*. Какой бы кусок и той и другой мы ни взяли, основной их характер везде оказывается неизменным. В любом сибирском уезде преобладание тех или иных классовых элементов останется достаточно явным. Но преобладающий элемент придает свою окраску и всему остальному. Не по содержанию, а по форме. Отношение окружающего населения к прежней ссылке равнялось по привилегированному большинству. Выгоды такого «равнения» падали и на долю тогдашнего демократического меньшинства: все считались «государственными». К новой ссылке равнение обратного порядка: курс на «демократию», и отношение—как к «уголовным». По одежке встречают...

Новая ссылка не может уже сослаться на «сословную» связь с властью, как это наблюдалось раньше. Она перестала иметь и классовое сродство с сибирской буржуазией. Исчезло психологическое понимание и взаимная увязка. Преобладают не интеллигентские профессии, а рабочие и ремесленники. И даже те социальные группы, из которых они вышли, имеют уже мало общего с соответствующими сибирскими группами. Политические поселенцы Енисейской губ., обследование которых производилось детальнее, вышли из семей:

Рабочих и ремесленников	35%
Крестьян, мелких торговцев и служащих	50%
Разноч., духовн. и землевлад.	15%
Итого	100

Более *трети*—отпрыски квалифицированного пролетариата. И ровно *половина*—дети мелкой буржуазии. Для сибирского капитала это не подходило. Он уже *перерос* мелкобуржуазную стадию. Он искал служилой идеологии с горизонтами. Выходцы из крестьян и мелких торговцев этого не могли ему дать. Даже—если бы и хотели. Не подходило это и сплошной мелкобуржуазной массе сибирского крестьянства и мелкой промышленности. Она *еще не доросла* до той социальной квалификации, которую приносили с собой отпрыски семей мелкой буржуазии российской. Идеологически и производственно они не укладывались, как дальше увидим, в сибирскую обстановку и не соответствовали сибирским навыкам. Еще менее к ним подходили выходцы из пролетарских российских семей. И в этом скрывалась та большая и мучительная трагедия, которую потом пришлось пережить новой ссылке.

IV.

Массовая новая ссылка выбрасывалась в Сибирь не вагонами, а поездами. И сразу же расселялась по глухим деревням. В городах

оставляли редко — в исключительных случаях или по большой протекции. И в деревнях селили не поодиночке, и даже не мелкими группами. А большими партиями, звеньями. Деревни забивались до отказа. Не находилось квартир, продуктов. И все-таки нужно было устраиваться, жить. Отлучки из деревни преследовались. И нужно было искать какую-либо работу. Народ в большинстве молодой и здоровый. Больше 80%—в возрасте до 30 лет. К работе привычный: до этого времени жил только личным заработком. И приносил с собою определенные трудовые навыки.

Профессиональный состав ссыльных.	Моск. перес. тюр.	Енис. губ.	Иркутск. губ.	Якутск. обл.	Политкаторжан Московск. централ.
	В процентах.				
1. Рабочие и ремесленники	52,7	46	46,9	39	56,1
2. Интеллигентск. профессий	11,6	35	18,5	38	8,8
3. Торгово-пром. служащих	8,7	9	9,6	9	4,5
4. Земледельцы	23,5	4	10,0	4	28,9
5. Чиновн., собствен. и проч.	3,5	6	15,0	10	1,7
	100	100	100	100	100

Но что они могли найти в сибирской деревне? Она оказалась в хозяйственном отношении слишком для них примитивною. Квалифицированному фабричному рабочему или интеллигентному пролетарию здесь не к чему было приложить руки. Даже ссыльный кустарь-ремесленник оказывался здесь не у дел. Потому что деревенский кузнец и сапожник имелся в деревне «свой». Местного происхождения и выучки. Он ближе, понятнее и имеет «струмент». Со ссыльным же мастером слишком хлопотно. «Образованные» же—народ никчемный: «денег им из дому шлют мало, якшается с голытьбой, покупает мало и торгуется. Кроме, как читать книжки да писать письма, ни к чему не способен». Так аргументировала свое отношение к ссылке деревня.

И все-таки—нужно было жить, ассимилироваться. Нужно искать «экономический смысл» своего существования. Производственную увязку себя с окружающим. Крестьянская психология уже учла ситуацию и сделала свои выводы:

Цены на продукты [1].

	В начале вселения ссылки.	Через 3—4 недели.
Квартира в месяц	50 коп.	1 р. 50 к.—2 р.
Хлеб печен.—фунт	2 »	4 коп.
Молоко—горшок	3 »	7—8 коп.
Яйца—десяток	5 »	20—25 коп.
Мясо—фунт	5 »	10 »
Картофель—ведро	7 »	15 »

В среднем, это увеличивало расход в 3—4 раза.

Учла крестьянская психология и рынок труда. И по этому учету выходило: рабочий день от зари до зари на молотьбе 15 копеек, копать могилу в жгучий мороз—20 копеек. И еще смотрят—не слишком ли много с'ел за обедом. Далеко не анекдоты. Послереволюционная ссылка хорошо это знает.

Что оставалось ей делать в этот первый период внедрения в местную жизнь? Инстинктивно она принялась организовывать свои кооперативы. И едва ли был какой-либо район ссылки без кооператива. Одного или нескольких. Кооперативы столярные, сапожные, кузнечные, даже кирпичные заводы возникают стихийно. Инструменты и материалы получаются частью из России. Частью приобретаются на месте вскладчину. Или при помощи кредита. Местные торговцы помнят старую интеллигентскую ссылку. Сохранили традиции доверия к ее платежеспособности. К ее добродушию при обсчетах. И кредитуют легко. Правда, они тоже скоро утратили очарование. Оказалось порядочно неплатежей. Но в накладе всетаки не остались. Жалобы в дальнейшем, что «ссылка не платит долгов»—крокодиловы жалобы. Деревенский торговец в Сибири привык получать на капитал 200 процентов. А ссылка ему давала прежде 300. И вдруг принесла теперь только 150. Это—при условии уплаты только *половины* долгов. В действительности же, фактически пропало у лавочников за ссыльными отнюдь *не более четверти*.

Но кооперативные мастерские могли быть выходом для немногих. Рынка они не имели. Работать же хотели все. Желающих и могущих работать было в несколько раз больше, чем мастерская могла получить заказов. Отсюда естественный результат: перегруз рабочими руками. Отсюда перевес расходов над приходами. В результате недолгий конец самих предприятий. Он был лишь немного ускорен начавшимся против них полицейским походом.

И новый кризис. Опять поиски увязки с производственной действительностью. Поиски заработка, хотя бы за прокорм только. Иногда это удавалось. Зажиточное крестьянство и лавочники рисковали «человека для» взять этого человека к себе в батраки «за харч и лопотину» [2].

[1] Из местных материалов того времени.
[2] Лопоть—одежда.

И не здесь ли, прежде всего, приходится искать причин всяких мелких конфликтов ссылки «с окружающим местным населением»? В мелочном подсиживании полуголодной, полураздетой ссылки этим самым местным населением. В высчитывании грошей от их заработной платы. В вздувании цен на самое необходимое потребление. В ответных отказах ссыльных писать местному населению бесплатно прошения и письма. Великое множество пережила *каждая* ссыльная колония всяких «принципиальных» споров и обсуждений всех вот этих мелочей: следует ли покоряться такой беззастенчивой эксплоатации? морально ли отказываться от бесплатного культурничества?

V.

Но жить все-таки было нужно. И, очевидно, нужно было искать заработок «местный». Не требующий российских квалифицированных навыков. Так же, как ищет его местное крестьянство для своего приработка. Охота, кедровники (орехи и ягоды), рыболовство. Охота в счет итти не могла. Ружья запрещались полицией. Кедровники связаны с «отлучкой»,—значит, тоже не разрешались. Но выбирать было не из чего. Приходилось итти на риск. Организуются артели—от 5 до 15 человек в каждой. Почти тайком от местного населения. Чтобы не донесло: оно не сочувствовало «этой затее». Полиция будет искать, хлопоты. Да и без ссыльных в кедровниках слишком много добытчиков. И местонахождение кедровой тайги крестьяне укрывали от ссыльных.

Однако, кедровники были все-таки найдены. Артели разбрелись. Сезон проработали. Оборвались, отощали, обросли, в грязи, в копоти. Но вернулись несколько ободрившиеся, отдохнувшие от передряг. И—с кой-какой добычей. Случайно у меня сохранился один из артельных отчетов. Он очень любопытен и, повидимому, достаточно типичен, чтобы по нему судить о других.

Артель состояла из 16 человек. Работали в общей сложности 490 дней. В среднем—ровно месяц на каждого. Общий бюджет их чрезвычайно интересен. Излишняя, на первый взгляд детализация «статей» делает его еще интереснее. Тут все на виду—и «основной», и «оборотный» капитал, «постоянная» и «переменная» его части.

РАСХОД.

1. Для промысла:

Покупка лодок	7 р. 85 к.
Постройка амбара	3 » — »
Квартира, лампа, керосин	6 » 37 »
Ружье, курок и пистоны	2 » 62 »
Ложки, удочки, рукавицы	1 » 31 »
Деготь, гвозди, машинка	1 » 28 »
Иголки и нитки	— » 37 »
	22 р. 80 к.

2. На собственное содержание:

Мука, хлеб, дрожжи	48 р. 13 к.
Крупа, картофель, капуста, соль, перец	8 » 60 »
Мясо и рыба	5 » 33 »
Масло, яйца, молоко, творог	6 » 88 »
Чай и сахар	12 » 70 »
Табак, спички, мыло	7 » 28 »
Доставка провизии на место промысла	1 » 75 »
	90 р. 67 к.

3. Приватные:

Помощь заболевшему товарищу	4 р. 23 к.

4. Промысловые:

Очистка и провоз орехов и ягод на рынок	38 » 22 »
Итого . .	133 р. 12 к.

ПРИХОД.

1. Добыто и продано:

Орехов около 90 пуд. на	131 р. 32 к.
Ягод около 40 пуд. на	122 » 55 »
2. Реализация оставшегося инвентаря	4 » 95 »
Итого . .	258 р. 82 к.

Итого, весь *валовой* доход 50 коп. на человека в день. Местные крестьяне от этого промысла добывают 1—2 руб. в день. В зависимости от рыночных цен на орехи и ягоду.

За вычетом расходов, чистая прибыль на каждого по 21 коп. на рабочий день. Значит, 6—7 руб. за весь промысел. И это—один из самых удачных результатов всех подобных операций. Но и он является чисто «бухгалтерским»: в общем бюджете нет расходов на одежду и обувь. Они входят в индивидуальный бюджет каждого из участников.

И проблема «жизни», с окончанием промысла, встала так же остро, как и вначале. Переселиться в город не разрешают. Деревня всех, кому нужна работа, вместить не может. Начинается «эпоха» общих столовых. Имущие оплачивают свою долю деньгами, неимущие—трудом по организации и ведению дела. И точно так же не было, кажется, ссыльной колонии, где бы такой столовки не заводилось. Организовывались общие закупки не только продуктов, но и других необходимых предметов в городе. Новое недовольство крестьян, и обида деревенских торговцев. Питались, конечно, скверно—больше картошкой и хлебом. Хороший заведующий столовой подавал непременно хлеб «черствый»: мягкого больше с'едали. В стремлении к всяческой экономии даже раскалывались спички. Чтобы из одной получалось две. Но известная иллюзия бодрости и некоторая корпоративная спайка все-таки из всего этого получались. Это было одновременно также и средством неко-

торого морального воздействия на анархический элемент. Вопреки всем неблагоприятным условиям обстановки.

Кстати, сибирский либерализм исстари был ссылке много обязан. Часто козырял в печати своими признательными к ней чувствами. И тут он не сделал ни единой почти попытки помочь ей материально (или хотя бы морально). Помощь приходила чуть не исключительно извне Сибири.

VI.

Но долго так продолжаться, разумеется, не могло. Столовые и общие закупки были таким же выходом из положения, как и кооперативы, как и промыслы. «Имущие» постепенно убывали. Или в город, или в разряд неимущих. Оставалась единственная надежда на переселение по окончании обязательного срока проживания в месте приписки. Мечтали о более южных уездах, о более промышленных сибирских губерниях. Но когда этот срок кончался, то узнавали, что закон о ссыльных толкуется администрацией иначе, чем ссыльными. Отлучаться все-таки нельзя. Случались на этой почве курьезы. Родственница думского депутата-октябриста пожаловалась ему на такое толкование устава о ссыльных. Октябрист запросил иркутского ген.-губерн. Князева, который в это время приехал в Питер. Тот ответил, что устав *не может не применяться* в его владениях. Затем были слухи о благоприятном для ссыльных воздействии Князева на губернаторов, через них на исправников. Но положение совершенно не изменилось. И даже октябристская родственница предпочла больше в ссылке не оставаться. Более наивные продолжали надеяться и на Думу, и на с.-д. фракцию. Писали петиции, собирали и отправляли целые обследования. Но это была самая необоснованная из всех пережитых иллюзия.

С этого момента начинается эпоха побегов. Единичных и групповых. Они сравнительно редки были в первые месяцы. Теперь принимают характер эпидемии. Уходят даже без необходимых предосторожностей. Нередко, может быть, и не без расчета на то, чтобы поймали. Материальное положение стало невыносимым. Сказывались и культурные запросы. Сибирская деревня от них все-таки дальше, чем деревня же российская. И к концу года в районах заселения оставалось отнюдь не более половины.

Но положение оставшихся, тем не менее, лучшим не становилось. Наоборот. Спрос был тот же. Расходы на содержание крестьянами все-таки вздувались. Полицейские стеснения усугублялись. Взаимопомощь совершенно прекратилась: кто мог помочь, тот смог и уйти. И оставшиеся оказывались совершенно незащищенными от эксплоатации местного населения. Частичные хлопоты о переводе в другое место удовлетворялись неохотно и с большими оттяжками. На почве моральной угнетенности и недоедания развились болезни, ослабление воли. Отчаяние ускоряло процесс ликвидации орга-

низма. Смерть от туберкулеза стала обычной. Начались самоубийства. Попытки к ним не учитывались: они были так же обычны, как и болезни. Обмороженные руки и ноги в счет не идут совершенно.

VII.

В 1910 — 1912 г.г. в сибирской печати появляется длинный ряд статей и корреспонденций о новой, послереволюционной ссылке. Из разных концов Сибири. Из всех глухих, невылазных углов. Все они одинаково скорбного характера, наполнены одним сплошным воплем: ссылка не живет, а влачит жалкое существование. Голодает. Спивается. Не вносит в местную жизнь своего творческого начала. А чаще всего сгибается под ее гнетом, надламывается и гибнет [1]. В большинстве случаев это писали сами ссыльные о собственной своей среде. И—за редчайшими исключениями—Сибирь, как таковая, бывшая когда-то сердобольной и требовательной хозяйкой ссыльных-гостей, теперь оставалась где-то в тени. Совершенно не реагировала на эти отчаянные призывы.

Наконец, отозвались большой, «принципиальной» статьей питерские «Сибирские Вопросы» [2]. Общепризнанный орган «сибирской демократии», состоявший на иждивении сибирского капитала. Статья была шире своего заголовка. Носила обобщающий характер. Иллюстрируя выводы цифрами, автор до мелочей подробно останавливается на многих сторонах ссыльной жизни. И рисует удручающие картины. Ссылка пьянствует и развратничает. Никаких идейных стремлений не обнаруживает. Да и не имеет для этого никаких данных. Не испытывает ни малейшего желания саморазвития. И попытки притти на помощь ей лекциями, рефератами, книгами—безрезультатны: не слушает и не читает. Обкрадывает сама себя. Не платит долгов. Провоцирует доброжелательное местное население и на него же потом доносит. Предательство—обычное явление. И терроризируемое население с скорбным воспоминанием обращается мыслью к дореволюционной ссылке. Последняя вызывала в нем совершенно противоположное к себе отношение. Приносила культуру и идейность. Являла пример высокой честности и самопожертвования. Заставляла относиться к себе с исключительным уважением не только само местное население, но и властей. До генерал-губернаторов включительно. Последние поручали ссыльным даже наблюдение за выполнением своей воли их подчиненными. Вплоть до раздачи оружия инородцам.

Отсюда делается вывод: корень зла в самой ссылке, в ее «низком умственном и моральном развитии». И таблицы... Цифры всегда бьют сильнее, чем самые убедительные доводы.

[1] «Сибирская Жизнь», «Сибирь», «Сибирская Новь», «Восточная Заря», «Сибирская Мысль» и много других.

[2] № 24—25. Ст. «Якутская ссылка».

Мы приводим эти таблицы и... добавляем их теми данными, которые имелись тогда в нашем распоряжении.

Но прежде—два слова. Статья эта не столь значительна и талантлива, чтобы вызвать большой интерес. Приходится на ней останавливаться лишь в виду особой ее типичности и показательности. Писал, повидимому, ссыльный, и притом—нового, послереволюционного периода. Но дух ее, построение, доводы—из дореволюционного обихода. Рассуждения от старого романтического прошлого. Взгляд сквозь призму былых взаимоотношений. Чувствуется искреннее сожаление об утрате генерал-губернаторского «исключительного уважения и доверия»: что *было*, и что *стало!..* И, с присущим либерализму лицемерием, вопрос ставится вверх ногами. Центр тяжести доказательств переносится в область «образованности» и «морали». Буржуазия, даже сибирская, уже умела работать не только чужими руками, но и чужими мозгами.

Категории ссыльных по образов. цензу.	Дореволюц. пер.	Период ликвидации революционного движения 1905 г.				
	Карийцы и Ленск. партия 1902 г.—129 ч.	Якутск. обл. сс.-пос. и админ.—289 ч.	Ирк. г. Кирен. у. сс.-пос. и админ.—680 ч.	Енис. губ. сс.-посел. 1909 г.—460 ч.	Адм. ссыл. пропед. через Бутырск. перес. в 1907 г.—2.500 ч.	Полит. катор. Моск. централа в 1908 г.—615 ч.
	В процентах.					
	1	2	3	4	5	6
1. Высш. образ. и студ. . . .	36	6	5,7	8	4,2	1,6
2. Средн. образован.	47	18	21,9	19	10,4	5,4
3. Низш. и домашн.	17	74	71,9	71	73,9	84,4
4. Неграмотн. .	—	2	0,5	2	11,5	8,6
	100	100	100	100	100	100

Бо́льшая образованность дореволюционной ссылки, таким образом, вне сомнений. Процент ссыльных с высшим образованием, представлявший тогда внушительную цифру 36, после революции *уменьшился* в 5—6 раз. Одновременно *увеличился* в 4—5 раз процент ссылки с низшим и домашним цензом. Неграмотные, совершенно отсутствовавшие раньше, стали обязательным фактом теперь.

Но утверждать отсюда, что в ней-то именно, в этой разнице образовательного ценза, и заключается об'яснение ссыльных зол,

было по меньшей мере рискованно. Степень образования (к тому же официальная, царского времени), конечно, не гарантировала индивидуальной или общественной нравственности и чистоты нравов. Основываясь на ней, можно было бы доказать и обратное. Это— во-первых. Во-вторых—«местное сибирское население», среди которого вынуждена была жить ссылка, по тому же самому цензу стояло неизмеримо ниже ее. И нельзя же, разумеется, все трения общежития приписывать инициативе лишь одной стороны. «Местное население» далеко не так пассивно, как его пытались изобразить. Оно прекрасно поняло разницу между прежней и новой ссылкой и изменило свое отношение. К прежней, не нуждавшейся, достаточно от него изолированной и защищенной, оно подходило осторожнее и с известным почтением. Как к «государственным», «образованным», от населения не зависимым. Как к отставному чиновнику, живущему на пенсию, или к колдуну. Новая ссылка во всем нуждалась сама. Вынуждена была обращаться к населению, одолжаться у него. Была насильственно к нему прикреплена. Не получала помощи «из дому»—значит, была «бесхозяйна», несамостоятельна и несостоятельна. Ходила в отрепьях, а нередко и в арестантских бушлатах и котах. Как и всякий уголовный поселенец, которого население боится, презирает и ненавидит. Такое именно отношение оно и выработало к новой политической ссылке. Как к уголовной, с которой особенно церемониться не привыкли. И весьма естественно, что в целом ряде случаев это отношение вызывало отпор со стороны ссыльных. Отпор иногда в нежелательных и неприемлемых формах. Но одни ли ссыльные здесь виноваты? Конечно, нет. И нужно ли эти случаи размазывать на всю ссылку? Тоже нет.

Что касается неуменья и нежелания ссылки учиться, то это была прямая неправда. Никогда еще до этого сибирские почтовые учреждения не загружались в такой степени книгами, журналами и газетами, как с появлением пореволюционной ссылки. Сибирские книжные магазины могли бы засвидетельствовать, что вновь выходящие книги они держали, главным образом, *для ссылки*. Даже узнавали-то об их выходе чаще всего от ссылки. А сибирская печать? Даже либеральная, не говоря уже о демократической?

Если бы изолировали от нее новую ссылку, то добрая половина органов перестала бы существовать. Другая же половина (либеральная) оказалась бы без значительного и ценного сотруднического материала. И кто же, как не новая ссылка, принимал непосредственное активное участие в этот период во всевозможных научных и экономических обследованиях, экспедициях, в собирании научного материала на местах? Конечно, эта «черная» работа выполнялась не старой сибирской интеллигенцией, а именно новой «навозной». Недавно в № 1—2 журнала «Сев. Азия» за 25 г.) был опубликован длинный список ссыльных того времени, выполнявших безвозмезд-

ные поручения Иркутской обсерватории в самых отдаленнейших сибирских углах. Имеется и ряд экономических обследований— рыбопромышленности, кустарных промыслов, крестьянского и инородческого бюджетов, товарооборота,—произведенных новыми ссыльными.

Вообще, все «принципиальные» нарекания либеральной сибирской печати и публики против новой ссылки носили явный отпечаток обывательских пересудов. Были продиктованы отнюдь не желанием установить истину, а раздражением. И корень этого раздражения скрывался в обманутых ожиданиях: ссылка не удовлетворяла сибирскую буржуазию своим слишком классовым составом и настроениями.

Было бы ошибочно, между прочим, считать эту кампанию против ссылки явлением только местного, чисто сибирского происхождения. Это был отчасти отголосок общероссийского *ликвидаторства.* В метрополии буржуазия «ликвидировала» 1905 год. Российская интеллигенция ликвидировала свои революционные увлечения. Меньшевики ликвидировали свою связь с революционной идеологией рабочего класса. Это были годы гучково-милюковских, арцыбашевских и потресовских настроений. И в Сибири, по тем же основаниям и под тем же углом зрения, «ликвидировали» ссылку. Востротины, Витте (иркутские), Адриановы и ссыльные-ликвидаторы шли здесь также единым фронтом. Ибо только через новую ссылку были привнесены в Сибирь наиболее революционные и наиболее активные устремления первой российской революции.

VIII.

Постепенно все же ссылка распылялась, рассасывалась. День за днем, месяц за месяцем. Расползалась по необ'ятной Сибири. После длительных, нудных хлопот, мучительных переживаний. Оседала в уездных центрах, на приисках. Совершался достаточно для нее горький процесс так-называемой ассимиляции в местной жизни.

Уездный город казался заманчивым из деревни. О нем мечтали. С ним связывали свои самые лучшие пожелания. Но когда он становился явью, мечты скоро утрачивали свою привлекательность. Действительность оказывалась почти не лучше деревенской. И в отношении заработка, и в отношении культурных условий. Полицейская формула «разрешается временное пребывание при условии хорошего поведения и занятия полезным трудом» уже заранее втискивает существование в тесные и тяжелые рамки. А если труд этот покажется кому-нибудь неполезным (например: уроки или литературная работа)? Или труда этого не окажется вовсе? И в перспективе снова деревня. Снова медленная, неизбежная гибель. И приходится, значит, работать при условии *самой низкой оплаты*

и приниженного положения. Ибо только в таких случаях сибирские работодатели рискуют давать ссыльным работу. И они по-своему правы. Избегают близкого соприкосновения с полицией. И опасаются вредного влияния на местных служащих и рабочих. Очень часто приходилось наблюдать процедуру нудного хождения ссыльного от Понтия к Пилату и обратно. Исправник оставляет в городе, если такой-то имя рек (промышленник) дает работу. Имя рек дает эту работу, если исправник оставит в городе. Но ни один из них раньше другого согласия не подписывает.

Не радует и городская «культура». Сплошное, серое мещанство с ярко выраженным разлагающимся укладом. «Некультурная» его часть относится к ссылке подозрительно и даже враждебно: конкуренция на рынке труда. «Культурная» часть конкуренции не опасается. Но политическую фронду пережила уже в 1905 году. И теперь, вместе с нею, утратила и интерес к ссылке. Буржуазия держится в стороне. Ее отношение к ссылке уже определенно *классовое.* Нанимателя к наемнику, капитала к труду. Не только какая-либо близость, обычная по отношению к прежней ссылке, но и простое сотрудничество уже исключаются. И ссылка оказывается в городе более одинокой, чем в деревне.

Недоступна была даже легальная сибирская общественность. На собрание одного «сел.-хоз. общества» пришли двое ссыльных, взявших землю и ведущих на ней хозяйство. И сейчас же «к порядку» ставится вопрос о праве ссыльных участвовать в «обществе». И ребят выставляют [1]. Одновременно Енское пожарное общество, «в виду недостатка членов-дружинников», постановляет: «ходатайствовать пред начальником губернии о праве ссыльных вступать в члены об-ва» [2].

В этой обстановке неизбежными становятся и резкие проявления недовольства ссылки по адресу обывателя и возведение обывателем в квадрат и в куб того или иного промаха ссыльных. Обложенный собственной грязью, обыватель с тем большей яростью обличает того, кто загрязнится случайно. Он может извинить только ту степень греха, которая свойственна ему самому. Но никогда не простит греха меньшего. Здесь сказывается его бессознательное желание собственной реабилитации: чем чище образец, тем извинительнее собственная слабость. Святым, ведь, не подражает никто, и примеры героев ни для кого не обязательны. Поэтому, горе обыкновенному человеку, поднявшемуся выше обыкновенного обывателя: он является постоянным упреком и бельмом на глазу. А, ведь, *средняя* послереволюционная ссылка *в моральном отношении* все-таки оказывалась *несравненно выше*, чем средний же обыватель сибирский. Даже из той буржуазной категории, которая

[1] «Красноярская Мысль», 1912.
[2] «Енисейская Мысль», 1912.

считала себя сочувствующей, расположенной к ссылке. И которая теперь, под предлогом «низкого морального уровня» ссылки, от нее отмежевывалась. Эта именно категория буржуазии и являлась тогда ядром сибирского либерализма. И с ним-то, идейно и морально ссылка послереволюционная действительно *об'единялась и увязывалась* лишь в тех случаях, когда она шла *назад* (разлагалась), а не там, где нужно было *итти вперед* самому сибирскому либерализму.

Но мораль—моралью. Естественные же взаимоотношения складывались на основе более реальной: *труда и найма*. На основе оплаты этого труда, *вынужденного* наниматься. И на основе естественного желания нанимателя уплатить за труд *возможно дешевле*. И вот—ряд примеров, иллюстрирующих либеральное сибирское использование граждански-бесправного труда.

1. Магистр фармации в должности приказчика плохонького аптекарского магазина—за 25 рублей в месяц.

2. Ученый агроном-практик в качестве «низшего персонала», под начальством сельхоз. старосты—за 40 рублей.

3. Землемер с своими инструментами (выписанными из России) на службе у города—за 60 рублей в месяц.

4. Инженер-строитель в роли десятника при постройке деревенских мостов по «чертежам» подрядчика—1 рубль 25 коп. в день.

5. Врач с женою, тоже врачем, на золотых приисках—за 150 р. в месяц оба. Вынужденные скоро отказаться, заменены были местным студентом-медиком, получавшим 250 рублей.

6. Тоже врач, только еще ожидавшийся к месту приписки, загодя абонируется местным инженером-промышленником на должность *фельдшера* с обязанностями «по конторе»—за 60 руб. в месяц.

Примеров—бесконечное множество. И кто поручился бы, что не было профессоров, за гроши репетировавших неуспевающие отпрыски сибирского либерализма?

Кстати—об уроках. Здесь исстари, кажется, создалась некоторая монополия ссыльных. И в этой области труда, казалось бы, меньше всего уместны «рыночные» соображения нанимателей. Так, по крайней мере, приучили нас думать рассказы о дореволюционной ссылке. Однако, все наблюдения над ссылкой послереволюционной неопровержимо доказывают иное: ссыльных приглашают на уроки лишь тогда, *когда не могут достаточно заплатить и желают усиленных занятий*.

И еще—типичный пример отношения к труду ссыльных. Местное общество «народного образования» устраивает сцену при народной читальне. Нужно писать декорации. Приглашают ссыльного *художника* (настоящего, а не облыжного). «Все равно, у ссыльных работы нет, поэтому сделает дешево». И рассчитали правильно:

художник согласился на ту плату, которую ему предложили. Но заказа он все-таки не получил. Потому что *за ту же плату* согласился сделать местный *маляр*. И того же самого художника предпочли другим, в качестве билетера в кино: никто из местных за 15 рублей не шел. А в нем были уверены, что не будет компенсировать жалованье зайцами.

Около таких анекдотов укладывается почти целиком положение так-называемого интеллигентского труда. С трудом полуинтеллигентским еще хуже. Больше хлопот, исканий. Больше унижений и эксплоатации. По анкете Енисейского союза приказчиков, средний заработок в этой профессии составлял в месяц 40 рублей. По той же анкете, приказчики-ссыльные расценивались в 25 рублей. В этой области труда действительность встает обнаженною, без прикрас. Торговля есть торговля. Допускают ссыльный труд исключительно в виду его дешевизны. И приходилось наблюдать ряд предприятий, которые конкурировали с другими только потому, что пользовались добросовестным трудом взрослых ссыльных за такую плату, которую не дают и подросткам.

О рабочих и говорить не приходится. В огромном большинстве они постоянного, устойчивого заработка не имеют. Перебиваются со дня на день. Чем придется и как придется. Кустарничают, поденщичают. Пекут и продают вразнос пироги и баранки. Колотятся, как рыба об лед, пока не удастся продвинуться ближе к железной дороге или на прииски. Но и там отношение к ним весьма напоминало героическое прошлое сибирской золотопромышленности. Ведь, она выросла на костях уголовной ссылки. Любопытные и страшные предания (далеко не седой старины) выносили ссыльные рабочие с приисков. О том, совсем недавнем времени, когда сибирский либеральный золотопромышленник еще «блокировался» с политической ссылкой. На его приисках в это время запарывались поселенцы-рабочие. «Демократическая страна» и «крепостная конюшня». Или—массами заболевавшие от червивого хозяйского мяса цынгой поселенцы-рабочие сваливались, как дрова, на дроги и вывозились «на черемшу». Есть такая вонючая трава в сибирской тайге: помогает от цынги и похмелья. Вот на этом-то целительном выгоне больных просто бросали. Выздоровеет — его счастье, не осилит—беды в том нет. Такое же отношение полного препебрежения постоянно приходилось наблюдать и к политическим ссыльным-рабочим. Как к рабочей скотине или уголовной посельге.

Такова была суровая действительность послереволюционной ссылки. Она не прикрашена. Отнюдь не преувеличена. И каждый, кому пришлось эту ссылку отбывать там, может дополнить это длинным рядом подтверждающих и более красочных примеров. Примеров иного отношения найдут очень мало.

IX.

Основная беда новой ссылки сибирской в том, что она приходила в Сибирь с некоторыми иллюзиями. Знала Сибирь по литературе, рассказам. С теми романтическими предрассудками и привнесениями, которые остались от народничества. Много слышала о сибирских богатствах, которые ждут лишь приложения труда. Этот труд, и гораздо более квалифицированный, чем имевшийся в самой Сибири, она приносила с собой. И ей представлялось, что он не должен, не может не найти приложения. Тем более, что... «Сибирь всегда так хорошо относилась к ссылке!»..

На деле же оказалось несколько не то, что ожидалось. Сибирская буржуазия ждала от ссылки совсем не труда, или, во всяком случае, *иного* труда. Ей нужна была *идеология* развивающегося колониального капитализма. И нужно было *делячество* с кой-каким «размахом» (грюндерским), чтобы оформить начавшийся контакт с иностранным капиталом против «Москвы», под которою понималась метрополия.

Когда же обнаружилось, что революция подарила Сибири ссылку совсем иного типа, то буржуазия, по-своему логически правильно, решила, что это совсем не революционная ссылка: революция там, где руководит просвещенный класс; и она закончилась с конституцией в 1905 году; а что сверх того, то от лукавого—анархизм, уголовщина, неизбежные уродливые охвостья действительной революции. Это «жертвы ликвидации»—не больше. Они для Сибири—«чужеродный элемент». А когда оказалось, что чужеродный элемент не только не пригоден выполнять и обслуживать политические задачи сибирской буржуазии, а еще, в лице своей «привозной» интеллигенции, начинает в печати противодействовать этим задачам, то и самая эта интеллигенция обратилась из «привозной» в «навозную». И ей были закрыты столбцы и страницы «порядочной» сибирской печати. Она вынуждена была создавать свои органы, своего определенного, классового характера, чтобы иметь возможность раскрыть классовое содержание окружающего. А так как это содержание вскрывалось нередко достаточно правильно и не всегда в почтительной для буржуазии форме, то естественно, что недовольство ссыльной интеллигенцией превращалось в определенную ненависть. А так как и рабочая часть ссылки, в свою очередь, не могла не вести классовой линии в предприятиях буржуазии, то эта ненависть, отнюдь не персональная, а именно классовая, распространялась уже на всю ссылку в целом.

Против нее велась сначала достаточно осторожная, а потом совершенно определенная кампания, с целью дискредитировать послереволюционную ссылку, как таковую, в глазах сибирских масс.

И нужно говорить правду. Было немало случаев в среде ссылки, дававших поводы для агитации против нее. Были провокации, были предательства. Обычай российской охранки—подмешивать в политическую ссылку чисто-уголовный и сыщический элемент—известен. После 1905 года он практиковался еще в более широких размерах. И ссылке с ним приходилось постоянно маяться. Она выбрасывала эти элементы из своей среды, подвергала бойкоту. Большего она не могла сделать: и полиция, и та же буржуазия брали их под свою откровенную или скрытую защиту. И когда эти выброски учиняли какую-либо политическую или уголовную пакость, тогда либерализм с лицемерным сокрушением размазывал это грязное пятно по всей ссылке.

Было немало случаев действительного пьянства и морального опускания ссыльных. Не всегда средний российский рабочий мог до конца вынести все сибирские испытания: ярко выраженное недоверие, подсиживание, хищническую эксплоатацию. Как бы он ни был мало развит, но его общественные навыки были *культурнее* сибирских. И в Сибири он должен был *пересматривать* их правильность. Должен был понять неизбежность противоречия их с сибирской обстановкой. Понять и попытаться переприспособиться. Достаточного для этого запаса знаний нередко у него не было. Приобретать их, за повседневным исканием заработка, не было возможности. А иногда отсутствовала устойчивость и классовая выдержка. Оставалась лишь одна свойственная ему способность—протестовать. И этот протест неизбежно должен был приобретать анархические и даже худшие формы.

Но разве это хоть в малой степени окрашивало *всю* ссылку? И разве эти типы в своем социальном падении не впитывали в себя навыков и морали, характерных именно для буржуазии—пренебрежение к окружающему, использование его в своих мелких эгоистических интересах, удовлетворение прежде всего своих примитивных потребностей, хотя бы и за чужой счет?

Буржуазия это, разумеется, понимала. Использовав такие «падения» в качестве грязной мазилки против ссылки вообще, она затем давала падшим хлеб и заработок преимущественно перед другими. Приспособляла их к себе. Но не хотела и не могла этого понять так-называемая «старая сибирская интеллигенция». Эти осколки прежней народнической ссылки. Ассимилировавшиеся в Сибири. «Полюбившие Сибирь». Сжившиеся с ее хищническими навыками настолько, что в них-то именно и видели выражение своеобразного сибирского «демократизма». Как наши российские народники видели когда-то своеобразный социализм в русской общине. Эта «старая интеллигенция» имела за собой большие традиции—декабристов, Щапова, Ядринцева. Имела «большие» имена в своем настоящем—Потанин, Клеменц, Адрианов и другие, живые, может быть, и теперь. Имела собственные большие заслуги в Сибири—

обследования, научные труды—целую литературу. И идейно господствовала в сибирской печати.

И вот эта «плеяда», авторитетная в то время далеко не только для Сибири (буржуазной) и далеко не только для ссылки своего времени, не смогла понять новой ссылки. Не поняла ее навыков и настроений, ее роли и значения в революции и в Сибири. И целиком выступила *против* «чужеродного элемента» и «навозной интеллигенции». Она санкционировала, подтверждала и укрепляла авторитетом своим все появлявшиеся тогда клеветы на послереволюционную ссылку. И последняя иллюзия новой ссылки—вера в понимание ее и сочувствие ей со стороны предшественников—так же исчезла, как и другие иллюзии.

X.

Но жизнь не укладывается целиком в те или иные «кампании». Она лишь находит в них теоретическую формулировку уже сложившихся отношений. В них подводит итоги. Ассимиляция же ссылки шла своим чередом. Ссылка все-таки входила в местную жизнь. Оказывалась там нужною. Находила *классовые* привязки и понимание. Увязывалась. Врастала в родственную среду. Родилась и уже начала себя осознавать *новая* Сибирь. Рабочая. Профессиональная. Кооперативная.

Здесь именно ссылка являлась бродилом и организатором. Не было ни одного рабочего кружка, который бы сложился без активного участия ссыльного элемента. Ни одной забастовки (вплоть до Лены) без руководящей ссыльной инстанции. Интенсивный рост в 1908—12 г.г. «союзов приказчиков и служащих» в Сибири был ее делом. В каждом местном союзе, легально или нелегально, работали ссыльные. И не было ни одного кооперативного союза, а в городах и первичного кооператива, где бы ссыльные не были активнейшим и даже руководящим элементом. Эта молодая Сибирь выделяла и свою молодую *радикальную сибирскую* интеллигенцию.

По всей линии складывающейся новой сибирской действительности выявлялся действительный союзник послереволюционной ссылки. Близкий к ней в общественном производстве и классовых симпатиях и антипатиях. Вступавший уже в борьбу с сибирскими хищническими пережитками. Подходивший к переоценке сибирских идеологических ценностей. Ссылка ускорила этот процесс, форсировала его. И, конечно, большая доля раздражения против нее сибирской буржуазии и «старой интеллигенции» вызывалась именно этой ее ролью. Раскалывавшей «демократическую Сибирь» на классы. Вбивавшей клин в «единство сибирских задач». Выяснявшей противоречия, вместо их затушевывания.

Ссылка, в сущности, явилась исходным моментом расхождения «старой» и «новой» Сибири. На отношении к ней и на оценке ее фор-

мулировались первые разногласия их. По частному, так сказать, поводу. Но, раз начавшись, процесс остановиться не мог. Сравнительно узкий вопрос «о ссылке» должен был развернуться в более широкий вопрос *о взаимоотношении сибирских общественных классов*. Тем более, что и до этого целый ряд важнейших сибирских вопросов—портофранко, земство, областничество, принципы окраинной экономики, Монголия и мн. др.—поднимались ссыльной печатью и решались не «по-сибирски». И еще потому, что кампания старой Сибири против новой ссылки по времени совпала как-раз с выборами в 4 Гос. Думу. И можно даже предполагать, что и сама эта кампания была в сущности предвыборною. Но тогда это не было достаточно ясно, не было так заметно. Все вопросы казались одинаково большими и самостоятельными. В особенности выборы. Единственная широкая политическая трибуна.

Здесь старая Сибирь шла сомкнутым строем: сибирская буржуазия, плюс «неизменно оппозиционная» думская сибирская группа и плюс старая интеллигенция. Под единым лозунгом—«сибирское дело». Для старой интеллигенции это значило: областничество и доморощенная демократия. Парламентская сибирская группа здесь усматривала политическое и культурное равноправие с метрополией. Сибирская буржуазия и то и другое приветствовала. И дополняла своим: одновременным практическим проведением «сибирского дела» в жизнь. Она устраивала на счет российской казны турне в Сибирь «знаменитых мореплавателей» (Вебстера и других). Рекламировала через них иностранному капиталу сибирские богатства. Акционировала с ним для разработки золота, графита, угля, леса. Договаривалась с «Москвой» (российские капиталисты — Крестовников, Коноваловы) о совместном покорении Монголии. Путем субсидирования через Сибирский банк монгольских хошунных князей [1]. Разрабатывала проекты и внутренней политики, в роде «золотопромышленного земства». И много других немаловажных элементов «сибирского дела». Только политическая примитивность самой старой интеллигенции не могла здесь обнаружить той чрезвычайно грубой «выемки» буржуазных практических выводов из теоретических исследовательских ее предпосылок. Только она не видела, что лишь маленькие, пезаметные детали ее многотомных исследований являются в глазах капитала действительно ценными. Никакие исторические, расовые или ре-

[1] См. обследование томских профессоров Боголепова и Соболева «Очерки Русс.-Монг. торговли». Изд. 1912 г. Обследование произведено по инициативе Потанина и является великолепной иллюстрацией как захватнических устремлений сибирского капитала, так и служилой роли при нем старой сибирской интеллигенции. К сожалению, нет места для выдержек. Их нужно цитировать целыми страницами. Там есть такие «демократические» перлы, от которых прежние (молодые) Ядринцевы и Потанины должны были бы сгореть со стыда Для примера можно указать стр. 171, 205, 206, 231, 232... *В. С.*

лигиозные особенности сибирских инородцев никогда не учитывались даже на иркутской бирже, не говоря уже о лондонской. А что в Туруханском крае за куль баранок или за четверть спирта можно было получить пару песцов, в Монголии же за кирпич чаю с «конверспей»—около трех баранов, это воодушевляло не только сибирскую буржуазию. А эти-то именно «практические указания» и использовались, главным образом, из больших исследовательских трудов старой интеллигенции. Никакой капитал этого не пропустит. Простота и легкость отторжения окраинных богатств для него самое привлекательное. В особенности—если еще обнести удачно отторгнутое областническим заплотом, чтобы не совался сосед. Что, кроме благодарности Вострotиных, могли заслужить Потанины?

И перед новой Сибирью стал вопрос уже не только о фиктивности так-называемого «сибирского демократизма». Но и демократичности самой, «всеми чтимой», старой интеллигенции. Классовые вожделения буржуазии были слишком очевидны. И если этого не замечала сибирская интеллигенция, значит, был какой-то органический порок, мешавший ей замечать это. Значит, отсутствовало демократическое чутье. И нужно было это вскрыть. Ссылка уже имела свои печатные органы. Безденежные, дефицитные, кратковременные. Чуть не ежедневно закрываемые администрацией и меняющие свои названия. Так же, как в России «Звезда» и «Правда». И они идейно организовывали и самую ссылку и об'единяли ее с растущей новой Сибирью. На платформе так-называвшейся тогда *последовательной* демократии.

И выборная борьба этих двух демократий—«сибирской» и «навозной»—окончательно установила водораздел между той и другой. Выяснила полное отсутствие какой бы то ни было общности. Закрепила уже на все последующие времена их разные классовые позиции. И узаконила между ними классовую борьбу. В ходе выборной кампании старая интеллигенция солидаризировалась со всеми выступлениями сибирского капитала. Вплоть до распространения клевет по адресу кандидатов новой Сибири. Не говоря уже о молчаливом сочувствии администрации, раз'яснявшей этих кандидатов. Раз'яснены были кандидаты Красноярска, Иркутска, Верхнеудинска, Читы, проводившиеся новой Сибирью. И сам отец сибирского демократизма, Г. Н. Потанин, скрепил своею подписью эту политику буржуазии. По его напечатанному в «Сиб. Ж.» мнению, в Сибири под гнетом политического давления *исчезает классовая рознь*. Сибирь, сплошь демократическая страна, *инстинктивно придет* к своему демократическому идеалу. Если, мол, не будут ее *искусственно* отвлекать в *надуманное* русло. Задача местной интеллигенции должна сосредоточиться, поэтому, на развитии *местных* жизненных сил, изучении и удовлетворении *местных* нужд. И поэтому же он отказывается признать за ино-сибирской интеллигенцией какую-либо *полезность*, кроме отрицательной. Довольно без-

зубо, но ясно. Все точки над «и» были поставлены. До этого ссылка известна была, смотря по надобности, под тремя кличками: «жертвы ликвидации», «чужеродный элемент», «навозная интеллигенция». Теперь она стала и «вредоносною для сибирского дела». А если это сказал сам «Григорий Николаевич», то для всех других, тем самым, и перья, и языки оказывались уже совершенно развязанными. Отныне уже борьба ведется открытая, без всяких лицемерных сочувствий и сожалений. И когда литературные выразители ссылки попытались раскрыть классовое содержание ученых демократических работ Григория Николаевича, то поднялся сплошной вой всей либеральной сибирской печати.

И, однако, ссылка была уже теперь не одинока. После Лены развертывалось снова рабочее движение в метрополии. Не стояло оно и в Сибири. Укреплялось профессиональное движение. И росла кооперация. Радикальная молодая Сибирь была всецело на стороне ссылки. Конечно, до времени: «природа науку одолевает,— говорят сибирские крестьяне,—а не наука природу». Многое из радикальной Сибири после Октября отпало от революции. Многое отошло к меньшевикам и эс-эрам, а с ними вместе и к Колчаку. Немало потом оказалось и белобандитов. Но тогда они, не говоря уже о крепком рабочем ядре, шли вместе с ссылкой. При этих условиях и самой ссылке уже значительно легче и благодарнее оказывалась задача развертывания борьбы с сибирскими предрассудками (в роде «инстинктивного демократизма») и с романтическими привнесениями старой ссылки.

XI.

Новая ссылка пришла в Сибирь, отставшую, примерно, на полстолетия от метрополии. И оказалась в обстановке едва начинавшегося капитализма. Всецело еще связанного с приемами и методами «первоначального накопления». Еще питавшегося от первобытного хищничества. Но уже жадно ухватывавшего и приемы «высокой» финансовой техники. Здесь, в новом ее отечестве, переплетались тысячелетние застойные культуры с переходными и новейшими. Первобытное звероловство тундры. Номадное скотоводство киргиз и бурято-монголов. Экстенсивное производство дешевого хлеба и отсутствие для него рынка. Организация высоко-технических предприятий при полном отсутствии оборудованных путей сообщения. И даже вообще путей. Голое джек-лондонское ушкуйничество в золотопромышленности и рядом—в ней же—приемы крупно-капиталистического акционирования. Сплетение целых хозяйственных эпох и исторических периодов. Здесь были на виду вся «история культуры» по Липперту и целый ряд новейших привнесений по Гильфердингу. Но еще слабых, недостаточно укрепившихся. Социальные отношения носили на себе отпечатки всех «времен и на-

родов»—от обирательства инородцев методами эпохи Колумба до организации сложнейших технических предприятий, котировавшихся на иностранных биржах. Патриархальные отношения сплетались с буржуазными. И настроения колониальной страны уживались рядом с ее же империалистическими устремлениями в сторону захвата Монголии и Манчжурии.

И в эту сложнейшую, запутанную обстановку ссылка пришла из страны, ушедшей относительно далеко вперед. С навыками, приспособленными к более дифференцированному укладу. С мировоззрениями уже сложившихся классов. С настроениями социальной борьбы. Усвоенные ею, по наслышке и литературе, представления о Сибири говорили одно,—действительность выявляла другое. И ссылка должна была пережить тяжелый период *переприспособления*, перелаживания своего подхода к местным вещам, переоценки их с точки зрения *своего*, досибирского и сибирского, опыта.

Опыт—лучший учитель. Переприспособление и переоценка ссылке многое уяснили и дали. Здесь можно было на ярких живых примерах изучить всю историю капиталистического развития. И легко было на той же повседневной действительности восстановить весь исторический путь общественных классов. Отсюда более ясное представление о перспективах общественного развития. И более уверенная классовая борьба. Она была еще туманною и неясною в Сибири до новой ссылки. С ее же приходом приняла определенные очертания. И что бы ни говорили тогда представители старой сибирской интеллигенции о «надуманности» общественных выводов «чужеродного элемента»,—они бессильными оказались эти выводы опровергнуть. Ибо выводы были не выдуманы, а выстраданы.

И новая ссылка оказалась здесь новым же бродилом новой *классовой* общественности, *революционной* общественности. Ни декабристы, ни народническая ссылка этой роли взять на себя и выполнить не могли. Ни Сибирь, ни сами они к этому не были ходом вещей подготовлены. Их эпоха была в общем и целом эпохой *пропаганды и ожиданий*. Революция же 1905 года поставила и перед Сибирью вопросы *активной социальной борьбы*. И в этой борьбе новая ссылка оказалась, несомненно, застрельщиком.

И она выполнила свою роль с добросовестностью и достаточно продуктивно. Не только в плоскости революционно-*практического* разрешения сибирских вопросов, но и в области постановки и увязки их с теорией развития классового общества и классовых взаимоотношений. А в дальнейшем—и острой социальной борьбы.

Основное ядро послереволюционной ссылки оказалось также и основным активным ядром при проведении в Сибири Октябрьской революции и установлении власти Советов. И ее общественное место в истории Сибири не менее почтенно и почетно, чем место декабристов и ссылки народнического периода.

Н. Чужак.

Ссылка и областничество.

Из песни слова не выкинешь. Из летописи ссылки эпохи 1905 года, т.-е. *массовой* ссылки, не выкинешь рассказа о том, какие отношения были у этой ссылки с областнической интеллигенцией Сибири и с ее печатью. Отношения, как далее увидим, не ахти, какие...

Любопытно, что у старой, *индивидуальной* ссылки вовсе не было с сибирской интеллигенцией каких-либо особых «отношений». Ибо: во-первых, интеллигенции этой почти еще не было, если не считать так-называемой «служилой» интеллигенции, не имевшей с ссыльными никаких особых счетов; а во-вторых, и самая-то *сибирская коренная* интеллигенция рекрутировалась в значительной мере *из пришельцев*, вольных и невольных,—откуда же ей было питать враждебные чувства к старой ссылке? С другой стороны, и старая ссылка вовсе не была критически настроена в отношении областничества, видя в нем естественного борца за экономическое и политическое «равноправие» Сибири.

История развития общественности в Сибири, начиная со второй половины XIX века, протекает следующим образом.

К этому уже времени, примерно, зарождается в Сибири своя, *местная буржуазия* [1], которая, по мере сформирования, все с большим и большим рвением стремится защищать свои интересы, т.-е. интересы зарождающейся местной промышленности и торговли—«от дикого хозяйничанья и эксплоатации *российской* буржуазии и чиновников». Так-называемый челябинский тарифный перелом мешает выходу сибирского хлеба на рынок. Процветает еще старый взгляд на Сибирь, как на *колонию* в отношении *метрополии*—Европейской России. Идеологами борьбы с таким взглядом на Сибирь выступают первые организаторы областничества—Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин.

[1] Вот—кое-какие даты. 1862 год—начало действия в Сибири телеграфа; открытие пароходства по Лене и Енисею. 1870—открытие в Иркутске золотосплавочной лаборатории. 1873—открытие Сибирского торгового банка. 1891—закладка Сибирского ж.-д. пути. 1895—начало постройки Забайкальской ж. д.; прибытие первых поездов из России.

От редакции. Все подстрочные примечания в данной статье принадлежат автору.

Как бы там в дальнейшем ни расценивать перспективы, да и самые *истоки* этой борьбы,—в общем и целом этот первый, *починательский*, этап сибобластничества должен быть признан *прогрессивно-героическим*, обещающим какие-то дальнейшие продвижки в драке с политическим и экономическим засильем «метрополии». Начав с работы скорее *культурнической*,—работы в захудалых газетках типа «губернских ведомостей», чтения лекций о создании сибирского университета, всяческого шевеления сибиряков и ссылки, с целью пробуждения в них *местного патриотизма* и любви к обиженной окраине,—отцы «сибирского патриотизма», чем далее, тем более, вынуждены *революционизировать*, если не самые приемы борьбы, остающиеся в значительной мере культурническими, то общую свою платформу, лозунги, *диапазон выступлений*.

К требованию создания сибирского университета (открыт, наконец, в Томске в 1888 году) или прекращения отлива умственных сил из Сибири в Европейскую Россию присоединяются требования: отмены уголовной ссылки, уничтожения экономической зависимости Сибири от метрополии. Параллельно, выдвигаются вопросы—упорядочения переселения из России в Сибирь и вопрос инородческий.

При всем том, областники отнюдь не восстают против самодержавных «законности и порядка», не говоря уже о классовой борьбе и классовых противоречиях, которые областники решительно отрицают. Да и самый политический идеал ими мыслится весьма туманно: договариваясь до отделения Сибири от России, первые сибирские федералисты очень неясно представляют себе, что будет дальше. Ядринцев «отрицает» железную дорогу, «обожает» сибиряка вообще, ставит (в письмах) вопрос о том, «что лучше—Сибирь или Россия». Против промышленности федералисты не возражают, но—пусть она строится «сибирскими» руками. Федерация—по отношению к «Москве». Коалиция—в отношении заграницы.

Независимо от воли самих областников-федералистов, в этом периоде их деятельности есть, как мы уже говорили, нечто *объективно*-революционное (точнее—революционизирующее), хотя пришитость к буржуазному хвосту и в то уже время сказывается. Революция—это не плохо, но... зачем «насилие»?

«*Г. Н. Потанин*,—вспоминает один из страстных почитателей отца сибобластничества, И. И. Попов [1],—делал замечания в спорах, исходя из идеи областничества. Враг всякого насилия, он говорил, что и в революционной борьбе всегда нужно иметь перед собой *моральный* идеал,—иначе легко впасть в *неразумную жестокость*, как бывало почти при всех революциях». «Во главу общественно-политической деятельности он ставил *местные* интересы и

[1] В книжке—«Минувшее и пережитое»,—«Сибирь и эмиграция».—Ленинград, «Колос», 1924.—Отец сибирского областничества и главная научная сила областников, *Г. Н. Потанин* умер в 1920 году, будучи использован, как знамя, и колчаковщиной.

доказывал, что пробуждение местного патриотизма и культурная работа на местах правильнее поставят общеполитические проблемы и создадут твердую основу правового демократического порядка. *Якобинская тактика никогда ничего прочного не создавала»*. «Как убежденный федералист, Г. Н. полностью отрицал работу из центра, с пренебрежением относился к «навозным чиновникам», которые угнетают местную жизнь и навязывают формы, по большей части не подходящие к местной жизни».

Явно *либералистские* по существу подходы федералистов к разрешению социально-политической проблемы не помешали царскому правительству создать против них достаточно нелепое «дело», из которого отцы сибирского областничества вышли довольно серьезно пострадавшими (дело о «*сибирском сепаратизме*»). Это, в свою очередь, не могло не окружить главы их некиим ореолом, возбуждая интерес к идее областничества в одних, подводя других к иному, революционному разрешению задачи. *Связь между областничеством и старой ссылкой не нарушается.* Только «якобинская» часть ссылки раздражает областников, но «якобинцы» (например, *Зайчневский*) круто выделяются в рядах сравнительно привилегированной ссылки того времени, скорее «удивляя», нежели вызывая «подражание» среди навозного и ненавозного либерализма.

Питающей средой областничества попрежнему является молодая, либеральная по самому положению, сибирская буржуазия, притягивающая на службу интересам развивающейся местной промышленности и торговли все мало-мальски подходящее из близких ей рядов—не только коренной интеллигенции, но и старой политической ссылки. «Только за одну политическую ссылку окраине приходится благодарить правительство, которое таким образом *посылает к нам образованных и культурных людей*,—замечает в 1886 году, по воспоминаниям того же Попова, *Г. Н. Потанин*,—вообще же центр приносит больше вреда, чем пользы». С другой сотроны, *Н. М. Ядринцев* [1]—«нервный, жаловался на холодность публики к газете, сожалел, что политические ссыльные не могут проникнуться сибирскими интересами. Правда, есть исключения: Клеменц, Чудновский, но большинству Сибирь остается чужда, и они рвутся уехать из нее—с горечью прибавлял Н. М.».

Упреки Н. М. Ядринцева по адресу ссылки были, конечно, неосновательны, об'ясняясь именно нервностью Н. М. Старая политическая ссылка сделала все зависящее от себя в смысле *интереса к «сибирскому делу»*, начиная от всемерного *изучения* «гонимой» окраины и кончая непосредственным участием в деле строительства сибирской промышленности и торговли, в качестве ответственнейших порой администраторов, а порой и прямых «участников в деле».

[1] *Н. М. Ядринцев*, виднейший областнический публицист, умер сравнительно очень рано, еще в 1894 г. Несомненно—наиболее яркая фигура среди областников.—*Н. Ч.*

Старая политическая ссылка, за исключением «якобинской» части ее, в общем и целом так же не приняла классовой борьбы, как и сибирская интеллигенция в целом, и—уж конечно—как вольнолюбивая сибирская буржуазия, жаждавшая шири и простора... столько же для «края», сколько и для собственного обогащения. Трещины между этой буржуазией и ссылкой не наблюдается, а тем более—между ссылкой (исключая «якобинской» и «рвавшейся») и областнической интеллигенцией. *Все это—люди одной веры*,—если и не одного социального положения и разных прав.

«*Якобинство*» *вносит первую брешь в добрососедские отношения.* Роль в этом смысле *П. Г. Зайчневского* совершенно исключительна [1]. Столь же исключительна та ненависть, которую питал к этому замечательному «якобинцу»-ссыльному отец сибирского областничества, Г. Н. Потанин. Ненависть эта не дает спокойно спать почтен-

[1] *П. Г. Зайчневский*—одна из крупнейших фигур в истории революционного движения в России. Обаятельная личность, пламенный революционер, обладавший замечательным диалектическим предвидением революционных событий и не боявшийся развертывать последние в их историческом железном ходе,—Зайчневский, рядом с П. Н. Ткачевым, *был основателем так-называемого якобинства в России.*

Еще в 1862 году, 20-летним студентом, он пишет и распространяет исторический отныне листок—«*Молодая Россия*», где имеется уже целый ряд важнейших положений, *ставших позднее достоянием Октябрьской революции*, как-то: требование организации «общественных фабрик и торговли», «национализации земли», признание необходимости для совершения революции «строго централизованной партии»; обеспечение «при помощи диктатуры» выборов в национальное собрание так, «чтобы в состав его не вошли сторонники старого строя»; предсказание об измене «оппозиционных» партий; предсказание о том, что «России первой выпадет на долю осуществить великое дело социализма»; и т. п.

В якобинстве есть уже основа будущей централизованной *единой* партии, доводящей революцию до конца, но якобинство не имеет еще главного—*опоры в пролетариате.* Лишь позднее—время и другая партия восполнят этот, столь естественный тогда, пробел. Впрочем, и сам уже Зайчневский впоследствии *глубоко задумывается над ролью и значением рабочего класса у нас и на Западе.* Не даром же «длинные рассказы о бельгийском рабочем движении», печатавшиеся в «Восточном Обозрении», так раздражали наших сибирятников. Зайчневский и попы «сибирского патриотизма»—это, конечно, антиподы.

Жизнь Зайчневского, это—сплошное горение в продвижке «якобинства». Пародируя известные слова Бланки, в ответ на реплику суда, он мог бы с полным правом о себе сказать: «Постоянное местожительство? Тюрьма и ссылка!» Каторга, ссылка, тюрьма, новая и новая ссылка, в том числе *три ссылки в Восточную Сибирь*,—все последние 33 года жизни Зайчневского целиком распределяются между каторгой, тюрьмами и рядом непрерывных ссылок. В 1896 году он умер в последней, смоленской ссылке, а вместе с ним как бы умерло и русское якобинство, о котором уже Ленин—позднее—писал: «*Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, это и есть революционный социал-демократ*» (в брошюре «Шаг вперед, два назад»).

Зайчневский, это—знамя, вверенное лучшими из старой, индивидуальной ссылки—новой, массовой ссылке. Зайчневский, это—наш идейный стык. Как же могло не ненавидеть областничество Зайчневского?

нейшему Г. Н. и тогда, когда, уже много лет спустя, Зайчневского нет не только в Сибири, но и на свете. Но—об этом после...

Трещина меж ссылкой и областниками (а тем более—питающей средой последних, либеральной буржуазией) расширяется все более и более по мере роста и развития двух факторов. Это—

во-первых—рост и неуклонное развитие сибирской промышленности и торговли, несмотря на расставляемые метрополией рогатки, а значит—и неуклонный, хотя и чрезвычайно медленный, рост промышленного и торгового пролетариата Сибири; и

во-вторых—под'ем рабочего движения в России начиная с 1902 г., а потом аграрное движение и 1905 год и последующие, давшие Сибири уже новую, и по составу и качественно, *массовую* ссылку.

С одной стороны, неуклонно видоизменяется изнутри—в сторону демократизации—так-называемое *общество* важнейших городов Сибири, создается новая, она же молодая, Сибирь, уже держащая приглядку не на старую иконописную интеллигенцию и либерально-культурническую буржуазию, а на борющиеся в России революционные *классы*. В частности, 1905 год уже вихрем прокатился по Сибири—по сибирским городам *с огромными железнодорожными мастерскими*, давшими первое массово-революционное крещение Сибири. А с другой—нахлынувшая эшелонами в Сибирь, подобно иноземной интервенции, *демократическая ссылка* принесла с собой такие навыки, которые глубоко были чужды не только уж либералистской краевой буржуазии (о ней, в сущности, можно бы уже не говорить), но и сибирской краевой интеллигенции, и *даже*... (это, в сущности, очень просто: стоит только отрешиться от традиционного взгляда на революционера-одиночку, как на святителя)... и *даже*... части старой, индивидуально-одиночной, интеллигентско-дипломированной, привилегированной ссылки.

Можно без боязни впасть в особую погрешность сказать, что—как на стыке этих ссылок, так и дальше—*всякая* индивидуальная ссылка, имевшая тенденцию *оседать в Сибири*, а значит и *срастаться с ней пуповиной*, этим самым уже *отрывалась* от стихии свежей, неуклонно *массовизировавшейся*, ссылки, и невольно вовлекалась в очень скромный еще на стыке, но естественно в дальнейшем расширявшийся, *антагонизм* по отношению к новой, особенно марксистской, ссылке. Создавались, таким образом, *как бы три* общественных группировки:

либеральная буржуазия и ее интеллигенция (областническая группа);

навозная, служилая интеллигенция и оседающая ссылка (т.-е. срединная группа); и

массовая (или массовизировавшаяся) ссылка и «молодая Сибирь».

О средней группе, возглавляемой дипломированной ссылкой, приходится говорить особо только постольку, поскольку ссылочная вывеска ее кое к чему еще обязывает. В действительности же, как

мы видели, разница интересов этой социальной группы и буржуазии очень незначительна, и перед нами, строго говоря—*два* резко отграниченных лагеря:

буржуазно-областнический либерализм—с одной стороны; и—
рабоче-революционный демократизм—с другой.

В печати, по цензурным условиям, мы именуем в свое время этот последний лагерь «демократией», подчас—«последовательной демократией» и т. п., разумея под этими наименованиями вновь нарождающиеся слои населения, возглавляемые массовой ссылкой, держащие определенную ориентацию на *углубление временно подавленной революции и расширение рамок местного бургфридена до всероссийской классовой драки*. Чем больше крепнет смычка между сродными общественно-революционными группами,—пролетаризирующимся медленно, но неуклонно, населением и откровенно-революционной ссылкой,—тем больше растет трещина между ссылкой и областничеством.

Что представляет собой областничество к эпохе 1911, 1912, 1913 годов (ленский расстрел, волна российских забастовок)?

Не решаясь на прямые революционные выводы, а главное—*боясь связать свои судьбы с судьбами российского движения*,—отцы сибирского областничества определенно топчутся на месте, в поисках какой-то средней линии—меж буржуазно-укороченными перспективами и... собственными страхами перед лицом грядущего. «Дело о сибирском сепаратизме»—это зенит дерзания областников. Отсюда—начинается скат. *Начавшее когда-то с простого культурничества, вынужденное дикостью чиновничьего произвола на какие-то обязывающие, без пяти минут революционные, лозунги, но и всегда привязанное к буржуазному хвосту,—областничество, все менее и менее оплодотворяемое редеющей ссылкой, постепенно вырождается в эпигонство.*

Постоянная приглядка на богатого мецената, как на испытанный источник всяческих «культурных благ»; и эта бесплодная уже жадность к поглощению в себя «образованных и культурных людей» из ускользающей ссылки; политическая половинчатость идеологической и физической «кормилицы» областничества—буржуазии; и, наконец, этот наивный, старческий, вечно брюзжащий страх перед нашествием каких-то гуннов, несущих с собой разрушение излюбленных «сибирских» ценностей,—все это толкает областников на поиски блоков с первым попавшимся, лишь бы не сдохнуть идеологически и физически, лишь бы хоть как-нибудь да поддержать эту тускнеющую, некогда лампадную иконописность ликов!

Уже не ссылкой оплодотворяется областничество, а блоком с кадетством, блоком с вчера еще ненавидимым, навозным и ненавозным, чиновничеством.

«Чувство местного патриотизма» вырождается в казенный патриотизм. Пылкие когда-то речи о политическом и экономическом

самоопределении Сибири—в безвредное застольное бахвальство. Героический диапазон федералистского периода—в аполитичное культурничество. Сибобластничество отныне—в роде как официоз, защитный цвет. Все сионисты, проживающие в Сибири—областники. К областникам же спешно приписываются—сибирские эс-еры. Ореол вокруг чела отцов сибирского патриотизма обращается в казенную этикетку. Областничество никого уже не беспокоит и самим правительством давно уже проглатывается безбольно. Затхлая атмосфера кадетского молчалинства окутывает «общественность» Сибири. Пошлая атмосфера мещанства царит в сибирской печати.

Какие отношения могли установиться у этого эпигонствующего федерализма с массовой ссылкой?

На стыке старой и новой ссылки они выливаются в элементарное недоумение. Либерализм еще продолжает по инерции считать и эту ссылку своей как бы «подшефной частью». Но—чем далее, тем более недоумение обращается в раздражение и, наконец, в открытую неприязнь.

Сибирская буржуазия и ее приказчики привыкли снимать установленные пенки с индивидуальной ссылки, вылавливая из нее «образованных и культурных людей» на предмет обращения их в поборники «*общесибирских*» интересов. В этом смысле массовая ссылка сразу же повернулась к областничеству своей колючей, «*классовой*» щетиной. *Массовая ссылка проявила удивительное непонимание по части тождества хозяйских и рабочих интересов*. Массовой ссылке, прошедшей через открытые вооруженные восстания рабочих и крестьян, неоткуда было набраться представлений о благопристойном воздержании в отношении буржуазии. Хороший тон сыновней почтительности в «общеклассовом» тихом семействе Сибири не раз нарушался массовой ссылкой. *Даже интеллигенция этой ссылки* [1], воспитанная не на феерически-индивидуальной, а классовой, подчас очень длительной, подпольно-организационной борьбе, *не обнаруживала* (в своей массе) *никакого желания обращаться в приказчика архи-оппозиционнейшей сибирской буржуазии или возжигать лампадки перед ликами ее святителей.*

Сибиряки были готовы встретить в лице и этой интеллигенции тихих, не «рвущихся» в новые драки *оседателей*, «чутких» к «общесибирским нуждам»,—ну, а встретили... чуть не сплошное «якобинство»! Появились даже новые типы,—*рабочий интеллигент... партийный профессионал... большевик...*—нечто крайне костистое и нес'едобное, что уже вовсе не переваривалось областниками...

Ну, а переваривать, все же, пришлось... Поскольку были налицо хозяева—была и нужда в наемной рабочей силе. Дешевая, буквально задарма, рабочая сила—в лице массовой политической

[1] Мы имеем в виду на три четверти *марксистскую* интеллигенцию, хотя и она не была однородна.

ссылки—была под руками,—бедной угнетенной буржуазии Сибири оставалось только эту силу пользовать. Как ни костиста в целом была новая ссылка,—мелкая и крупная сибирская буржуазия понемножку научилась извлекать свою выгодишку и из этого неподходящего материала. С другой стороны, и самой ссылке приходилось обивать пороги, в поисках—пусть хоть какого-нибудь, хоть впроголодь!—приложения своей рабочей силы. Очень разбираться в этой работе не приходилось: не до жиру, быть бы живу. Мы знали ссыльного («ротный фельдшер»), который был последовательно: учителем, фельдшером, батраком, маляром и даже... няней! Лопали, воистину—что дают. Зато и отношения с хозяином были просты: никакого там елея, ничего «общесибирского»...

Немножко личных воспоминаний, и—живых, тогдашних—документов...

В начале 1909 года, в числе прочих, пишущий эти строки очутился в иркутской ссылке.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Любопытно, что и к этому еще времени между ссылкой и буржуазией наблюдались кое-какие следы былой «задушевности». С одной стороны, сибирячество еще продолжало по инерции, без сильного ущерба для кармана, покровительствовать ссылке. С другой стороны, и ссылка еще не знала ни одного открытого выступления против «древлего благочестия» областников.

Ореол последних еще поддерживался, отчасти, оседающей или осевшей индивидуальной ссылкой, нашедшей приложение своих индивидуальных навыков и дипломов в Сибири, а отчасти—изнутри самой новой ссылки, попавшими в нее, разбрызганными тут и там, последними молодыми побегами сибирской прирожденной интеллигенции.

Память о 1905 годе еще связывала обе стороны. Партия новых политических ссыльных,—«лучших людей земли русской», не угодивших царскому правительству,—с.-д. депутатов 2-ой думы, сразу же попавших в относительно привилегированное положение в ссылке, также невольно сосредоточила на себе благотворительно-вольнолюбивое внимание сибиряков и несколько смягчала намечавшееся уже тогда расслоение.

Ясно уже, однако, что все это—одни пережитки. Лучшие надежды сибирячества явно обмануты. Надеяться встретить «образованных и культурных людей», укрепляющих позиции сибирской либеральной буржуазии против метрополии, а получать лишь партию за партией непримиримых забастовщиков, озлобленных аграрников и якобинствующей интеллигенции типа «профессионала»,—это хоть кому расстроит нервы! Счастье еще, что хоть изредка попадется «порядочный» интеллигент, не из «рвущихся».

Нет-нет, да и осядет (доживет до... Колчака). *Дело изучения Сибири, правда, и сейчас не страдает, руки рабочие также продаются охотно, но какая от этого польза идее «местного патриотизма», раз изучение проходит уже не под знаком замыкания в сибирской коробочке, а тем более—обособления от всероссийского напора на врага, и раз наемные-то руки никак в толк не возьмут, что интересы их и их хозяина—это одно и то же?*! Да еще, с места в карьер, высмеивают областничество, да еще устраивают хозяину забастовки!

Трещина между ссылкой и сибирячеством с каждым годом расширяется. К 1911—12—13-му году наблюдаются уже прямые драки...

Должен признаться, что года полтора, по крайней мере, я проработал в ссылке, не то, чтобы не замечая оппортунистических тенденций областничества, а как-то не придавая самому областничеству, как и многие, особого значения. Жил, если можно так выразиться, за счет того *разбега*, который дан был бурными годами парт-кипения в Женеве, потом годами парт-военного кипения в Петербурге,—которого, т.-е. разбега, не умерили еще ни годы тюрем, ни этапы. «Пришел в себя» разве-что к 1911-му году и только тогда стал пристальней рассматривать «сибирское».

Первой литературной вещью, действительно привлекшей мое внимание к областничеству, как явлению опаснейшего лицемерия, была большая дельная статья *тов. М. Ветошкина* в петербургском «Современном Мире», чуть ли не впервые обстоятельно поставившая вопрос об истинной роли областничества в разрешении социально-экономических и политических проблем Сибири. *Странным показалось то, что ни единого печатного отклика в Сибири статья эта не встретила*. Теперь-то я уже знаю, что этого требовал хороший областнический тон, сводившийся к бронированному молчанию глухой «общесибирской» стены,—ну, а тогда я искренно недоумевал, и—это первое мое недоумение, оно-то, кажется, больше всего и толкнуло меня к дальнейшей пытливости в отношении областничества.

Вскоре за этой первой ласточкой, представившейся мне тогда как бы плодом последних столкновений «якобинских» элементов старой ссылки с областничеством, появился целый ряд печатных выступлений политических ссыльных марксистов, без заранее обдуманного намерения, но на редкость дружно стукнувших по патентованной головке сибирячества, в лице тогдашней либеральной буржуазии и ее идейных выразителей. Кроме пишущего эти строки, в драках с областничеством принимали в разное время участие: т.т. марксисты—*Мих. Садко* (В. Н. Соколов); *В. А. Ватин* (В. Быстрянский); *Н. А. Р—ов* (Н. А. Рожков, впоследствии, как увидим, «сдавший»); кажется, *Л. Германов* (Фрумкин) и другие. Неожиданным попутчиком нам в этом пункте явился—единственный из «инородных элементов»—эс-ер *Дм. Илимский* (Д. И. Голенищев-Кутузов, ныне член ВКП). Прочие эс-еры-ссыльные молчали, частью примы-

кали к областничеству; меньшевики федерализм, конечно, отрицали, но и вкуса к драке с областничеством особого не проявляли. Например, *В. С. Войтинский*, издевавшийся над областничеством, но... контрабандой!

Несомненно, *против* областничества были такие крепкие большевики, как *Е. А. Преображенский* и *Ем. Ярославский*, задержавшиеся в ссылке сравнительно долго, но о выступлениях их в этой области я просто ничего не знаю. В частности, т. Преображенский, бывший близким одно время к новониколаевской «*Обской Нови*»,— она же, если не ошибаемся, «*Сибирская Новъ*», где писала вся наша группа,—не выступать против областничества, думается, не мог. К тому же, оба товарища—Преображенский и Ярославский—писали в ежемесячный сибиреведческий, но ярко противосибирящеский, журнал «*Багульник*», выпускавшийся одно время группой ссыльной молодежи в Иркутске, во главе с покойным ныне поэтом-сибиреведом, но врагом сибирячества, *В. В. Пруссаком*, при участии и нижеподписавшегося.

Вся основная тяжесть драки с областничеством, как бы то ни было, легла на раньше спевшуюся тройку: Соколов—Рожков—Чужак, при чем: *В. Н. Соколов*, с тяжеловатостью колокола, глушил сепаратистов в области экономики своими насыщенными внутренней ударной ритмикой статьями; *Н. А. Рожков*, нужно отдать ему справедливость, лихо бился в области социологии и политики, это только в иркутский и читинский период его газетничества, препрохладно относясь к тому, как умалялся его признанный авторитет ученого в глазах чиновных иеромонахов областничества; на долю *пишущего эти строки* довелось: ежедневное шевеление областничества в области идеологии и быта—фельетонными атаками, журнальными статьями, чортом, дьяволом,—всем, чем угодно!.. Работенки всем хватало. Нужно было только иметь к ней вкус...

Вот—по части вкуса. Тут нужно заметить, что не у всех ссыльных-марксистов, а то и большевиков, этого вкуса к местной работе хватало. *Так или этак работали, конечно, все, но не у всех было желание углубляться в местные вопросы.* Часть товарищей смотрела на свое вынужденное пребывание в Сибири, как на передышку, подготовку и т. п., *самым искренним образом не замечая областничества* и даже посмеиваясь над нами, как над «маньяками». Агитировали, пропагандировали и даже организовывали, просто-на просто *игнорируя* всякие *местные* рогатки (жандармы и полиция—это не «местное»). Другая часть работавших марксистов-ссыльных *разбивала* эти фетиши-рогатки, *замечая* их губительность для дела. Вот и все, только и разницы. Наш семейный, наш внутренний спор. Разногласие, не порочившее ни ту, ни другую сторону...

Нужно ли еще досказывать, что легче было ту или иную, пусть даже самую академическую по характеру, статейку написать, не-

жели увидеть ее где-либо в Сибири напечатанной? *Вся без из'ятия печать Сибири была связана с областничеством*, и все это была благочестиво-вялая, молчалинско-кадетская печать. Изредка разве появлялась газетка с более радикальным душком (признак, что попала в руки компании ссыльных), но за нею был глаз да глаз— не только губернаторский, но и хозяйский. Внутриредакционные конфликты не прекращались. Попасть с противообластнической статьей в охраняющую областнические ценности печать было, конечно, за пределами возможного. Оставалось пользовать и расширять всякую случайную щель. Мы это и делали. Выбирали— по-цыгански—ту газету, иногда и отдаленную, которая «плохо лежала»...

В первый же день освобождения моего из Иркутской пересылки, т.-е. в ноябре 1908 года,—благодаря полученной еще в тюрьме явке на волю к некоему старому российскому товарищу, временно примостившемуся в одной из иркутских газет, мне удалось связаться с местной прессой в лице газеты «*Сибирская Заря*». Связь оказалась, на мой взгляд, удачной. Газетка совершенно лишена была того сибчванства, что окрашивало всю сибирскую печать. В том же Иркутске была другая, сиб-почтенная, газета—«*Сибирь*», с которой не свел меня только случай. В то время я и не видел между ними никакой решительно разницы, и только позднее разобрал, что «Сибирь», это—второе по сибирской иерархии гнездо либерализма (первым была томская «*Сибирская Жизнь*», профессорско-областническая газета). С этой-то «Сибирью», куда меня в первые месяцы (не разобрав) усиленно приглашали, нам пришлось потом вести крутую, непрерывную войну, и самые имена наши позднее в этой газете, как и в других тихо-печатных семействах Сибири, стали непроизносимыми.

Некоторым *противовесом* этой «Сибири» и являлась «Сибирская Заря», куда я случайно попал, подобно тому, как противововесом «Сибирской Жизни» было «*Сибирское Утро*». И нельзя сказать, чтобы это был только «коммерческий» противовес. Отнюдь не «только».

Дело в том, что еще до этого времени началась быстрая (Томск, Иркутск), а местами и лихорадочная (Барнаул, Ново-Николаевск), *урбанизация* Сибири, идущая значительно впереди даже индустриализации ее. Старые деревенские ценности областничества, включая и идею аскетической жертвенности на алтарь грядущего «осибирячения» Сибири, не могли уже удовлетворять нового жителя Сибири, пришедшего пощупать ее сказочные «недра». Тем менее могли удовлетворять его (равно и растущую с низов рабочую демократию Сибири) эпигоны сибирячества, с их лицемерным псевдопатриотическим елеем, прикрывающим завистливое рвачество местной буржуазии. *Чем более усиливался темп индустриально-городской жизни Сибири, тем большего полнокровия требовала страна, тем большие и большие общественные отдушины нужны были для*

нового сибирского жителя (не смешивать его с «молодой Сибирью»!).

Этим, в значительной мере, об'ясняется вышеотмеченный *параллелизм* газет—существование бок-о-бок двух, как будто совершенно одинаковых печатных органов, порой, однако, абсолютно непримиримых. «Сибирская Жизнь» третирует «Сибирское Утро» (м. б. «Утро Сибири»?—не помню) за его «расхожесть»,—«Сибирское Утро» ненавидит «Сибирскую Жизнь» за омундиренную профессорскую чопорность. «Сибирь» недоуменно пожимает плечами от соседства непричесанной «Сибирской Зари»,—«Сибирская Заря» злобно смеется над мещанским лицемерием «Сибири».

Для нас-то это было не так уже плохо. Ясно, что ни та, ни другая сторона нас не устраивали, но был, хоть временами, хоть какой-нибудь выбор! Одна часть ссылки—литераторской—потянулась по линии... наиболее казового предложения, отчасти совпадавшего и с всероссийскими парадными навыками—интеллигентско-либерального революционизма. Другая часть устремилась в сторону оппозиционной печати,—менее хлебной, менее авторитетной, только-только не клеймившейся областниками, как «чумазая» (позднее и «чумазая» пришла), но... более поддающейся воздействию... Две тактики!.. (В дальнейшем, эта оппозиционно-разночинская печать Сибири как-то стерлась, не выжила; исконно же сибирская печать благополучно дожила до Колчака, и—оному Колчаку поклонилась. Ну, вот...).

Два с половиной года мы лойальнейше ходили под издателем. Ходили бы и дальше, если бы не попытка третьего по счету хозяина «рассчитать» двух влиятельнейших сотрудников-ссыльных. «Сибирская Заря»—«Восточная Заря»—«Голос Сибири». 1910-11-ый год—предел противовесного воздействия нашего на сибирскую интеллигенцию и разночинца. Следует период конфликтов [1], а конфликтов либерал боится, как чорт ладана. Ну, что же—пробуем обходиться без хозяина, а дальше—и без старого читателя. Под'ем 1912 года вызывает к жизни и в Сибири такие социально-политические слои, которые до тех пор прозябали под спудом. Нарождается новый, непризнанный еще, общественный деятель, а с ним—и новый нужный нам читатель. С опорой на этого только читателя и ведется отныне легальная наша работа (о другой работе здесь не говорим: она всегда в Сибири опиралась на рабочих и учащихся).

В небольшой период безгазетья—1911-го года, и начала 12-го,—немало помогла нам группа местной молодежи, руководимая рабо-

[1] В памяти, несмотря на конфликты, по-хорошему расположился облик старого газетного волка *В. Т. Талалаева*, бессменного секретаря газет «Сибирская Заря», «Восточная Заря» и «Голос Сибири». Беспринципный—по одной оценке, и широко-терпимый—по другой, он не мешал нам высказывать наши мысли, поскольку они рентабельно принимались читателем, хотя бы и в разрез существующим вкусам. Плохо ли, хорошо ли мы с ним расстались—это одно, но—факт, что ему мы обязаны многим...

чими-ссыльными, ухитрившаяся каким-то чудом сколотить свою еженедельную газетку. Молодежь интересовалась больше стихами, ссыльные-рабочие—связями через газетку с нелегальной работой. Скоро бы сказка ска... Кончилось дело тем, что группка жертвенно отдала нам свою газетку вместе с портфелем залежавшихся стихов, которые нам уже не были нужны.

От старой молодняцкой редакции к нам по наследству перешел только один—рабочий-ссыльный, нелегальный *т. Нершов* (легальной фамилии и до сих пор не знаю), личность совсем незаурядная. Всех злоключений тогдашней нашей печати мы не пересказываем, только потому не рассказываем и о Нершове. Самоучка, не плохой марксист (дальше интернационализма, впрочем, потом не пошел),—он же редактор, он же конспиратор, и «служба связи» «*Иркутского Слова*», он же хроникер, конторщик, экспедитор и фальцовщик,—вообще, «душа» газеты. Из новых присоединились—Рожков и я. Садко писал из Енисейска. Ватин-Быстрянский—из Минусинска. *Первая, как видите, газета ссыльных. И не только ссыльных, но и первая рабочая газета в Сибири.* Был и еще один—приблудший парень, из местных—Малов, влюбленный в «печатное слово». В каждую субботу на воскресенье (еженедельная роскошь), после спуска последних полос в машину, мы с Маловым по традиции закусывали «ножкой»; при этом—строгое разделение труда!—Нершов сосредоточенно и мрачновато фальцовал газету, а Рожков примащивался к нашему столу и совершенно бескорыстно рассказывал анекдоты....

Голодное, но жизнерадостное время!... Трудность заключалась еще в том, что жить в Иркутске приходилось нелегально...

Первая массово-ссыльная рабочая газета,—первое знакомство с низовым читателем. Здесь же впервые по-марксистски стали ставиться вопросы—рабочий и профсоюзный. *Между газетой и профсоюзами протянулись нити.* Забастовки—в типографии Макушина, булочников и портных прошли не без влияния и службы связи «Иркутского Слова». Авторитет газеты в новой, молодой Сибири возрастал [1]. Откристаллизовывались атаки на мещанскую печать и сибирячество. *Росла—пока еще молчаливая—и ненависть областничества...* Обыватель о газете говорил: «Кто за неделю глупостей натворил, жди в понедельник отлупы!..».

Почему распалась газета—не помню. Кажется, куда-то временно выехал Рожков. Кажется, в это именно время меня «уехали» на месяц в каталажку, по месту приписки, в Братский Острог, в административном порядке, без суда, как ссыльно-поселенца,—за оказанное неуважение к действиям последнего издателя. Газета оставалась на Нершове. Но и над ним уже тяготела судьба. Одна-

[1] Из Питера изредка писали нам: *В. М. Величкина, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский.* В. И. Ленин (см. письма в «Ленинских сборниках») внимательно-критически проглядывал газету, получая ее в Кракове.

жды—даже не в наше газетное время—заявились в типографию, где были явки, несколько городовых. Отнюдь не за Нершовым, по Нершову «показалось», и наш мрачный увалень, недолго думая, полез через забор. Однако—не долез, ибо был схвачен городовым за штанину и, по обследовании, отправлен в Якутск, где также делал что-то—и газету. Дожил до советских времен, был председателем Совета. «Иркутское» же «Слово» на этом кончилось...

Я пропускаю ряд газетных комбинаций более или менее случайных и мелких. Сходились, верно, «без любви», но и развод был «без печали». Спутались одно время с *«Сибирской Мыслью»*, но характерами сразу не сошлись. Отчаявшись войти в свою газетную орбиту, лично я скитаюсь по сибирским ж.-д. станциям—Тулун, Иннокентьевская, Усолье. «Ответственным организатором» остается Рожков. К этому как-раз времени — 1913 год — сыплются на массовую ссылку злобные инсинуации областников. Обороняться негде. Вся сибирская печать, как будто вымещая за вчерашние обиды, дружным задом прикрывает стариков. Отругиваться приходится на задворках.

Связываюсь с журналом *«Сибирский Архив»*, и оттуда—раз в полгода!—в одиночку бомбардирую областничество.

В начале 13-го года помещаю там большую исследовательскую статью—*«Сибирский мотив в поэзии»* (впоследствии развернутую в книжку), где отмечаю, между прочим, идиллическую цельность первых поэтов-сибиряков,—включительно до Федорова-Омулевского,—в зависимости от примитивной цельности тогдашних социальных условий и исторической необходимости противопоставления себя метрополии. Там же констатирую и наличную задержку в выявлении сибирского колорита в поэзии, в связи с наличным социальным кризисом и нарастанием новых, еще невиданных, производственных отношений в общероссийском и местно-сибирском масштабах. Любопытно, что это первое еще, основанное на исследовании, признание представителем массовой ссылки couleur locale в поэзии сибиряков,—о чем пишут по-своему и старые областники,—вызывает со стороны эпигонствующего областничества подчеркнутое недоумение. Больше всего им, кажется, не нравится анализ *классовости* такой тонкой вещи, как поэзия (статья эс-ера *Якушева*, впоследствии председателя Сибирской обладумы). Couleur locale—это еще туда-сюда, но говорить о «классовости» сибирского мотива—это уж значит вторгаться в чей-то карман!.. [1].

[1] Если не классовое залезание в карман, то столь же неприятная попытка—вредного сшибания лбами двух патриархов областничества в вопросе о couleur locale—была усмотрена и в другой *академической* моей работе—«Сибирские мотивы и областничество». И—анекдот: редакция одного почтенного сибирского журнала, заказавшая мне эту статью, дала ее на заключение одному очень видному областнику, впоследствии колчаковцу. Тот, кажется, всерьез перепугался бездны ересей в статье, и—испестрил

В мае того же 1913 года я уже вынужден поместить... все там же... да, в «Сибирском Архиве»—не какое-либо научно-академическое исследование на сибирско-историческую тему, а самую что ни есть животрепещущую *декларацию* в ответ на участившиеся выпады распоясавшихся областников по адресу массовой ссылки!.. Впрочем, виноват: я, кажется, изрядно забежал вперед (пишу по памяти) и упустил важнейший эпизод в наших газетных драках...

Осенью 1912 года Рожкову снова удалось раздобыть несколько сот рублей (в Москве!), и перед нами снова замаячили газетные перспективы. Пусть на два, на три месяца, но у нас была опять *своя*, да еще *ежедневная*, газета!

На этот раз с нами был ряд новых товарищей-ссыльных: *А. М. Буйко* (большевик, нарвский рабочий), *В. Ю. Мордвинкин* (молодой еще тогда большевик, застрявший в Сибири), *В. П. Денисов* (большевик, позднее отошедший), *В. А. Анисимов* (с.-д. депутат), *А. К. Скрыпников* (тогда с.-д., сыгравший немалую роль в Ленских событиях, впоследствии погибший от тифа в красновской тюрьме) и *В. С. Войтинский*, только-что вышедший тогда из Александровского централа и еще ходивший «по инерции» в большевиках. Кроме того, из Москвы регулярнейшим образом писал *И. И. Степанов-Скворцов*—больше по иностранным вопросам. Попрежнему на расстоянии сотрудничали: *В. Н. Соколов*, *А. П. Голубков* и *В. А. Ватин* (большевики). Особой почвы для наших внутренних разногласий в сибирской действительности еще не было, и все острие наших ударов падало на «внешнего» врага—от политического строя и капитализма до сибирской буржуазии и ее идейных приказчиков.

Связь нашей «*Молодой Сибири*» с новой сибирской аудиторией была настолько прочная, что нам удалось даже провести в Госдуму своего—правда, изменившего нам далее—депутата. Вокруг этого депутата было немало драк, и уже ясным становилось, что расслоение внутри Сибири пошло огромными шагами и что не только уже глупо было бы примирять интересы так-называемой демократии с интересами буржуазии, но что и самая-то демократия определенно дифференцируется. Тот политический выкидыш, на котором «сошлась» на этот раз молодая Сибирь, был именно средней равнодействующей составлявших эту Сибирь элементов (позднее, в

се всю возгласами возмущения. Это бы еще ничего, если бы редакция, пересылая мне обратно рукопись, не позабыла бы эти чистосердечнейшие выражения негодования стереть. А то—вышел большой конфуз. В конце статьи, где говорилось о «климатических» об'яснениях Потанина вместо необходимых социально-диалектических, значилась по моему адресу карандашная пометка: «Ne sutor ultra crepidam», т.-е.—*сапожник, не суди сверх сапога!* Можете же судить о том, насколько ревниво охраняло областничество самые подступы непосвященных к «заповедным рощам»,—это во-первых, а во-вторых...—как искренно было смущение корректнейшей редакции, когда она осведомилась о собственном промахе!.. Да, анекдот, как анекдот... Ну, а печатать-то статью пришлось в... «Сибирском Архиве»...

в 18-ом году, та же, примерно, аудитория дала нам... твердого большевика Гаврилова!).

Понятно, что и в смысле *материальной* поддержки своей газеты эта демократия не могла дать «больше того, что она имела». На поддержку «Иркутского Слова» иркутские рабочие собирали *пятачки* (вы думаете, это имело для нас только моральное значение?); «Молодая Сибирь» уже организованным путем получала *десятки* рублей; в следующем, 1913-ом, году, когда я в одиночку выпускал «*Сибирские Новости*» в Иркутске и ненароком посадил «ответственного редактора» (наборщика) в тюрьму, те же рабочие *по пятачкам* собрали мне на выкуп товарища *сто рублей*; в следующем, 1914-м, году на печатную борьбу с шовинизмом эти рабочие *выделили уже сами своего редактора-добровольца, жертвенно для нужного дела пошедшего на годичную высидку*... Простите: я, кажется, снова забежал вперед?..

Сколько месяцев продержалась «Молодая Сибирь»—не помню. Недолго продержалась и «*Новая Сибирь*» [1]. К марту 1913 года мы уже снова были без газеты.

Подоспел, по случаю 300-летия, куцый романовский манифест, с куцой «амнистией» поселенцам,—запестрели лицемерные заметки о «приписке к обществу», а рядом, тут же—бешеные выпады областников по адресу ссылки! Отвечать, как мы уже писали, было негде. Отвечай—хоть на заборе!...

На заборе, не на заборе, а это факт, что место для вынужденного ответа молодым и старым областникам на ярые нападки я сумел найти.... только в «Сибирском Архиве».

Хоть я и писал тогда, что это письмо мое—исторический документ, но, правду сказать, совсем тогда не думал, что история придет так рано, еще при жизни. Значит, тут уже не до кокетства—будем просто приводить наши действительные документы, пусть и областничество приводит свои!..

Я приведу здесь только кое-что сохранившееся, многих нужных документов найти не удалось... Сибирячеству будет легче: ему не приходилось писать на заборах...

Документ номер первый — за подписью нижеподписавшегося, появившийся в №. 5 «Сибирского Архива» за 1913 год, гласит:

О СИБИРСКОЙ И ИНОСИБИРСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

Письмо в редакцию.

М. Г., г. редактор!

На столбцах «Сибирской Жизни» (Томск) и «Сибирских Вестей» (Иркутск) возник крайне интересный и для нас, как определенной обществен-

[1] Припоминаю: на поддержание огня в «Новой Сибири» нашими друзьями был организован спектакль. Много ли дал этот спектакль, — не помню, помню только, что в результате его Н. А. Рожков получил предложение выехать в Бельск.

ной группы, «обмен мнений» (если это понятие применимо в том случае, когда один скажет, а другой подхватит и заблаговестит) между г-ми *Г. Н. Потаниным* и *Irridens*'ом о роли и взаимоотношениях интеллигенции сибирской *коренной* и иносибирской, временной, случайной—*пришельцами.*

Не имея в настоящее время в Иркутске своего, или хотя бы родственного, печатного органа, я надеялся, что редакция «Сибирских Вестей» даст мне возможность возразить по кровному для нас вопросу на писания ее сотрудника—под рубрикой *письма в редакцию*, как помещаются обыкновенно возражения, поправки и т. д. заинтересованных сторон. Одна заинтересованная сторона,—говорил я,—уже высказалась, позвольте же и нам, как другой заинтересованной стороне, вынужденной молча выслушивать не только ярые нападки стариков, но и добрые благоглупости молодых «патриотов», что гораздо горше, сказать в этом споре о нас наше слово—в сущности, последнее слово обвиняемых, ибо г-да Потанин и Irridens нас судят и нам, пришельцам, уже вынесли свои приговора: один—сурово-карательный, а другой—снисходительно-мягкий, оправдывающий. Но, за отказом в помещении письма со стороны «Сибирских Вестей», я вынужден, м. г., искать справедливости у вас, как редактора специально-исторического органа, тем более, что *спор этот о нас, пришельцах,—о вреде или полезности нашей для края—рано или поздно перейдет в область истории, и пусть тогда-то настоящее письмо мое послужит документом, где коротко и бегло, но, надеюсь, достаточно выпукло и остро, формулирована сущность разногласий между нами, группой «чужаков», и некоторой частью коренной, сибирской интеллигенции.*

Начну с заключения Г. Н. Потанина. Оно, судя по выдержкам в статье г-на Irridens'а, сводится к следующему: наиболее «серьезной опасностью» для «сибирской культуры» является невольный наплыв в Сибирь «интеллигенции из-за Урала». *Г. Н. Потанин*—оказывается—«*подчеркивает вредоносность пришлых людей для сибирского дела, он считает чужаков чуть ли не разрушителями сибирской культуры*». Серьезная опасность для «сибирского дела» заключается в том, что руководителями сибирской печати являются большей частью люди пришлые, а своя краевая интеллигенция остается пассивной к нуждам своего края (в чем виноваты тоже чужаки?) и т. д., и т. д.

Выступление Потанина против пришельцев нас очень мало удивляет: не первое уже это выступление в данном смысле со стороны «почетных стариков Сибири». Еще около двух лет тому назад выступил с аналогичным утверждением другой почетный сибиревед—в «Сибирских Вопросах». «*Ликвидация освободительного движения,*—писал этот автор (статья г. *В. С.Е.* [1] в № 20—27 «С. В.» за 1911 г.),—*захватила и выбросила за борт массу самой разнокалиберной интеллигенции. Двери чуть ли не всех поприщ перед нею захлопнулись, и ежедневно приходится стучаться в единственно приоткрытую, идти в газету, а при недостатке места создавать новые газеты, часто не имея понятия ни о газетной технике, ни о газетной морали. Единственно—на прокорм*» [2]. В дальнейшем, в качестве причины падения доб-

[1] *В. С. Ефремов*—бывший полит. ссыльный, осевший в Сибири. Сначала—ответ. секретарь иркутской «Сибири», потом редактор «Сиб. Вопросов» в Петербурге и вдохновитель и сотрудник «Сибири» из столицы. Статьи его в «Сиб. Вопросах» обычно перепечатывались «Сибирью». Несмотря на то, что это полный, казалось бы, единомышленник Потанина, между ним и отцом областничества были заведомо неприязненные отношения. Для нас же они оба были одинаково неприемлемы. Умер, если не ошибаюсь, еще до революции.

[2] Бесстыдство этой фразы изумительно. А это, ведь, писал осевший ссыльный, «радикал», и вот таким-то даже «бывшим» мы лишены были возможности ответить! Воистину—ненависть их не знала предела...

рых нравов сибирской печати, выдвигались именно эти жертвы «ликвидации», которые доходят до того, что создают даже (о ужас!) новые газеты, заботясь единственно о «прокорме» (в роде того, например, как наша литературная группа «кормилась» около «Молодой» и «Новой Сибири»).

Выступления некоторых почетных стариков Сибири, г. редактор, нам понятны, как и их суровые приговора, свидетельствующие о забвении их авторами собственного прошлого. Давно уже самые имена наши для этих стариков, равно как и для многих наследников древле-сибирской благодати, стали одиозными. И—что всего важнее—мы считаем этих гонителей наших с их точки зрения совершенно правыми. И вот почему. Главной заслугой стариков является их любовное отношение к изучению Сибири и ее нуждам, на ряду с утверждением в сибирском обществе идеи демократизма. Заслуга эта в прошлом велика, и уж не мы, конечно, будем ее оспаривать. Но всякая хорошая идея от разменного употребления изнашивается: то же случилось и с важными для своего времени идеями стариков. Лишенные достаточно плодотворной подпочвы в виде окружающих условий, они постепенно утратили в руках посредников свой действенный характер, приобретши все отталкивающие черты фразеологии. Так, пресловутый сибирский «патриотизм» (следуя за г-м Irridens'ом, ставлю это слово в кавычки) обратился в самодовольное «шапками закидаем» и в застольное бахвальство, а не менее пресловутый «демократизм сибирский» (кавычки уже наши)—в тайное и явное отожествление интересов и нужд рабочих слоев населения с аппетитами сибирской буржуазии, в так-называемую «сибирскую платформу».

Самое отношение к творцам «сибирской идеи» постепенно выродилось в вредный фетишизм, и давно ли еще, например, г. *Гребенщиков* [1] в своей газете по некоему юбилейному поводу писал: «*У Григория Николаевича навернулись на глаза слезы и блестели, как чистые бриллианты, рожденные великой радостью отца сибирского патриотизма*» («Жизнь Алтая», № 232). Стоит, извините за выражение, старому и действительно почтенному патриоту где-нибудь чихнуть, т.-е. попросту обмолвиться несоответствующей его былому достоинству тирадой, как уже в другом конце Сибири, глядишь, какой-нибудь молодой и простоватый «патриот» говорит: здравствуйте! То же, например, и относительно г-на В. С. Е., приведенную выше в выдержках статью которого патронируемая им иркутская газета рекламировала в свое время, как «интересную». То же и относительно других стариков.

Итак, *чем же мы, пришельцы, снискали столь явную ненависть стариков? А тем, г. редактор, что именно мы, пришельцы, разбившие на своем пути, прежде чем добраться до Сибири, много фетишей, тем энергичней восставали против фетишизма патриотов Сибири.* Мы деятельно вносили наш «тлетворный яд»—яд то насмешки, то научного скальпеля—в атмосферу слепого поклонения, окружавшую древле-сибирские ценности. Боровшиеся против всяких абсолютов, мы развили все наше влияние в борьбу с двумя главнейшими сибирскими абсолютами—«патриотизмом» (типа застольного пустословия) и «демократизмом» (либерализмом—тож). *Воздававшие все должное старикам за их былые заслуги*, мы не могли не видеть, что былой радикализм их то и дело упирается в либеральную отрыжку или в культурничество. *Желая посильно работать для области и ежедневно осуществляя это желание*, мы, тем не менее, не могли не бороться с вредной на наш взгляд идеей «областничества» в политике (в тех уродливых, по крайней мере, формах, которые приобрела она в упрощенном понимании молодых «патриотов», до толков об областной думе включительно). Мы не обинуясь назы-

[1] Молодой в то время и горячий приверженец областничества. Едва ли не самый талантливый из беллетристов Сибири, обласканный и столицами. Автор «Ханства Батырбека» и других. Впоследствии, как и все почти областники—колчаковец. Ныне—эмигрант.

вали эту идею мелко-буржуазной выдумкой, направленной к дроблению рабочих сил,—а значит, и к ослаблению единого удара,—к попыткам изолирования нарождающейся сибирской демократии, *с целью снижения ее требований*. Столь же решительно восставали мы и против включения в одни общие скобки интересов рабочих слоев населения (включая и крестьянство, разумеется) и интересов буржуазии,—и все это под флагом общесибирских нужд!—против подмены идеи классовой борьбы идеей «обще-сибирского демократизма», как бы самочинно изначально существующего.

Теперь, мне кажется, понятен, г-н редактор, источник враждебного отношения к нам стариков сибирских. Они и мы—это почти два разных мира, и правы они со своей точки зрения, когда об'являют нас «разрушителями» их культуры и—введем наш термин—древле-сибирскими иконоборцами: ни чем иным в их глазах мы представляться и не можем. Ясно, почему *в момент, когда перед многими из нас встает вопрос о юридической «приписке к обществу», старики отказывают нам в моральной приписке*: иного отношения с их стороны мы и не ждали, и это отношение мы посильно заслужили. Но мы решительно не понимаем, ибо решительно не заслужили, снисходительного приговора по отношению к нам сотрудника «Сибирских Вестей» г-на Irridens'а, к рассмотрению которого, т.-е. приговора, мы сейчас и перейдем.

Г-н Irridens [1] задался крайне неблагодарной целью—*амнистировать* нас, чужаков, от суровости Г. Н. Потанина, и делает он это с ловкостью и темпераментом защитника по назначению: виновны, мол, конечно, но—Григорий же Николаевич!—все люди! все человеки! может и они нам пригодятся! Все-таки, знаете ли, *«глубокочувствующий местные нужды пришлец во много раз лучше и полезнее глухого к краевым интересам коренного сибиряка»*. Последний афоризм г-на Irridens'а, г-н редактор, отнюдь не из Кузьмы Пруткова, а из статьи сотрудника «Сибирских Вестей», горячего поборника идеи областничества. Если перевести его на общепринятый язык, то получится: умный чужак все-таки лучше глупого свояка. Во много раз! Жаль только: не сказано точно—во сколько...

Мы отнюдь не претендовали бы на такую трактовку нашей «полезности» для края, будь это со стороны нашего явного недруга. Но это, ведь, пишет человек, который предлагает принимать нас, чужаков, «радушно», с «распростертыми об'ятиями», и вот тут-то невольно хочется сказать: избави нас, боже, от таких друзей, а с недругами мы столкуемся как-нибудь сами!..

Для полноты картины следовало бы, г-н редактор, коснуться вопроса о том, в какой мере обладает сотрудник «Сибирских Вестей» правом рассматривать нас, пришельцев, с столь высокого пьедестала. Но это завело бы нас очень далеко. Поэтому ограничусь маленьким замечанием фактического характера. В то время, как ведутся толки о нашей вредоносности или полезности для края и глубокомысленный г-н Irridens выдает нам, чужакам, приемные приговора, мы, чужаки, оказываемся уже давно приписанными к обществу, которое нам нужно и приговор которого нам единственно дорог.

Общество это—молодая Сибирь, сибирская демократия.

Подобно гласу вопиющего в пустыне—даже без тени резонанса, прозвучал по ширям негостеприимной окраины этот, извлекаемый

[1] Псевдоним *И. Г. Гольдберга*, молодого тогда сибирского эс-ера, отбывшего административную ссылку. Беллетрист, автор «Тунгусских рассказов». После—член обладумы, с сионистским налетом. Несколько истеричная, но, несомненно, своеобразная фигура. Колчаковщины не принял, но и...—«я иудей, и за один стол с филистимлянами не сяду!».. После, правда, обошелся; сел...

ные из «сибирского архива», *человеческий документ*. Еще один сжатый комок человеческих нервов упал на жесткую почву Сибири. *Много* их, этих нервов, затрачено на прошибание глухих «обще-сибирских» стен,—*много* пространств исхожено с железным, просветляющим сознание звоном,—*много* драк за нового работника Сибири дано массовой марксистской ссылкой в эти годы. *Одни* пытались прошибать эти толщи с пером в руках, *другие* непосредственно организовывали нового работника, *третьи* делали и то и другое вместе...

1913 год — это год тяжелого сибирского безгазетья. Где-то там, в далеком Питере, на фоне возвращающегося полнокровия рабочего класса, бешено пульсирует рабочая печать, а здесь—томительные поиски очередных задворок, конвульсивные попытки дать такую максимальную зарядку, которая хоть на день задержала бы пудовое воздействие мещанской прессы. Тусклый год, преподлое болото, где, бывало, даже забора для «отлупы» не всегда отыщешь! Ну, а бегать от работы не приходилось...

Пропускаю 1914 год — первый год расцвета *шовинизма*. Выпущенный в конце этого года уже значительно расширенной марксистско-литературной группой, номер первый и последний «*Сибирского Журнала*», равно и последовавший за ним в начале 1915-го года номер первый и последний «*Сибирского Обозрения*»—имели совершенно исключительное значение для Сибири. Выпустить в те жуткие казенно-патриотические времена два номера формально-«легального» *интернационалистского* журнала—было буквально подвигом. Достаточно сказать, что оба sitz-редактора обоих номеров шли добровольно-*жертвенно* (одна—жена ссыльно-поселенца, а другая—местная работница), и оба (обе) получили по суду *по году крепости*,—журнал же вывозился ночью из типографии [1].

[1] Подробнее не останавливаюсь на этом моменте, как и на многих других важных моментах жизни ссылки, только потому, что это вывело бы нас далеко за пределы темы. Но внимательный историк революции, следящий за эволюцией общественно-политических групп и фракций, не сможет обойти молчанием этого знаменательнейшего эпизода эпохи предреволюции, когда *значительная часть даже с.-д. меньшевиков из ссылки занимала отрицательную в отношении войны позицию*.

Совершенно непримиримую позицию заняла и наша иркутская с.-д. об'единенная литературная группа, в которой мы, большевики, были лишь в малом меньшинстве (из новых назову т.т. *Ермолаева и Л. Карахана;* т.т. Соколов и Преображенский отчасти с группой разошлись, отчасти просто переехали в Читу). А, ведь, к нашей литературной группе примыкали (укажу только фактически писавших) такие видные меньшевики, как *Ф. Дан*, *И. Г. Церетели*, *В. С. Войтинский*, *С. Л. Вайнштейн-Звездин* (член президиума 1-го Совета Раб Депутатов, 1905) и др.! Историк русской революции, а, может быть, и психолог, интересующийся перерождением умов, немало будут шокированы, узнав, что ярчайшие интернационалистические статьи в «Сиб. Журнале» и «Сиб. Обозрении» принадлежали: *Квирильскому* (Церетели), *Ф. Д.* (Дану), *Новицкому* (Войтинскому), *Стел-*

Год крепости, если не ошибаюсь, получил и редактор, доброволец-рабочий, одного единственного номера газеты «*Сибирское Слово*»—за статью против погромной проповеди местного архиепископа.

Вот—маленькая хронология газетных «смен»:

1911-12 год—«Иркутское Слово»—редакция: Нершов, Рожков, Чужак. 1912-13 год—«Молодая» и «Новая Сибирь»—редакция: Войтинский, Рожков, Чужак. 1913 год—«Сибирские Новости»—редактор: Чужак. 1914 год—«Сибирский Журнал»—редакция: Анисимов, Войтинский, Чужак. 1915 год—«Сибирское Обозрение»—редакция: Войтинский, Рожков, Церетели. 1915 год—«Сибирское Слово»—редактор: Войтинский. 1915—16 год—«Восточная Сибирь» и «Забайкальское Обозрение»—редактор: Рожков.

Нечего пояснять, что годы 1914—15—16 проходят под знаком всемерной борьбы с шовинизмом. Областничество, как таковое, почти не существует: *вся без из'ятия либералистская печать растворяется в алярмизме*. Каждый выпускаемый в те годы интернационалистской ссылкой листок мгновенно обращается в нелегальный. Когда последнее *публицистическое* оружие—«Забайкальское Обозрение»—падает из рук, приходится прибегать к защитному цвету. В качестве такового—пишущим эти строки, вместе с группой ссыльной и нессыльной молодежи—выпускается в Иркутске (в складчину) совершенно безобидный с виду *литературный* журнальчик «*Багульник*», который, чередуя поэзию с контрабандным интернационализмом, ухитряется дожить до революции. Параллельно я печатаю так-называемые «литературные» (антимилитаристские) фельетоны в... «*Сибирском Студенте*» (томский беспризорный журнал) и подстрекаю рыхлого редактора «Сибирского Архива» развернуть его невнятный «органон» до четкой и членораздельной «*Сибирской Летописи*». Тот совсем не возражает: благо, весь этот журнал мы ему делаем бесплатно [1].

Тяга к каждой мыслимой печатной щели в эти немыслимые, беспросветно-алярмистские, тяжелые дни (14—15—16) такова,

лину (Звездину) и другим. Недаром же *В. И. Засулич* писала тогда Дану устыжающие письма, обвиняя его чуть ли не в измене... нет, нет, не марксизму, а дружбе!

Любопытно, что это *интернационалистское* настроение держалось у Церетели и других вплоть до самого призыва их к власти. Церетели выехал в Питер одним из первых, и сразу же по приезде произнес знаменитую *оборонческую* речь. Оставшиеся в Иркутске меньшевики были серьезно смущены, не зная, как об'яснить эту крутую перемену. Звездин даже обещал нам—по приезде в Питер—«накрутить Ираклию хвост», но—кто кому накрутил, так и осталось неизвестным. Революция все смела и каждого поставила на свою полку...

Возвратимся к 1914—15 году.

[1] Кстати: за все эти шесть лет, что «без хозяина», мы свыклись с полным воздержанием от гонорара. Только поэтому, конечно, мы и имели еще возможность, хоть не часто, с расстановкой, «разговаривать».

что в наш «невиннейший», с подделкой под «культурнический», журнальчик «Багульник» шлют свои статьи не только говорящие «через поэзию» товарищи, но и такие чистокровные подпольщики, как В. Быстрянский (*Минусинск*), Ем. Ярославский (*Якутск*) и Е. Преображенский (*Чита*). Одна уже география за себя говорит!..

Не помню точно, по какому поводу, но—отодвинутая в угол встречей с шовинизмом *драка с областничеством возобновилась в 1915—16 году*—в тонах как бы необ'яснимо резких, но сейчас, на расстоянии, вполне понятных, инстинктивно правильных. Обратите внимание на тон предыдущего документа, в котором как бы дрожит еще чувство *незаслуженной обиды*, и сравните его с искренно-*презрительным* тоном последующего отношения к областничеству. Весь шестилетний опыт схваток с ним здесь явно сказывается. Казавшееся некогда таким достойным сибирячество, чем далее, тем больше вызывает изумление...—*несоответствием* своих «торжественных» задач наличной сущности...

Дежурный потанинский юбилей, очередная культуртрегерская болтовня—дают конкретный повод к появлению ряда статей нижеподписавшегося на страницах нашей и не-нашей—«задворочной», конечно, печати. Приведем немногие из отыскавшихся.

Вот часть статей, на тему о болтающих—из «*Забайкальского Обозрения*», 1916, №№ 7, 10, 11:

ГРИГОРИЙ—ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ.

Скучное это дело—затыкать все бьющие в расхожей прессе «фонтаны». Не лучше ли перейти к печати не расхожей, а может даже—осененной «древлим благочестием»? Такова еще наполовину печать сибирская.

Здесь,—не в пример столичной прессе,—благонравие еще блюдется, старики сугубо почитаются, идеями распивочно и на вынос сравнительно редко торгуют. Самый литератор здесь, как-будто, почвенней: тяжелый, в длиннополом сюртуке,—без паспорта от стариков и на порог не суйся!

Переходим к истинно-сибирской прессе, и—о ужас!—те же фонтаны, фонтаны, фонтаны! Фонтаны в поэзии, фонтаны в политике; а больше всего фонтанов—на крестинах, похоронах, именинах, юбилеях и т. д.!

Блестящее доказательство—недавний юбилей Г. Н. Потанина, отголоски которого все еще встречаем в сибирской прессе. Недавно, напр., обошел всю здешнюю печать удивительный в своем роде перл, посланный известным публицистом и сибиреведом А. В. Адриановым в «Сибирскую Жизнь». Озаглавлен этот перл:

— «Мой привет Божьему человеку»!

Божий человек—это Г. Н. Потанин. Был до сих пор «Алексей Человек Божий» (в православных святцах), а теперь канонизирован Человек Божий—Григорий. Поистине, такие перлы могут возникать только на почве «местного патриотизма», насадители которого едва ли сами знали, что за применение идеи областничества будет сделано ретивыми «патриотами».

А газеты этот перл почтительно перепечатали, и—хоть бы слово!—смиренно поджали губки...

ОЙ, БОЖИЙ ЛИ?

Г. Н. Потанин, конечно, крупный по Сибири человек, но все-таки— да простится нам эта маленькая дерзость!—незачем калечить стулья, незачем и святцы православные осложнять. Все же, он—человек, хоть и крупный, а смертный, и притом, повидимому, чуждый той противной слейности, которой любители воскурений его усердно окружают. Человек он крутобоевой, в полемике страстный, к недругам—упорно-нетерпимый.

Приведу характерную справку.

В напечатанной в 1907 году статье «Областническая тенденция в Сибири» (Томск) Г. Н. Потанин следующим образом критикует газетную работу в нежелательном ему духе:

«Главным сотрудником и вдохновителем газеты («Восточное Обозрение»),—говорит он,—стал Зайчневский, политический ссыльный. *Зайчневский*[1] повел газету *в узко-партийном направлении;* он из органа областных сибирских интересов превратил ее в орган *той партии, к которой сам принадлежал в Европейской России.* Сибирские вопросы из газеты исчезли: вместо них внимание сибиряков занималось *длинными рассказами о движении бельгийских рабочих*»...

И т. д.

Характер этой «критики», полагаем, достаточно ясен.

И пусть бы еще только это! Но «движение бельгийских рабочих», видимо, серьезно мешает спать идеологу сибирского областничества. По крайней мере, вот уже в 1914 году он счел необходимым *повторить* свою «литературную» атаку,—на этот раз уже по адресу неведомого литератора, но зато и гораздо более недвусмысленно. Посвящая только-что умершему Д. А. Клеменцу в «Сибирской Жизни» прочувствованную статью, Г. Н. Потанин тогда же (это было ровно два года назад) писал:

«Клеменц широко понял задачи местного сибирского органа. Он не стремился превратить его *в орудие пропаганды*, подобно другому публицисту, *пристроившемуся* (подчеркиваем везде мы.—*Н. Ч.*) в одной из иркутских газет и *превратившему последнюю в орган рабочей партии, в газету, издаваемую для петербургских рабочих, чуть ли даже не в газету для бельгийских рабочих*»...

Почтенному Г. Н. Потанину, чтоб быть последовательным, уж следовало бы назвать и фамилию этого «другого публициста», и газету, где последний «пристроился». А то, помилуйте, есть где-то там в Иркутске «орган рабочей партии», «орудие пропаганды», «чуть ли даже не»... и т. д., и т. д., а что это за орган и что за публицист—начальству неизвестно!

Мы извиняемся перед господами «патриотами» за эту вынужденную и, возможно, неприятную для многих справку. Но полагаем, что без этой справки облик «Божьего Человека» из Томска был бы неполон.

К НОВОМУ ЛИКУ ОБЛАСТНИЧЕСТВА.

В вопросе о «сибирском областничестве» мы никогда не сходились с пламенными проповедниками «чувства местного патриотизма». И пишущий, напр., эти строки уже имел возможность сказать (по поводу брюзжания одного сибирского «аксакала» на «пришлую интеллигенцию»), что, действенная когда-то и естественно выросшая, ныне эта *специфически-уездная философия* выродилась: в области моральной—в фетишизм и святошество, в области социальной—в пресловутую «сибирскую платформу», стирающую классовые противоречия окраины, а в области политической— в культурничество. Н. А. Рожков, как жалуется в своей недавней статье

[1] О нем смотри выше.

об областничестве В. И. Анучин, выразился гораздо круче: «беспринципное культуртрегерство».

Последнее выступление Г. Н. Потанина в только-что вышедшем в Красноярске журнале «Сибирские Записки» приводит меня к мысли, что Н. А. Рожков в своем резком определении—прав.

Статья Г. Н. Потанина, озаглавленная «Из недавнего прошлого», в высшей степени характерна и, в отношении политической линии областничества, заслуживает всяческого внимания.

Виднейший «аксакал» (почетный старик) областничества пишет о культурнически-интеллигентских кружках Сибири, разгромленных столыпинской политикой. Полезнейшие члены этих кружков Г. Н. Потаниным перечисляются: это—один учитель латинского языка, один директор института, один профессор химии, два профессора геологии, председатель окружного суда, мировой судья, еще два профессора, два адвоката, член суда и, наконец, просто «три томича», тоже «обреченные скитанию по лицу русской земли», из которых один помещает ныне такие хорошие отчеты о думских заседаниях в «Сибирской Жизни», а другой составляет доклады об «условиях снабжения дорог грузами» (чем примечателен третий—не сказано).

Для освещения полезной деятельности перечисленных участников кружков Г. Н. Потанин не жалеет красок. Это, видите ли, такие «*великодушные работники*», «первые кадры для общественной мобилизации», «*только они-то и могут оказаться на высоте минуты во время великих испытаний нации*»*!* «Они организовали общественное мнение и *поднимались на высоту строгих гражданских требований*, а вот сюда-то и был, главным образом, направлен столыпинский меч»...

В перечислении заслуг этих «великодушных работников» Г. Н. Потаниным—писание «докладов о снабжении грузами дорог» и т. п. играет не последнюю роль. Не возвышаясь над уровнем обыкновенного культурничества, переходя через газетные отчеты о заседаниях городской думы, эта цепь нанизанных заслуг опускается до сомнительной точки. Вот, напр., заслуги перечисленных чиновников судейских. Они: «не ограничивались казенной служебной деятельностью, а принимали участие и *в общественной* жизни. А. В. Витте во время своей службы в Иркутске, в звании председателя суда, *основал там колонию для малолетних преступников*; *переселясь в Томск, он и здесь открыл такое же учреждение и заботился о нем до конца своего пребывания в Томске*»! Автор еще забыл упомянуть о заслугах А. В. Витте в качестве тюремного инспектора и, далее, в качестве председателя иркутского биржевого комитета, горячо протестовавшего в начале войны против обнаруженного некоторыми фирмами стремления держаться нормальных, а не взвинченных спекуляцией, цен, и многое другое. А без этого не ясно, почему именно «только они-то», т.-е. «великодушные работники» размаха Витте, «только и могут оказаться на высоте минуты во время великих испытаний нации»!

Столь же не ясен и вывод Г. Н. Потанина: «Из приведенных выше данных читатель видит, какие полезные люди подверглись столыпинской каре. *Это люди с неутолимой жаждой общественной жизни: они—фермент жизни, кругом них—только сон и апатия*».

Помилуй бог!—вправе воскликнуть любой читатель, не привычный к фонтанам областнического красноречия и «чувством местного патриотизма» не зараженный:—Неужели же вне г-на Витте и других—«*только сон и апатия*»*?* Неужели—возьмем даже лучших культурных работников из перечисленных Потаниным—они только, эти поистине «два журналиста да портной», и есть «*фермент жизни*», организующий общество и «*поднимающий на высоту строгих гражданских требований*»*?* Или дальше уж этого с приходской колокольни областничества так-таки ничего и не видно?

Позвольте!—спросит тот же читатель:—но где же *массы?* Где, наконец, хотя бы *демократическая* интеллигенция? Почему о разгроме ее—ни

звука? Почему—ни слова о разгроме *движения?* Вне г-на Витте—нет «фермента жизни»! Профессиональное движение рабочих—«сон и апатия»! Кооперативное строительство крестьян—«только сон и апатия»! Если это не *беспринципное культурничество*, то—что же такое «беспринципное культурничество»?

Далее, если бы тот же сторонний читатель заинтересовался политическим идеалом областничества, он мог бы ознакомиться и с тем местом статьи Г. Н. Потанина, где обозначена довольно ясная точка над «и». В конце этой статьи читаем: «*Как бы русская жизнь значительно изменилась к лучшему, если бы чиновники были одержимы такою же неистребимою жаждою общественной деятельности, как жертвы столыпинской политики!*».

Кажется—ясно?

«Движение бельгийских рабочих», как мы уже знаем, пугает аксакала областничества; всякое подобное ему, хотя бы в намеке, движение Г. Н. Потанин проглядел в Сибири или просто не хотел увидеть; и вот последним политическим словом вылинявшего областничества оказывается... *движение «чиновников, одержимых неистребимой жаждой общественной деятельности»!*

Ну, что же—по Сеньке и шапка!..

Читатель, читающий эти строчки *сейчас*, может задаться вопросом: что-ж тут такого? заурядное кадетство, самый пошлый, даже явно провинциальный, либерализм,—к чему же столько страстности и боевизма? не проще ли было спокойное игнорирование противника, по тактике других товарищей? Да, много можно задавать вопросов—задним числом, на расстоянии, *отвлекшись от наличной обстановки*. Обстановка же была такова, что в положении как бы «спокойно игнорируемых» оказывались *сами* мы—не только потому, что реально-общественная, т.-е хозяйская, сила была не на нашей стороне, но и потому еще, что яд «патриотической» печати отравлял и нашу аудиторию. Вот почему, получив в свое распоряжение газетную *поденку*, приходилось в первую голову думать о *противоядии*.

Нужно и то еще учесть, что противник время от времени получал подкрепление—не только от заведомо скомпрометированных в глазах нашей аудитории, групп,—как «одержимое» либералистской «жаждой» чиновничество, или востротинского типа буржуазия, «неудержимо» докатившаяся до Харбина,—но и со стороны таких группировок, с которыми мы не могли тогда не считаться хотя бы уже просто потому, что и они претендовали на того же, что и мы, читателя. Я говорю об *эсерстве*. Если навозные и ссыльные эс-еры молчаливо попустительствовали сибирячеству, ощущая, видимо какие-то точки соприкосновения с ним, то все *сибирское* эсерство было полностью на стороне областников.

В 1916 году — такое подкрепление было получено областниками в лице вернувшегося—кажется, даже невольно—в родную Сибирь известного, в российском масштабе, эс-ера—*Е. Е. Колосова* [1]. Подкрепление, нужно сознаться, несколько неожиданное,

[1] Дальнейшая эволюция его такова. В 1917—18 году усиленно травил большевиков в Красноярске. Учредиловец. С Сибирским временным пра-

если принять во внимание тогдашнюю репутацию Колосова, как партийца-подпольщика, связанного с эсеровскими центрами, и даже (если это «даже»)... «любимого ученика Н. К. Михайловского»! Сейчас-то мы беседуем с такими гражданами не весьма стеснительно,—ну, а тогда они, в ответ на наши реплики, *едва-едва цедили сквозь зубы.* Можете судить, поэтому, каким событием в нашем тогдашнем—*принципиально немотствующем*—литературном мире должно было явиться *первое громко произнесенное* по нашему адресу *принципиально-неприемлющее* слово, и как необходимо было на это слово реагировать!

Первое по приезде, выступление Е. Колосова таким именно и явилось словом. Колосова определенно задели мои последние нападки на Потанина (в связи с Зайчневским и т. п.), а с другой стороны, он и сам не мог не видеть, куда катятся отцы областничества. В результате, ему все же захотелось подбодрить стариков, а, может быть, и *влить им в жилы капельку свежей—сравнительно!—партийно-эсеровской крови* (года два спустя эс-еры и совсем слились с областничеством). Что это получилось за оплодотворение, видно из следующего ответного документа, нашедшего себе пристанище в «*Сибирской Летописи*»—№ 8, год 1916:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Е. Е. КОЛОСОВУ.

Милостивый государь, господин Колосов!

В только-что вышедшем № 3-м журнала «Сибирские Записки» (Красноярск) вы почтили меня обстоятельной критической статьей. Может быть, вы мне поверите, если я скажу, что появление этой статьи, на девять десятых отрицательной, но—как бы то ни было—принципиальной, было большим для меня праздником.

В самом деле.

Вот уже несколько лет, как я печатаю мои статьи о сибирском областничестве, пользуясь для этого очень немногими доступными мне, иногда и «захудалыми», сибирскими изданиями,—и за все эти несколько лет ваше журнальное выступление против меня есть только первый, и уже поэтому приятный, отклик.

Того, что со статьями о сибирском областничестве, даже академически-принципиальными, приходится итти в издания или юношески-наивные и порою не очень грамотные, или же в меру «сырые» и не очень складные, каким был первое время «Сибирский Архив»,—стыдиться нужно не мне. Когда человеку хочется кричать и когда ему настойчиво затыкают глотку,—для него вопрос о том, где крикнуть, не является самым главным.

Журналисты такого блеска и размаха, как покойный Ядринцев, в Сибири давно повывелись. Девиз «бей, но выслушай» глубоко чужд областниче-

вительством—до чехов. Убоялся колчаковщины, метался в поисках «контакта»—от большевиков до Гайды. В 1920 году—участник «политического центра», проводник идеи сибирского «буфера». С упразднением, за ненадобностью, «центра»—не у дел. В 1923 году выпустил в Петрограде, при «Былом», большую книжку «Сибирь при Колчаке»—историю сибирского партизанства. Старые эсеровские дрожжи здесь явно ощущаются. Но—сравнивая с Колосовым-учредиловцем, нельзя не видеть и серьезных сдвигов.

ству современному, как явлению пережиточному. Оно способно втихомолку засветить лампаду перед образом уходящего, но оно беспомощно в открытом бою. Отсюда—и его нетерпимость, характерная для него, как и для всякого бессилия.

Веры в себя, чем было живо старое областничество, у нового уже нет. И это понятно: процесс внутри-экономического развития Сибири с тех пор изрядно расшатал подпорки, о которые опиралось это учение.

Как и всякое изжившее себя течение, областничество боится свежего воздуха, всякий намек на критику его откровенно пугает, и этим испугом ярко окрашены все без из'ятия исконно-сибирские органы. Разве не характерно, напр., что даже вашему (кажется, уже бывшему?) единомышленнику и человеку, вхожему во все исконные редакции,—я говорю о Дм. Илимском,—для того, чтобы скромно и корректно высказаться против областничества, приходится экспортировать свои статьи в Петроград?

Разница между мной и Дм. Илимским в данном случае лишь в том, что мой литературный темперамент не позволяет мне путешествовать так далеко.

И это не случайность, разумеется, что именно вы,—человек относительно свежий и видавший горизонты пошире родного прихода,—разрядили то глухое недовольство против моих, случалось, резких, но всегда прямых, нападок на новейших реставраторов изжитой идеологии, которое копилось слишком долго. Молчание в ответ на все прямое и «одиозное»—излюбленный bon ton наследного областничества.

Я даже поражен, милостивый государь, как это вы решились «перешагнуть порог» какого-то там «Сибирского Архива», о «неприступности» которого для моих противников столь ядовито отзываетесь, и тем любезно извлечь написанное без надежды на сибирский отклик на страницы не-одиозной печати.

Очень ценю вашу отвагу пионера (а вместе—и вашу последовательность): теперь-то уж никто из тех, кто вас выдвинул, не посмеет сказать, что я «посылаю парфянские стрелы из-за неприступных сооружений». Теперь я «уязвим» и, значит, вправе льстить себя надеждой, что пославшие вас в качестве застрельщика когда-нибудь и сами «уязвят» меня в честном бою.

А в ожидании, пока это исполнится, побеседуем.

Вот, вы заверяете, г-н Колосов, что вторичный (безымянный) выпад Г. Н. Потанина против сбивающей сибиряков с истинно-уездного пути «пришлой интеллигенции» относится, как и первый, все к тому же покойному Зайчневскому. Но чем же подкрепили вы свои заверения? Ничем абсолютно.

С другой стороны, припомним обстоятельства: во-первых, заметка написана Г. Н. Потаниным в самый разгар ожесточенной полемики с В. С. Ефремовым, тяжелые подробности которой еще у всех на памяти; во-вторых, в то время действительно усердно помещались в одной из иркутских газет—между прочим, прекрасные—корреспонденции из Бельгии (о рабочем движении) [1]; в-третьих, к этому же времени как-раз относятся первые попытки основания «пришлой интеллигенцией», в лице одной из групп ее, своей определенной и притом независимой, печати в Сибири (в Иркутске); и, в-четвертых, наконец, весь тон заметки Г. Н. Потанина (эта беспомощная ярость, и это «пристроился» к одной из иркутских газет, обратив ее в «орудие пропаганды», в «орган рабочей партии», издаваемый для «петербургского, чуть ли даже не бельгийского» пролетариата»)—все говорит за нелепость отнесения ее к покойнику.

[1] Точно не могу сейчас представить, какую именно газету я имел тогда в виду. Возможно, что иркутскую «Сибирь», которой руководил, близко и издали, В. С. Ефремов, ненавидимый Потаниным.

О покойниках, милостивый государь, так не говорят, да еще на протяжении семи лет повторно; и если бы это действительно относилось к покойному, то свидетельствовало бы о такой неукротимой и личной злобе, перед которой меркнут все мои, столь напугавшие ваших доверителей, выводы. Нет, так пишут только о ближайших, непосредственных врагах, когда... из-под ног ускользает почва.

Настаивая на вашем голословном, ничем решительно не подкрепленном заверении, вы оказываете дурную услугу Г. Н. Пота́нину. Я лично думаю о нем несравненно лучше, и никакие сенатские раз'яснения из «Сибирских Записок» не разубедят меня в правоте мною написанного.

Единственно, кто мог бы тут сказать свое веское, решающее слово, так это сам Г. Н. Потанин,—и теперь, когда наш спор со страниц одиозных изданий благополучно перешел на не-одиозные, я решительно не вижу, что может помешать ему это сделать. Старик он, как я его себе представляю, крутой, но лжи не потерпит,—и, значит, как он сказал, так и быть по сему.

Я уже вижу, милостивый государь, как страшно перепугались ваши доверители: еще бы—Григорий Николаевич Потанин, «Божий человек», и вдруг—отвечать на какие-то «парфянские стрелы»! Но нам-то с вами, г-н Колосов, должна быть чужда эта святительская точка зрения: мы знаем, что призыв время от времени и стариков «к порядку»—дело грешное, конечно, но для обеих сторон полезное.

Пример не одного десятка и покойных и живущих стариков свидетельствует нам о том, что в затхлой атмосфере раболепства старики дряхлеют и постепенно духовно нищают, проникаясь временами даже верой в свое иконобожество,—и только в атмосфере честного, открытого боя выковываются старики, которые становятся нашими знаменами.

Я бесконечно далек от нелепости приписывать Г. Н. Потанину даже и тень реальных доносительских стремлений: этот, воинстину, «чудовищный» вывод из моей статьи («Заб. Об.», № 7, 1916) вы мне произвольно навязали. Но я и тогда говорил, и сейчас утверждаю, что атмосферой идолопоклонства, создаваемой вокруг уходящих, вы, новейшие областники, не только не способствуете поддержанию ваших «знамен» на прежней высоте, но косвенно обрекаете их на разжигание в себе беспомощной ярости (к живым или покойным противникам), толкаете на личные выпады, где пресловутое *«чувство местного патриотизма» уступает место общественной непристойности.*

Столь же наивно, милостивый государь, и другое ваше заверение. Это—о том, что разбираемая мною статья г. Потанина («Сиб. Записки», 1916, № 1) есть всего только «воспоминания прошлого», а уж никак не политическое выступление, да еще в меру жалкое.

Договориться до того, что вне А. В. Витте и др. «только сон и апатия», что только «великодушные работники» типа упомянутых культурников и могут «оказаться на высоте минуты во время великих испытаний наций», и, далее—до маниловской мечты о «чиновниках, одержимых неистребимой жаждой общественной деятельности»,—это и значит растерять былые демократические принципы, проглядеть все общественное развитие Сибири последних лет, поставить во главу угла «беспринципное культурничество».

Вы с этим, милостивый государь, не согласны, и это—ваше право. Но видеть только то, что хочется видеть, еще не значит быть критиком. Это тем более курьезно, что сами-то вы отнюдь не считаете отношения между отцами областничества, руководимой ими *краевой* интеллигенцией и между *новой* ссылкой и ее интеллигенцией—нормальными.

Заслуги последней, в ваших глазах—вне всякого сомнения. *«Теперь и спаржа и огурцы, и обсерватория*, говорите вы, *создаются при самом деятельном участии пришлого элемента. Это ставит краевую интеллигенцию в несколько ложное положение».*

И—вывод:

«Мы сами должны научиться разводить огурцы и спаржу и управлять обсерваториями, дабы не ожидать, когда явятся новые декабристы и научат нас начаткам культуры».

Вот это, милостивый государь, совершенно правильно!

Но не менее правильно и то, что, не в пример областничеству старому, *новейшее областничество почти совершенно не прилагает усилий к развитию самодеятельности* как коренного населения, так и сибирской краевой интеллигенции (застольные тосты и литературные ламентации—не в счет).

Новейшее областничество лишь закрепляет отложившиеся предрассудки, не желая видеть ничего выходящего из рамок традиционного представления, и прямо или косвенно поддерживает то—может быть, и естественное, как вы стремитесь доказать, но едва ли очень почтенное—чувство *раздражения* к пришельцам, которое, начавшись в атмосфере боя, продолжает тлеть отчасти по традиции, отчасти по слабости человеческой, но и в том и другом случае—одинаково *недостойно славного прошлого областничества*.

И разве не характерно, милостивый государь, что даже вот вы, например, человек относительно свежий, не только не пытаетесь сказать столь вопиюще нужное здесь слово «к порядку», но еще даже и стремитесь оправдать и чуть ли не в какой-то подвиг возвести признаваемое вами же «раздражение»?

А рядом, милостивый государь—взгляните!—зацветает новая и как-будто сулящая что-то жизнь. Рядом—в то время, как вы, областники, носитесь со своей «священной» ненавистью к Зайчневским, живым или покойным—идет то самое прекрасное строительство, о котором ваши старики мечтали в юности!

Развивается самодеятельность населения; родилось, и уже стало насущной реальностью, живое слово «содружество»; самое просвещение народа все чаще и чаще становится делом рук народа.

Ваша мысль—я говорю о ваших единомышленниках, г-н Колосов—все еще по традиции витает в той несложной обстановке, когда, с одной стороны, были светозарные «мы», сеявшие разумное, доброе, вечное, а с другой—«столыпинский меч» (ускорявший обращение какого-нибудь Витте в его «собственную противоположность»).

Вы не видите, как жизнь необычайно осложнилась, как между «вами» и «ими» выросли новые величины, и—если не с вами молодая самоопределяющаяся буржуазия сибирская, то не с вами и сибирская демократия.

Правда, Востротины и Зубашевы все еще по старой памяти оказывают почитание вашим иконам, но на деле *вы уже давно идете за ними*. А народ... река его жизни все дальше и дальше отходит от областничества,—да последнее и всегда-то было занято больше «краевой интеллигенцией»...

Нельзя не отметить еще ряда явлений, красноречиво говорящих об *эволюции областничества*: это—отречение новейших областников от областничества, как *программы* (начиная с авторитетного В. И. Анучина в «Сиб. Студенте» и кончая какой-нибудь купецкой рептилией, все еще поглядывающей умильно—«для святости»—на образ Потанина); утверждение областничества, только как *настроения*; смешение понятия федеративного устройства окраины и автономного (тот же В. И. Анучин); и наконец—последнее «превращение» (это уже вы, милостивый государь), незаметная *подмена совершенно определенного понятия «областнический» алгебраическим «областной»*.

В статье, которой вы меня почтили, вы всюду совершаете эту подмену. Чего, например, стоит хотя бы такое ваше утверждение: Чужак—сторонник процветания областных тонов в поэзии; следовательно, Чужак—областник!

Ничего, милостивый государь, не может быть наивнее: областным вопросам и областному и я, и мои единомышленники—мы всегда воздавали должное, но быть областником...—нет, г-н Колосов, «мы не из их числа», хоть смешивать эти два разные «ремесла» и находятся «охотники».

Кто не хочет быть мертвым—должен уметь жить.

С переходным временем, когда рушится старый патриархальный уклад и все яснее проступает новое, коренная сибирская, она же краевая, интеллигенция оказалась на распутье. Типичное детище переходного периода, она мечется между двух берегов. Со старым областничеством ее связывает только традиция и эта характерная неприязнь ко всему чужому и новому. *В каждом пришлом она видит конкурента, который лучше ее понял законы необходимости, а потому, даже бесправный, умеет лучше подойти к народу.* Но к новому ее уже влечет коварный ход вещей, ибо за последние годы и она кое-что поняла, кое-чему научилась.

И нет для нее иного выхода: или умереть почетной, но раздражительной, смертью, как старое областничество; или же (подобно отколовшейся уже буржуазии, нашедшей себе новых златоустов в лице представителей капитала московского), сбросить обветшавший плащ уездной идеологии, понять все до конца и *слиться с новой социальной группой, с новым—идущим на смену—классом.*

И тогда-то, уверены мы, будут у нее и «огурцы», и «спаржа», и сама она, без обидной указки уже униженного бесправием пришельца, научится раз навсегда управлять своими «обсерваториями».

Н. Чужак.

В заключение—немного сохранившихся документов из «*Багульника*»... Неподписанная статья «*Почему они молчат*», посвященная оценке национальной политики областничества тогдашним эсером-ссыльным *Дм. Илимским*; далее—статья *В. А. Ватина*-Быстрянского под заглавием «*Метаморфозы*» (об эволюции Рожкова);—все они говорят за себя и в комментариях не нуждаются... Последний—пред революцией—год... Итак:

ПОЧЕМУ ОНИ МОЛЧАТ?

В закончившейся печатанием в «Северных Записках» обстоятельной статье, *Дм. Илимский* дает очень корректную, но и беспощадную критику «национальной политики» сибирского областничества.

Старые областники,—говорит автор,—правда, показали всем, желающим видеть, «как система хищнической эксплоатации инородцев губит область, ослабляя ее производительные силы, губит господствующую народность, развращая и ожесточая ее». Но областники, все же, не сказали нужного слова, не поставили вопроса во всей его широте.

«Их программа национальной политики в конце - концев оказалась построенной, главным образом, на мотивах *нравственного* порядка. Неправильна была и их оценка действительности. Отстаивая перед правительством право сибирского крестьянства на самодеятельность и увлекшись борьбой с односторонним направлением сибирского капитала (областники осуждали преобладание торгового капитала и настаивали на развитии местной промышленности), деятели областничества возложили ответственность за обнищание инородцев на правительство и торговую буржуазию. Правительству они ставили в вину то, что для него инородцы числятся только по ведомостям казенных палат, купечество же они обвиняли в отсталости торговых приемов, в хищничестве и нежелании заглянуть в завтрашний день. *Они не заметили, что в грехе хищничества в равной доле с купечеством повинно и сибирское крестьянство*, по крайней мере, верхние слои его. *Они ни слова не сказали о том, что в Сибири вся господствующая национальность эксплоатирует инородцев*, что хищничество есть *массовое* явление. Оттого-то в их протесте и в их программе оказалось пустое место. К началу XX века

факт замалчивания областниками различных отрицательных черт старожилого крестьянства стал общеизвестен, и новейшая критика этого замалчивания погубила старое областничество.

Заслуга окончательного определения старой национальной политики и выяснения степени участия в ней сибирского крестьянства выпала на долю *пришельцев из России*, той группы «мирных народников», которая в 1887—88 г.г. произвела знаменитое громадное обследование старожилого хозяйства в четырех губерниях коренной Сибири. Устами Астырева российские народники дали *суровую, но правдивую характеристику сибирского старожила того времени—жадного, своекорыстного, подозрительного и жестокого к слабым*. Всей своей работой они показали, как пресловутое благосостояние старожила складывалось не благодаря личной энергии и предприимчивости первых засельщиков Сибири, а благодаря широко развитой этими засельщиками хищнической эксплоатации инородцев. После этого признания оставалось сказать последнее слово, и оно было сказано дальнейшими исследователями, *опять-таки людьми, пришлыми из России*: раз старожилое хозяйство основано на эксплоатации, раз ему особенно присущ торгово-предпринимательский характер, то, значит, крестьянство развращено, а экономическая ценность и стойкость его хозяйства не высоки. С обнищанием эксплоатируемых инородцев, с истощением естественных, легко добываемых богатств область должна приостановиться в своем развитии, и *кризис будет продолжаться до тех пор, пока крестьянское хозяйство области не примет нормальный облик, пока оно не станет хозяйством производительным, а население не приучится к честному культурному сожительству с инородцами*.

Действительность оправдала предсказания и разбила многие областнические иллюзии. Кризис начался тогда же, в конце восьмидесятых годов, и продолжался до конца столетия, закончившись *полным расслоением старожилого крестьянства, образованием ясно-выраженных хозяйственных групп, до деревенского пролетариата включительно, и переходом средних слоев к земледельческому трудовому хозяйству, а богачей—частью к чистой торговле и кулачеству, частью же к предпринимательскому зерновому хозяйству и маслоделию*».

Любопытно, что и эта статья,—скорее друга, чем врага,—встречена сибирской прессой, как и все, что появляется изредка против областничества, гробовым молчанием. А, ведь, уж как бы, казалось, замолчать ее?

Ряд случаев печатного «непротивленства» областничества наводят на определенное размышление: да полно, уж живы ли они, эти почтенные тени, все еще продолжающие по старой памяти руководить сибирской молодежью? Не остались ли от них одни иконы, да и те, как в меру выцветшие, не лежат ли под надежным спудом, извлекаемые нарочито при особых случаях: на похороны, юбилеи, крестины?.

МЕТАМОРФОЗЫ.

Читаешь, и не веришь своим глазам: какие только превращения не бывают с людьми! [1]

Еще в 1913 году, в газете «Сибирская Новь» (№ 65), известный ученый и публицист Н. А. Рожков, один из крайних отрицателей сибирского областничества, писал:

«Областная сиб. дума будет вредна, потому что разрознит силы сибирской и российской демократии и поможет сибирской буржуазии подавить сибирскую демократию, повести хозяйственное развитие Сибири путями,

[1] Описываемая ниже неприятная «метаморфоза» с Н. А. Рожковым относится уже к *томскому* периоду его пребывания в ссылке.

Высланный сначала из Иркутска, а потом и из Читы, Н. А. Рожков сделал попытку работать в Томске, а далее перебрался и в Ново-Нико-

наиболее тяжкими для широких масс местного населения. *Проповедь областничества, поэтому, реакционна*».

Казалось бы, написано ясно? «Проповедь областничества реакционна». Это сказано в 1913 году. А вот, в 1916 году говорится совершенно иное Недавно, во время обсуждения доклада об областничестве, прочитанного г-ном Воложаниным в томском отделе о-ва изучения Сибири, тот же Н. А. Рожков (цитируем по «Сиб. Жизни», № 35) провозгласил:

«Разногласия между нами теперь сильно сглаживаются. И я скажу вам, что, поскольку областничество отстаивает широкое местное самоуправление, ведет культурную работу, протестует против бюрократического гнета, против колониальной политики,—постольку нам надо итти с ним рука об руку. Эти дороги у нас долго не разойдутся. *Забудем разногласия и пойдем рука об руку к великой цели*».

Если бы Н. А. Рожков говорил от себя, это было бы еще терпимо: мало ли какие превращения бывают с людьми! Но он претендует на выражение

лаевск—редактировать газету. Нужно заметить, что *ликвидаторские* настроения Рожкова 1910—11 года почти вовсе не мешали нашей совместной *газетной* работе, поскольку вопросов партийного порядка мы, все равно, не могли касаться в тогдашней сибирской печати. В то время как вокруг этих вопросов в Питере кипел газетный бой, мы, ссыльные-газетчики, могли их только «констатировать».

К моменту выборов в четвертую Госдуму, ликвидаторство впервые лишь дало себя реально в Сибири почувствовать, но и тут *наше общее несчастье*, в виде ничтожества «удобных» кандидатов, помешало нам серьезно поссориться. Чудовищный напор военного *человеконенавистничества* 1914—15 года, со своей стороны, только способствовал сплочению нашей об'единенной группы. Что же касается Н. А. Рожкова, то он чуть ли не первый даже выступил с интернационалистской платформой.

В 1916 году дело меняется*) и все же...

Расценивая, взвешивая *на далеком расстоянии*, нельзя, конечно, не признать огромного культурного значения и роли Рожкова в деле многовидной — от газеты до устройства стачки — *социальной растряски Сибири*.

Демократ по внутреннему складу, по всему подходу к людям, по рабочим навыкам; ученый без малейшей тени педантизма; публицист *неистребимо-жизнедейственный*,—он разрушал—одним уже прикосновением своим!— иконы сибирячества даже тогда, когда неосторожно пускался гулять с ними «рука об руку».

В моменты, когда у нас бывали свои листовки, энергии Рожкова хватало на все: агитировать «на людях» и в розницу; «добышничать» при случае по трешкам на газету; писать для нее передовые, хронику и «прочее» (для «происшествий» у нас был собственный Петрулевич); корректировать; надписывать на бандеролях адреса и... что еще? Беда же Рожкова заключалась в том, что *профессорская часть его туловища несколько перевешивала политическую*, и в том еще, что социабельный его характер решительно мешал ему оставаться без людей и без дела. Ну, а когда уже вовсе не было ни дела, ни людей, он—нечего греха таить—довольствовался и *подобием* людей, и *подобием* дела...

Возвратимся же к «метаморфозам».

*) Статья писана до смерти Н. А. Оставляя ее в полной неприкосновенности, отсылаю т.т., интересующихся ролью Рожкова в ссылке, к специальной моей статье —в № 3 «Каторги и Ссылки» за 1927 год.

взглядов известного течения общественной мысли, и против этого приходится всемерно протестовать.

В последней речи публициста заключается самое грубое и вредное заблуждение.

Призыв к «забвению разногласий» во имя достижения мнимо-общей «великой цели» обычно слышишь от течений, заинтересованных в затушевывании противоречий, разделяющих антагонистические социальные группы. На этой же позиции всегда стояло—допускаем, неумышленно—и областничество.

Так, еще в 1907 году покойный *Головачев*, один из виднейших апологетов областничества, в «Сиб. Вопросах» (№ 15) писал, что *принципы последовательно-демократической программы в применении к Сибири «висят в воздухе*, не имеют под собой почвы ни по состоянию и развитию местной промышленности, ни по числу лиц, поставленных в те отношения между трудом и капиталом, которые указаны программой».

При таких условиях,—заключал Головачев,—*не может быть и речи о каком-то противоречии классовых интересов*. Вместе с тем, каким-то недоразумением является и представительство от Сибири сторонников критикуемой программы в Гос. Думе...

Демократия прекрасно знает цену подобным лозунгам и не дает ввести себя в искушение. Но когда подобные речи исходят от лиц, считающих себя выразителями стремлений демократии, они требуют особенного к себе внимания. Присмотримся же к рассуждениям Рожко́ва.

Свое заключение об исчезновении разногласий между марксистами и областниками он выводит из того, что последние «протестуют против бюрократического гнета и колониальной политики», высказываются за «местное самоуправление», ведут «культурную работу».

Спрашивается: разве областники начали делать все это со вчерашнего дня? Разве отмеченные Рожковым плюсы областничества не вписаны в его программу с самого его возникновения,—с 60-ых годов? Разве не в этом заключалась платформа Ядринцева и Потанина?

Однако же, она не устраняла наличия глубоких разногласий с демократией, и сам Рожков всего три года тому назад считал еще «проповедь областничества реакционной». *Что же с тех пор изменилось? Изменился... Н. А. Рожков.*

Правда, он говорит: «поскольку—постольку». Но это—лишь внешняя дань диалектике, так как все дело в том, насколько велико это «поскольку»,—настолько ли, по крайней мере, чтобы «забыть разногласия» и «итти рука об руку»?

Если областники и «отстаивают» местное самоправление, то отнюдь не «широкое». Достаточно известно, напр., как «сибирская группа» III Гос. Думы принялась приспособлять для Сибири земское положение 1890 года, и только провал ее земского законопроекта в Гос. Совете в 1912 году, поразивший ее, как снег на голову, на время охладил ее приспособленческий жар. «Протест» областничества против «бюрократического гнета и колониальной политики» носит чисто платонический характер, так как областники постоянно упускают из виду общегосударственную ситуацию.

Что сказать об общественном смысле деятелей, по мнению которых «осуществление местных реформ не зависит от той или иной формы правления», а «малый масштаб сибирских вопросов гарантирует быстроту и удовлетворительность их решения» (П. Головачев, «Сибирск. Вопр.» 1907, № 15)?

О какой общей дороге может итти речь с людьми, для которых положения, еще недавно сравнительно разделявшиеся и Рожковым, являются какой-то «политической метафизикой»?

Точно так же «культурная работа» не может явиться базисом для сотрудничества демократии с областниками. Ведь, и в самые «малые дела»

последняя вносит понимание великих общих задач, определяющих всю ее деятельность, и только при таком условии культурная работа может раскрыть все таящиеся в ней возможности.

Странным образом, Н. А. Рожкова ввело в заблуждение чисто внешнее и поверхностное сходство между некоторыми пунктами программы демократии и платформой областничества, этой сибирской разновидности либерализма.

Он совершенно упустил из виду, что одни и те же вопросы получают совсем различную постановку у разных течений общественной мысли, и что самые задачи рассматриваются различными течениями в неодинаковом масштабе, при чем как-раз «малый масштаб» в глазах областников и представляется гарантией жизненности их требований.

А самое главное: у демократии и либерализма принципиально отличен самый метод решения стоящих на очереди вопросов: где первая дерзает аппелировать к Ахерону, строя на этом всю свою линию поведения, последняя обращает свои взоры к небожителям.

Как же тут итти «рука об руку», и где те «дороги», которые «долго не разойдутся»?..

В конце 1911 года В. Ильин указывал на «чисто либеральную постановку вопроса» в общеполитических рассуждениях Рожкова,—чисто либеральную постановку дает теперь Н. А. Рожков проблемам сибирской жизни.

«ПОРА ВСПОМНИТЬ».

Еще недавно сибирские газеты лили бесплодные слезы по поводу ужасного состояния могилы покойного *А. П. Щапова* на Знаменском кладбище в Иркутске, а равно и памятника на могиле этого сибиряка-публициста. В настоящее время г. В. К. в «Сиб. Мысли» печатает убийственную по фактическому содержанию статью-заметку о памятнике на могиле *Н. М. Ядринцева* в Барнауле.

Приводим эту заметку целиком:

Год тому назад в «Сибирской Жизни» было напечатано нижеследующее:

«Как у нас уже сообщалось, Г. Н. Потанин, посетивший г. Омск с целью сделать там в отделе географического общества доклад о своей летней поездке в Каркаралинский уезд на р. Токрау, посетил, между прочим, Омскую городскую управу, где ему была устроена торжественная встреча. Вспомнив предстоящую 7-го июля с. г. годовщину смерти (20 лет) известного сибирского патриота-публициста Н. М. Ядринцева, Гр. Ник. обратился к городскому голове с предложением почтить память покойного сибирского патриота прибитием мраморной доски к тому дому, где родился Ядринцев.

В виду того, что часть квартала, и именно та часть, где стоял дом Ядринцева, в данное время пустует, на совещании с Гр. Ник., как сообщают местные газеты, было высказано пожелание обратиться к живущему в данное время в Петербурге владельцу этой усадьбы В. А. Поклевскому-Козелл с просьбой об уступке небольшой части этой усадьбе для устройства дома-школы или другого какого-нибудь общественного учреждения имени Н. М. Ядринцева.

Предложение это было встречено весьма сочувственно и, можно надеяться, что оно получит осуществление.

Предстоящая двадцатилетняя годовщина со дня смерти Н. М. Ядринцева обязывает ко многому и наш культурный центр Сибири—Томск, где Ник. Мих. провел значительную часть своей жизни, учился, работал на благо всей Сибири.

Н. М. Ядринцеву вся Сибирь в значительной степени обязана развитием в ней просвещения, созданием сибирского университета.

Как ознаменуют предстоящую годовщину наше городское самоуправление и наши культурно-просветительные организации, покажет недалекое будущее, но во всяком случае вопрос этот необходимо поставить на очередь в ближайшие дни».

Со времени напечатания этой заметки—,говорит *г. В. К.*,—прошел ровно год, и мы совершенно ничего не знаем о том, что сделано Омским общественным управлением в данном случае.

«Мы не знаем, предприняты ли какие-либо шаги со стороны Омского отдела географического о-ва и других таких же в Сибири в смысле увековечения памяти Ник. Мих. Ядринцева, так много сделавшего для Сибири и, даже можно сказать, что жизнь отдавшего своей родине.

«А казалось бы, что к приближающемуся 25-летию со дня его смерти следовало бы Сибири вспомнить своего друга, учителя и радетеля и что-нибудь предпринять для увековечения его памяти.

«До сих пор ничего еще не сделано в этом направлении.

«После его смерти группа почитателей собрала небольшие средства и поставила памятник на могиле Николая Михайловича в Барнауле. И что же? Этот памятник приходит в ветхость, постепенно разрушается, и гор. Барнаул равнодушно смотрит на это разрушение памятника и ровно ничего не делает для его поддержания.

«Недавно,—продолжает рассказывать *г. В. К.*,—я был в Барнауле и посетил место успокоения Ядринцева.

«Памятник кругом зарос лесом и кустами, все бронзовые украшения содраны и валяются в траве тут же. Надписи стерлись. Картина разрушения и заброшенности.

«Неужели даже к 25-летию смерти Ядринцева Барнаул не подновит памятника великого сибиряка и не возьмет на себя попечения о нем в будущем?

«Ну, а уж если Барнаулу не по-плечу такая работа, то следовало бы ее возложить на плечи всему сибирскому обществу, хотя бы в лице сибирских о-в изучения Сибири. Ведь, все свои шаги они делают от того же Ядринцева и едва ли могут забыть о нем и его могиле»...

Приведенная статья-заметка г-на В. К. называется: «Пора вспомнить».

Пора вспомнить сибирякам, оказывается... Ядринцева! Да и то—только по случаю приближающегося юбилея!

Россия изучает Сибирь по Ядринцеву, в Европе Ядринцев и Сибирь неделимы, а вот «всему сибирскому обществу» и до сих пор нужно вяло втолковывать:

«Ядринцев много работал на благо Сибири».

«Ядринцеву Сибирь в значительной степени обязана просвещением и созданием первого университета».

«Ядринцев чуть ли не жизнь свою отдал Сибири».

«Ядринцев—друг и радетель Сибири».

И т. д.

Г. Н. Потанину «торжественную встречу» устроили, слезы умиления холодного при этом пролили, застольных фраз довольно наболтали, а вот о предложении старика—прибить хотя бы мраморную доску, что ли, к дому покойного «друга и радетеля» Сибири—так и забыли, как забыли, вероятно, и о самом Потанине—до новой «торжественной встречи», до новых колоколов и речей, до нового пустозвонства!

Памятник на могиле Н. М. Ядринцева приходит в разрушение, и нужно воистину вопить, чтобы до слуха всех этих «гробов повапленных» дошел бледнонемощный зов:

«Неужели даже к 25-летию смерти Ядринцева Барнаул не подновит памятника великого сибиряка»!

И это—максимум! Но, видимо, сам автор понимает, как трудна эта задача—«подновить»! Он не надеется на силы барнаульцев и, без веры в действенность своих речей, добавляет:

«Ну, а уж если Барнаулу не по-плечу такая работа, то следовало бы ее возложить на плечи всему сибирскому обществу, хотя бы в лице сибирских обществ изучения Сибири».

Читатель, чувствуешь ли ты весь пошленький трагикомизм такого положения: «сибирские общества изучения Сибири» совместно (!) делают работу, непосильную (!) для Барнаула—подрубают сучья вдоль безвременно заросшей «народной тропы» к могиле «друга и радетеля», подкрашивают надписи и еженощно бдят, чтоб «бронзовые части» памятника были целы!

В лучшем случае—содержат сторожа «на сей предмет»...

А, ведь, и самые-то «сибирские общества изучения Сибири» давно уж «поросли быльем», и надписи на них серьезно полиняли, и даже «бронзовые части» поотбиты и валяются в чердачной пыли.

К кому же апеллировать беззлобной «группе почитателей»? Уж не начать ли сказочку с начала—усадить сибирских «патриотов» за букварь и управлять указкой, охая и причитая:

«Ядринцев так много сделал для Сибири»...

«Ядринцеву Сибирь в значительной степени»...

«Ядринцев чуть ли не жизнь свою»...

«Ядринцев»...

Тяжелые, жестоковыйные люди!

Как ни велика была массовая ссылка нашего времени, а все же,—по сравнению с налаженным потоком прочной дедовской идеологии, бесконкуррентно обволакивавшей мозги не только местной молодежи, но и будущих прямых укладчиков сибирской жизни,—мы-то, ссыльные проводники иных, несвычных атмосфере сибирячества начал, казались только маленьким, хотя и дерзким, ручейком, вступившим в буйное единоборство с неприступною твердыней. *Иконоборчество, на ряду с упорным деловым показом, было лучшим нашим оружием, а уж доля изнуряющего эпатажа приносилась при этом невольно.*

Ошибались ли в оценке вредоносности упрямо прошибаемой стены? Ничуть. История блестяще оправдала наш прицел, а с ним—и подлинность нащупанной мишени. Областничество, являвшееся в наши времена *как бы религией Сибири*, уже тогда несло с собой все элементы тления. Уже тогда могли мы вспарывать брюшину этой святости нехитрым кухонным ножом. Но, вспарывая внутренности сибирячества и потроша их на потребу *нашего* читателя, *могли ли мы предвидеть все же, во что выльется это вихляющее ханжество немного месяцев спустя!*

Прошло всего каких-нибудь 15—20 месяцев со времени последней приведенной выше заметки, и—нас уже отделяла от сибирячества... не пропасть иллюзорных и лишь тщательно маскировавших реакционное содержание *слов*, а пропасть самой действенной, грубодействительной, хотя и украшенной патриотическими пулеметами, *баррикады*!

Сибирячество в самый ответственный для революции момент предательски осуществило затаенную свою мыслишку—*сепарацию*.

С новым, рабочим государством сибирячеству оказалось столь же тесно и не по пути, как яко бы не по пути ему было с режимом чиновников. Сибирячество позднейших лет и было тем *ферментом*, который, вкупе с «героическим» эсерством, *сцементировал к началу внутренней войны подспудные и еще прятавшиеся тогда под ходкими псевдонимами реакционные силы.*

Сибирская областная дума с бешеным потоком псевдо-революционных фраз... Сибирское временное правительство и чехо-словаки... Бело-зеленые повязки и флаги, докатившие Сибирь до Колчака... Древле-сибирские иконы и печать, приявшие «верховного правителя», как истого освободителя «демократии» от «диктатуры большевизма»... Бедное, столь многовидевшее кресло Григория Николаевича Потанина, выкатываемое от случая к случаю, в зависимости от желания того, кому понадобится поднять эти нетленные мощи!..

Правы, тысячу раз правы были те наши товарищи, которые, отмахиваясь от «сибирского», твердили нам о недвусмысленно-реакционной *сущности* учения областников, но столь же раз неправы были они, когда отказывались видеть в областничестве *заклятого врага*, готового благословить в своей елейности всякое активное выступление против рабочего класса...

В 1917, 1918 и 1919 годах в Сибири уже были налицо две откровенно *воевавших* линии, два *классовых* крыла единой баррикады. Пред лицом семи-восьми уже в былое отошедших лет—мы рады констатировать, что в деле построения *рабочего* крыла той баррикады было *что-то* и от наших скромных усилий. Это «что-то», может быть—всегдашний, так дразнивший буржуа, упор наш на *классовость* сибирского общества; может быть, это—столь отпугивавшие областников призывы наши к *якобинским* действиям как в годы царственной реакции, так и позднее, когда уже все кошки представлялись эсерами; а главное, товарищи,—не тот ли это социальный *атеизм* (читай: безбожие), который долгими годами прививали мы нашей аудитории?

В. Николаев.

Ссылка и краеведение.

Якутский край.

I.

В течение долгих десятилетий Якутский край являлся живой тюрьмой, куда царское правительство, вначале единицами, а затем десятками и сотнями, забрасывало своих политических пленников.

Якутский край был надежной тюрьмой, хотя и тюрьмой без решеток.

«Культурный» центр края—Якутск, с его семью-восемью тысячами жителей, отрезанный 3.000-ми верст от Иркутска, был для большинства политических ссыльных временным, переходным этапом, откуда они распределялись по прилегающим улусам и отдаленным пунктам, как Вилюйск, Устьянск, Верхоянск, Средне-Колымск. Большинство этих пунктов, отдаленных и от Якутска тысячеверстными пространствами, представляли собою поистине «гиблые» места, откуда не было возврата до конца назначенного срока. Сроки же эти (для «административных») были немалые—от пяти до десяти лет.

Почти полная оторванность от внешнего мира, отражавшаяся наиболее тяжело на психике политических, переплетаясь с другими внешними и внутренними условиями пребывания в гиблых местах, создавала невыносимо-тягостную обстановку, жертвою которой являлся не один десяток ссыльных.

Г. Цыперович, отдавший десять лет своей жизни Якутскому краю, совершенно справедливо заметил:

«Даже долголетнее тюремное заключение неспособно воздействовать так разлагающе на человеческую психику, как пребывание в этой ссыльной тюрьме без стен и решеток».

Но изолированность от внешнего мира, 7—8-месячная зима, с ее чудовищными, доходящими до 65° по Ц., морозами; редкое, полудикое население; необходимость энергичной борьбы за существование—не могли, однако, в целом задушить жизнерадостность попадавшей в ссылку молодежи и ее веру в близость революции, в близость освобождения.

Политические ссыльные, раскиданные единицами и небольшими группами по отдаленным районам края, представляли собою маленькие, почти единственные очаги культуры на севере. Среди полуграмотных чиновников и попов, погрязших в тине обывательщины, пьянстве и картежной игре, строивших свое благополучие на взяточничестве и эксплоатации туземцев, политические ссыльные были своего рода светлым лучом в этом темном, беспросветном царстве.

Политическая ссылка зарисовала несколько колоритных штрихов жизни северной «интеллигенции». Популярная в свое время среди местного населения баллада о протопопе Алексее, который был большой мастер «и в карты играть, и доносы писать», довольно красочно рисует быт представителей этого рода интеллигенции.

Вот под праздник большой
За картежной игрой
Протопоп наш в гостях прохлаждается.
Вдруг вбегает казак,
Говорит ему так:
«Вас в хотоне больной дожидается!»
Иерей же в ответ:
«Видишь, времени нет,
Без меня пусть к чертям отправляется».
И, хватив рюмок пять,
Продолжает метать,
А больной в эту ночь преставляется.
А игра все идет,
Но попу не везет,
И в досаде он пьет и ругается.

В. Г. Богораз-Тан вспоминает о другом культуртрегере севера—колымском фельдшере из бывших «воспитомцев», который пил горькую:

«В январской темноте на него находило: оклеит свои стены казенной белой бумагой, изрежет стеариновые свечи на мелкие огарки и огарки поналепит и зажжет. Потом оденется вместе со своей дамой в белые шкуры. На пол поставит два таза. В один таз нальет водку, в другой положит сушеную рыбу на закуску. После того оба встают на четвереньки и рычат, и лакают, и закусывают, и играют в люботу».

Нужна была нечеловеческая стойкость и революционный энтузиазм для того, чтобы политическим ссыльным не раствориться в этой мути пошлости, сохранить свое человеческое достоинство, завоевать симпатии и авторитет среди туземного населения.

Насколько, например, был высок—еще в былые времена—авторитет «государственных», как назывались среди местного населения политические ссыльные, видно из воспоминаний В. Г. Короленко:

«Однажды татары ограбили в соседнем наслеге общественный хлебный магазин. Якуты, в поисках похищенного, заняли Амгу, как завоеванную крепость. Начался поголовный обыск дворов.

Обыскали священников, начальника почтовой конторы, несмотря на его крики и протесты, что якуты не смеют обыскивать чиновника.

Мы,—рассказывает В. Г. Короленко,—ждали у своих ворот, решив со своей стороны не сопротивляться обыску, так как признавали за якутами право искать свой общественный хлеб по горячим следам...

Поравнявшись с нашим двором, он (предводитель якутов) вдруг остановился. Подозвав к себе несколько якутов, он о чем-то стал совещаться с ними и потом приветливо махнул нам рукой.

— Сох (нет)!—крикнул он.—Эти не скроют!..

— Сударский (государственные) не надо,—подтвердил один из якутов, и весь отряд провалил мимо»...

Поселение ссыльных среди инородцев создавало для последних немало стеснений, забот и расходов, обостряя порой до крайности их взаимоотношения.

Завоевать при таких условиях симпатии и авторитет среди туземцев было чрезвычайно трудно. Но, как бы то ни было, политическая ссылка эти симпатии завоевала своим повседневным трудом.

В жизни Якутского края политическая ссылка оставила неизгладимый культурный след. Неизбежное пребывание в течение продолжительного времени в «гиблых» местах, неиссякаемый источник энергии направляли внимание и усилия ссыльных на оценку окружающей действительности, на ее изучение.

Особенную роль в этом отношении сыграла политическая ссылка 80—90-х годов, по следам которой пошли впоследствии и другие поколения якутской ссылки.

«Охранительная» политика самодержавия и его местных ставленников не могла, несмотря на проявлявшиеся усилия, наложить полного запрета на литературную и исследовательскую работу политических ссыльных.

Пускай же в изгнаньи нам жизнь суждена, —
Еще нам осталась природа.

Эти слова из стихотворения В. Г. Богораза, отдавшего Колымскому краю несколько лет своей жизни, показывают, что «охранители» не могли воздействовать на переживания ссыльных, на их стремление впитать в себя и затем передать «на волю» свои впечатления и наблюдения над далеким, малоизученным краем.

Не имея возможности воздействовать на «душу» политических ссыльных, администрация края напрягала, тем не менее, все свои усилия к тому, чтобы стеснить их передвижение, не дать им права проявить свою исследовательскую работу и развить сколько-нибудь значительную культурную деятельность.

В этом отношении чрезвычайно характерен такой факт. В конце 90-х годов, когда В. Г. Богораз и В. И. Иохельсон закончили уже срок административной ссылки, им были поручены задания от Нью-Иоркского Музея Естественных Наук и Российской Академии Наук по исследованию инородцев северо-запада Америки и северо-востока Азии.

Министерство внутренних дел, выдав Богоразу и Иохельсону открытые листы, предложило всем подведомственным М. В. Д. «местам и лицам» оказывать законное содействие по выполнению возложенных на исследователей поручений. Неизвестно, сопровождалась ли выдача открытых листов дачей каких-либо секретных директив на места, тем не менее якутским губернатором 28 июля 1900 г. был разослан всем исправникам секретный циркуляр, в котором отмечалось:

«В виду прежней противуправительственной деятельности Богораза и Иохельсона, оказание им какого-либо содействия по возложенным на них ученым трудам представляется совершенно несоответственным».

Несмотря па всяческие тормозы развитию исследовательской работы политических ссыльных,—воспрещения писать даже в газеты, т. к., по мудрым раз'яснениям местной администрации, «государственным преступникам дозволяется только писать письма к своим родным и знакомым»,—многие из ссыльных настолько близко изучили местный край, что областная администрация вынуждена была считаться с этим фактом и привлечь к научной работе целый ряд политических ссыльных.

Этому во многом содействовало и то обстоятельство, что край был беден культурными людьми, и официально чиновничья интеллигенция была более, чем не подготовлена к выполнению даже тех скромных научных и культурных задач, которые выдвигались на очередь переживавшимся моментом.

Еще в 90-х годах, когда областная администрация приступала к изданию памятных книжек Якутской области, секретарь областного статистического комитета вынужден был обратить внимание губернатора на необходимость привлечения к составлению памятной книжки на 1896 г. политических ссыльных. Некоторые из них были уже с 1892 г. известны «своим близким знакомством с экономическим бытом инородцев благодаря долговременному пребыванию среди них», а также «трудами по этнографии, сельско-хозяйственной культуре и юридическим обычаям инородцев».

Необходимость использования литературных работ политических ссыльных мотивировалась тем, что «из среды г.г. членов комитета (статистического), а также из числа посторонних лиц с легальным положением никто не из'явил готовности сотрудничать в книжке, частью по неподготовленности к литературным занятиям, частью по незнакомству с бытом и условиями жизни сельского населения».

Вынужденное признание и со стороны областной администрации значения лучших представителей политической ссылки, как научной и культурной силы, красноречиво говорит о том, что политическая ссылка за время своего пребывания в Якутском крае выполняла действительно крупную культурную роль.

II.

Природа Якутского края, обычаи инородцев, их занятия, быт ссылки нашли широкое отражение в литературе благодаря именно политической ссылке. В этом отношении Якутскому краю посчастливилось гораздо более, чем другим окраинам Сибири.

Художественные произведения В. Г. Короленко, Тана, Вацлава Серошевского, Н. Осиповича, П. Драверта и других являются своего рода документами, в которых отражены природа и быт малоизвестного до того времени края.

Целый ряд художественных произведений В. Г. Короленко навеян жизнью его в Якутском крае.

«Сон Макара», доставивший В. Г. Короленко литературную известность, пронизан своеобразием природы севера, отысканием в темной, невежественной душе инородца, далекого от какой бы то ни было морали, светлых проблесков любви и справедливости. В. Г. Короленко со всей своей чуткостью художника вскрыл психологические переживания инородца, заставил смотреть на него совершенно иными глазами.

В своих очерках и рассказах—«Государевы ямщики», «Последний луч», «Марусина заимка» В. Г. Короленко дает блестящие по своей красочности и глубине описания природы Якутского края, быта инородцев и старожилов.

Всякий, кто хотя бы один раз побывал па Лене, с полной ясностью представит себе ее красоты, читая следующие строки В. Г. Короленко в его рассказе «Государевы ямщики»:

«Огромные базальтовые скалы стояли у самой воды, возвышаясь вершинами вровень с хребтом... Столбы, арки, крепостные стены с зубцами, башни, мосты, пещеры, фасады причудливых зданий, разбросанных по гигантскому склону,—все это, опушенное по выступам белыми каймами снега, облитое лучами заходящего солнца, полное покоя, величия и невообразимой первобытной красоты»...

В. Л. Серошевский, пробывший в Якутском крае двенадцать лет (1880—1892), помимо своей классической работы «Якуты», выпустил целый ряд беллетристических произведений, рисующих в красочно-художественной форме все своеобразие природы севера, местные нравы, переживания инородцев и ссыльных.

Рассказы В. Серошевского—«Предел скорби», «Хайлак», «В сетях», «На краю лесов», «Чукчи», «Обратный путь»—служат прекрасными художественными образцами по изучению Якутского края.

В. Г. Тан-Богораз, как поэт, беллетрист и ученый этнограф, в своих многочисленных произведениях восстанавливает перед нами жизнь далекого Колымского края, с беспросветной нуждой инородцев, знакомит с их обычаями, верованиями, спаиванием их русскими «культуртрегерами», рисует красочными штрихами природу этого «гиблого» края.

Стихи В. Г. Тана-Богораза, навеянные безрадостной северной природой, отражают собою и тяжелые переживания ссылки, и пессимизм, как результат политической реакции 90-х годов.

В стихотворении «В этой тундре»... В. Г. Тан-Богораз пишет:

...Мы, опальные дети родимой страны,
Мы, взращенные небом иным,
Наши лучшие дни, в самом цвете весны,
Как тяжелые цепи, влачим.
Беспощадной нужды унизительный гнет
Наши плечи согнул до земли.
Наши мысли утратили прежний полет
И в житейскую тину ушли.

Беллетристика В. Г. Тана-Богораза вся пропитана этнографией. Его «Чукотские рассказы»—«На каменном мысу», «Кривоногий», «На мертвом стойбище», «Праздник», «На пьяной ярмарке» и др.—дают яркие картины севера, рисуют верования и обычаи туземцев, нравы русского населения и взаимоотношения с инородцами.

Рассказ «На пьяной ярмарке» вскрывает позорнейшие страницы русской истории, когда чиновничество, в лице помощника исправника, вкупе с торговцами занималось «товарообменом» с инородцами, оперируя в качестве «эквивалента» за пушнину водкой.

Политика спаивания инородцев превратила их в полнейших наркоманов, которые за чашку водки готовы были отдать не только пушнину, но и свою жизнь.

«Пьяная ярмарка», описываемая В. Г. Таном-Богоразом, происходит в Анройской пустыне, на берегу р. Сухого Анроя, в 250 верстах от впадения его в Колыму.

Перед нами—картинка подготовки к ярмарке.

«Чукча... поставил свой шатер внизу на льду Анроя и перекладывал бобровые шкуры из одних сум в другие, заранее отделяя одну часть пушнины на покупку табаку, другую—на приобретение чая, *а третью и самую лучшую—для обмена на водку.*

Старые и молодые бабы толпились у ворот, совершая жертвоприношение духам-привратникам, владыкам русской крепости. Они обильно смазывали топленым салом каждую щель между бревнами, пятнали косяки бурой кровяной похлебкой, зарывали в снег у основания столбов кусочки сырого и вареного мяса и разбрасывали их во все стороны, усердно прося *владык деревянного дома* умягчить

сердца русских купцов, притупить их хитрость и обратить их обманы к их же вреду, а чукчам даровать выгодную торговлю, дорогую продажу и дешевую покупку».

В рассказе «Праздник» полупьяный староста Эттыгин изливает свои жалобы перед автором:

«Великий Начальник! Открой нам свое ухо! Мы все стоим перед тобой, и у нас во рту один язык. Мы хотим просить великого просьбою на русских гостей, которые приезжают к нам за торгом. Ты напиши наше слово на большую бумагу и пошли ее солнечному владыке, чтобы он узнал об обиде своих людей. Сердитая вода—худая вода, и люди на тундре все обеднели от нее. На *Каменъ* мало ездят русские купцы, и все люди там богаты оленями, а мой народ стал беден... Зачем купцы возят водку? Глаза увидят, душа захочет, тогда житель отдаст все».

В этом же рассказе иллюстрируются нравы инородцев, воспринимаемые и русскими.

Нижнеколымский казак Васька Кауров рассказывает о покупке им... женщины:

— А знаешь, барин,—обратился он ко мне, широко осклаблясь,—ведь, эта ламутка, можно сказать, моя собственная. Я ее третьего года купил на тундре!

— Как купил?—спросил я с удивлением.

— А так! Очень просто. Еще заплатил за нее тогда поллахтана (шкура большого тюленя), да кирпич *чай*, да *табак*.

— Да разве на тундре людей продают?

— Баб продают. По ламутской да по тунгузской вере, сами знаете, бабу даже полагается продавать. Я, это, ездил на тундру оленей убивать в третьем годе... Был тут один чукча дружный: к нему заехал. Ну, убил у него сколько-то оленей, переночевал, собираюсь ехать дальше, а он и стал мне продавать эту бабу. Сын у него был, за жену ее держал, да только из дому уехал, а бабу-то оставил. Ну, старику как-раз и ловко ламутскую невестку с рук спихнуть. Ихние старики не любят чужеродных баб. «Купи, говорит, эту бабу. Дешево продам».—«Да ты, говорю, как это сынову жену продаешь?»—«Не твоя, говорит, забота. Я отец, я и хозяин. Да какая она, говорит, жена? Так себе, девка гулящая. А для нас совсем худа: ест помногу, работает лениво, что под руку подвернется—крадет. Купи, брат! Задешево отдам, только с глаз увези!» Ну, я и купил».

Быт приполярных инородцев, их примитивная вера нашли вообще чрезвычайно выпуклое отражение во всех художественно-беллетристических, граничащих с этнографическими описаниями, произведениях В. Г. Богораза-Тана, вынужденное пребывание которого в тех отдаленных местах, куда и до того и после не забрасывала судьба художника-беллетриста, внесло так много красочных штрихов в литературу об отдаленном, гиблом крае.

Наиболее яркое и колоритное художественное освещение Якутского края и переживаний, связанных с пребыванием здесь, находим мы в поэзии П. Л. Драверта.

П. Л. Драверт—также невольный житель этого края, но уже более позднего периода (1906—1909 г.г.).

Безотрадна и уныла обстановка севера:

...Белое поле. Белая даль.
В бледной лазури облако белое.
Лес оголенный. Солнце несмелое.
Шелест могильный. Холод. Печаль...
Млечная мглистость. Скользкие льды
Слитых кристаллов. Хлопья летучие.
Злобной метели иглы колючие.
Лисьи, оленьи, волчьи следы...
Гладкие скалы. Гул глубины.
Белою глыбою ель наклоненная.
Ласковость влаги в земле усыпленная.
Лик охлажденной, желтой луны...

Как в свое время и у В. Г. Богораза-Тана, обстановка севера порождает и у П. Л. Драверта тяжелые, пессимистические настроения человека, заброшенного в край «печального багульника».

Хмурое, серое небо в тоске.
В бурых откосах угрюмая тень.
Там, за утесом, на желтом песке,
Смертью настигнутый—белый олень.
Черные вороны возле него.
Черные вороны жадно сидят...
Близится грозное их торжество,
Мрачен упорный, пронзающий взгляд.
Хриплого карканья слышится звук:
Старшая птица сигнал подает;
Черными крыльями кроется вдруг
Тело оленя, и—пир настает...
Хмурое, серое небо в тоске.
Ветер свирепо по скалам бежит.
Там, за утесом, на взрытом песке—
Остов оленя, белея, лежит...

Это же безрадостное настроение передается поэтом в стихотворении «Вечер в алларах».

Но самым характерным для творчества П. Л. Драверта,—для творчества, в котором нашли свое отражение и настроения поэта, и унылая жизнь Северного края,—является стихотворение «Моей собаке». Приводим почти полностью это стихотворение:

Моя дорогая собака, моя Намана̀ дорогая,
Тебе посвящаю я песню, унылую песню тоски,
И пусть по воздушным пространствам несется она, убегая,
В страну, орошенную Леной, на берег великой реки.
Я здесь, разлученный с тобою, хожу одиноко на воле,
Но воли не вижу и чахну под кровлей железных листов.

И мне вспоминается поле, якутское дикое поле,
Где рыскали в беге беспечном мы в зарослях трав и цветов.
Теперь, в отдаленьи жестоком, ты помнишь ли старого друга,
Приявшего вместе с тобою судьбы переменной дары,
Делившего братски и горе, и час золотого досуга,
И жесткое хвойное ложе под сенью древесной коры?
Ты помнишь ли путь до Олекмы от вод Кемпендяя соленых
В бесснежную зимнюю пору, губившую наших коней,
Сверкание звезд полуночных и льдов синевато-зеленых,
Нависшие дикие глыбы среди оголенных камней?
Озер закрепленные воды, безмерную ширь бадарана,
Пахучий, печальный багульник, берез низкорослых кусты?
И ржанье коней утомленных, и радостный шум каравана
При виде искристого дыма трубы одинокой юрты?
Ты помнишь ли рыжие сосны, мохнатые черные ели
И лиственниц стройных колонны в величьи могучей красы?
Лесные змеистые тропы, куда не доходят метели,
Медведем разрытую почву и след осторожной лисы?
Стада тонконогих оленей, сохатого скорбные очи,
Крик филина вечером темным, тяжелый полет глухаря?
Зловещие лунные тени и странные шорохи ночи,
И гребень туманной вершины, где утром вставала заря?
Моя белоснежная лайка, моя Намана дорогая,
Я верю—мы встретимся снова в далеком Якутском краю.
Узнаешь ты старого друга и, радостно воя и лая,
В стремительном, бурном восторге на шею метнешься мою!

В художественных произведениях политических ссыльных в достаточной мере глубоко и полно отражен далекий Северный край. Изучить и понять этот край нельзя без изучения работы политических ссыльных.

III.

Художественные произведения политических ссыльных Якутского края—небольшая, хотя и красочная, частица огромной краеведческой литературы, обязанной своим существованием политической ссылке. Начиная с девяностых годов и кончая периодом революции 1905 года, периодическая печать Иркутска, Петербурга, Москвы и др. городов видела постоянно на своих столбцах работы политических ссыльных Сибири вообще и в частности—Якутского края. Длительное пребывание в крае, тщательное и всестороннее изучение его жизни выработали из ряда политических ссыльных крупнейших научных работников по якутоведению (и других народностей), труды которых непрерывно печатались в «Известиях Восточно-Сибирского Отдела Русского Географического Общества», в «Живой Старине», «Этнографическом Обозрении», «Землеведении», «Русском Антропологическом Журнале», «Сибирских Вопросах», «Сиб. Сборниках», «Багульнике»; в газетах: «Восточное Обозрение», «Сиб. Жизнь», «Сибирь», «Якутский Край», «Якутская Окраина», «Ленские Волны» и других.

На ряду с этим выпущено было в свет немало отдельных специальных работ, посвященных многообразным вопросам Якутского края и др.

Даже самый простой перечень политических ссыльных, принимавших участие в изучении края, с указанием лет пребывания их в ссылке, мог бы дать представление о том, какие значительные кадры их были вовлечены в краеведческую работу.

Одним из пионеров по изучению Якутского края является И. А. Худяков (1864—1875), сосланный в Верхоянск по Каракозовскому делу. И. А. Худяков в первые же годы своего пребывания там занялся изучением якутского языка и собиранием образцов якутского словесного творчества. Его рукопись, попавшая уже после его трагической смерти (он сошел с ума и умер в иркутской больнице) в Восточно-Сиб. Отдел Русского Географ. Об-ва, была отпечатана в 1890 г. в Иркутске под названием «Верхоянский сборник», в который, на ряду с якутскими сказками, песнями и пословицами, вошли также и русские сказки, записанные в Верхоянском округе.

В последующие годы в научно-исследовательской работе должны быть отмечены: В. Г. Богораз-Тан (1889—1898 г.), Н. А. Виташевский (1883—1898 г.), В. Г. Горинович (1889—1901 г.), В. М. Ионов (1883—1911 г.), В. И. Иохельсон (1888—1897 г.), В. Л. Серошевский (1880—1891 г.), С. Ф. Ковалик (1883—1892 г.), Л. Г. Левенталь (1884—1897 г.), В. В. Ливадин (1887—1901 г.), И. И. Майнов (1887—1896 г.), М. П. Овчинников (1886—1891 г.), Э. К. Пекарский (1881—1895 г.), В. Ф. Трощанский (1887—1898 г.), И. В. Шкловский-Дионео (1887—1892 г.), С. В. Ястремский (1886—1897 г.), Н. Л. Геккер (1891—1896 г.), Ф. Я. Кон (1896—1898 г.), А. В. Стефанович (1891—1895 г.), И. Д. Черский (1891—1892 г.), А. И. Бычков (1893—1896 г.), Г. В. Цыперович (1896—1905 г.), С. И. Мицкевич (1899—1902 г.), М. И. Бруснев (1895—1905 г.), А. С. Белевский (1897—1904 г.), П. В. Оленин (1900—1916 г.), П. Л. Драверт (1906—1909 г.), В. С. Панкратов (1903—1915 г.), В. Е. Попов (1901—1904 г.) и в период предреволюционной ссылки: В. М. Зензинов, Н. Е. Олейников, А. К. Кузнецов, В. Д. Виленский, В. П. Ногин, М. М. Константинов.

В настоящем очерке мы лишены возможности дать сколько-нибудь полную характеристику краеведческих работ даже этого далеко не исчерпанного перечня политических ссыльных, известных своими литературными трудами.

В. Г. Богораз-Тан, помимо своих беллетристических работ, уже отмеченных выше, в результате продолжительного изучения инородцев севера опубликовал, между прочим, следующие материалы: «Отчет об исследовании Чукотско-Колымского края», «Ламуты (из наблюдений в Колымском крае)», «Очерки материального быта олен-

ных чукоч», «Чукотские рисунки», «К психологии шаманства у народов Северо-Восточной Азии».

Целый ряд крупных работ по изучению края принадлежит В. И. Иохельсону, одному из выдающихся исследователей не только Колымского края, но и (впоследствии) Камчатки. В 1898 г. была опубликована большая работа В. И. Иохельсона: «Очерки зверопромышленности и торговли мехами в Колымском округе». Из других чрезвычайно ценных в этнографическом отношении работ В. И. Иохельсона следует отметить: «Бродячие роды тундры между р. Индигиркой и Колымой» («Живая Старина», 1900 г.), «Этнологические проблемы на берегах Тихого океана» («Изв. Р. Г. О.», 1908 г.), «Древние и подземные жилища племен Сев.-Вост. Азии и Сев.-Зап. Америки» («Ежег. Русск. Антропол. Об-ва»), «К вопросу об исчезнувших народностях Колымского округа» («Изв. В. С. О. Р. Г. О.», 1897 г.) и другие.

Двадцатилетним юношей попал в Якутскую обл. В. Л. Серошевский.

«Мы никогда не ожидали,—говорит о нем в своих воспоминаниях С. Е. Лион (и, вероятно, сам Серошевский также),—что из него, простого рабочего, самоучки в области образования и литературы, выработается вскоре такой талантливый и плодовитый художник, выдающийся литератор, беллетрист и бытописатель Якутского края, его своеобразной, порой величественной природы, его незатейливых, полудиких обитателей».

В. Л. Серошевский появился в Якутском крае в 1880 г.; два года спустя были напечатаны его «Путевые заметки»; в последующие годы статьи Серошевского начали появляться в «Русском Богатстве», «Живой Старине», «Изв. Вост.-Сиб. Отд. Р. Г. О.». Из его работ, относящихся к этому времени, следует отметить: «Якутская свадьба», «Сообщение о брачном союзе якутов», «Как и во что веруют якуты», «Якутские песни и певцы».

Но самым выдающимся произведением В. Л. Серошевского является его труд «Якуты» (Опыт этнографического исследования), изданный уже по окончании им ссылки (1896 г.). «Якуты», несмотря на некоторые спорные положения, представляют собою классический, единственный своего рода труд, наиболее полно и широко охватывающий природу и жизнь Якутского края. Книга содержит 719 страниц, 168 рисунков и карту Якутской обл. Своим содержанием работа В. Л. Серошевского охватывает следующую группу вопросов: география края, климат, о южном происхождении якутов, расселение, физические особенности племен, экономические особенности быта, пища, платье, постройки, ремесла и искусство, распределение богатства, условия труда и найма, родовой строй, брак и любовь, народное словесное творчество и, наконец, верования.

Двенадцатилетнее пребывание в крае, прекрасное знание языка и, в заключение, брачный союз с якуткой дали основание В. Л. Се-

рошевскому выработать из себя одного из крупнейших исследователей местного края.

Выдающееся место в области изучения Якутского края принадлежит затем Э. К. Пекарскому. Прибывши в край 22—23-летним юношей, он не только в течение всего времени ссылки (14 лет), но и до последнего времени специализировался по вопросам якутоведения. Совершенно исключительной заслугой Э. К. Пекарского является составление им якутско-русского словаря.

Но Пекарский не был только специалистом в области языка. Его перу принадлежит громадное количество работ, печатавшихся в сибирских изданиях, «Живой Старине», «Известиях Академии Наук» и др. Насколько универсален Э. К. Пекарский в вопросах якутоведения, можно видеть из перечня некоторых его работ: «К вопросу об об'якучивании русских» (1908 г.), «Библиография якутской сказки» (1912), «Земельный вопрос у якутов» (1908 г.), «Оседлое или кочевое племя якуты?» (1909 г.), «Из области имущественных прав якутов» (1910 г.), «Об организации суда у якутов» (1907 г.), «Образцы народной литературы у якутов» (1907—1913 г.), «Из преданий о жизни якутов до встречи их с русскими» (1909 г.) и мн. др.

Крупный след в исследовании местного края оставил И. И. Майнов. Из его литературных работ, печатавшихся как во время пребывания в ссылке, так и по окончании ее, следует отметить: «Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области» (1912 г.), «Общественный и хозяйственный быт якутов Олекминского округа» (1911 г.), «Некоторые данные о тунгусах Якутского края» (1898 г.), «Помесь русских с якутами» (1900 г.), «Заметки о народном образовании в Якутской области» (1897 г.).

Одним из крупнейших знатоков Якутского края являлся затем В. М. Ионов, отбывавший здесь ссылку на поселение (после каторжных работ) и остававшийся в крае до 1911 г. Начиная с 90-х годов, В. М. Ионов занимался изучением верований и быта якутов, исследовал экономическое положение тунгусов, состоял в 1908—1909 г. фактическим редактором местных газет—«Як. Край», «Як. Жизнь» и «Як. Мысль», издававшихся почти исключительно при участии политических ссыльных. Перу В. М. Ионова принадлежит статья о скотоводстве якутов («Пам. кн. за 1896 г.»), работы: «Поездка к майским тунгусам» (1904 г.), «Плащ и бубен якутского шамана» (1911 г.), «Орел в воззрениях якутов» (1913 г.), «Обзор литературы по верованиям якутов» (1914 г.), «К вопросу об изучении дохристианских верований у якутов» (1918 г.).

Кроме того, В. М. Ионов принимал участие в составлении совместно с Э. К. Пекарским словаря якутского языка, а также составил якутский букварь, изданный в Якутске в 1917 г.

Работы политических ссыльных затрагивали, как видим, самые разнообразные стороны жизни инородцев и внешние условия Якутского края.

Помимо отмеченных уже выше авторов, нельзя обойти молчанием целый ряд других исследователей из поколения старой же политической ссылки (до 1905 г.).

В области изучения верований якутов заслуживают серьезного внимания труды В. Ф. Трощанского («Эволюция черной веры у якутов», «Опыт систематической программы для собирания сведений о дохристианских верованиях якутов»), Н. А. Виташевского («Материалы по изучению шаманства у якутов», «Верования первобытного человека», «Из наблюдений над якутскими шаманскими действиями»), М. П. Овчинникова («Из якутских поверий», «Обряд Аргы у якутов», «Исчезнувшая форма погребения»).

Вопросы права, семьи и рода освещены с достаточной полнотой Н. А. Виташевским («Фактические отношения в среде якутской родовой общины», «Особый вид обязательств в первобытном праве», «Якутские материалы для разработки вопросов эмбриологии права», «Брак и родство у якутов»), В. Ф. Трощанским («Якуты в их домашней обстановке»), М. П. Овчинниковым («К истории третейского суда у якутов»), В. С. Ефремовым («Якутский род»).

По языкознанию, кроме отмеченных уже работ Э. К. Пекарского и В. М. Ионова, были опубликованы труды С. В. Ястремского: «Грамматика якутского языка», «Падежные суффиксы в якутском языке».

Значительное количество исследований относится и к вопросам экономики. Здесь заслуживают внимания работы А. С. Белевского («Аграрный вопрос в Якутской области»), А. И. Бычкова («Очерки Якутской области»), Н. А. Виташевского («О мерах упорядочения землепользования населения Якутской обл.»), В. И. Иохельсона («Заметки о развитии земледелия в Якутской обл.»), С. Ковалика («Верхоянские якуты и их экономическое положение»), Л. Г. Левенталя («Подати, повинности и земля у якутов»), В. Ф. Трощанского («Земледелие и землепользование у якутов»), В. Гориновича («К рыбному и пушному промыслу»), П. И. Войнаральского («Приполярное земледелие»), Ф. Я. Кона («О промыслах и занятиях жителей Колымского окр.»), Н. А. Виташевского («Основные правила распределения земли у якутов Дюпсюнского улуса Якутского округа»).

Беглый и далеко не полный перечень указанных работ чрезвычайно наглядно показывает, что политическая ссылка проделала действительно огромную работу по изучению местного края и что накопленные ею знания и по окончании ссылки использованы были в этом же направлении.

Крупные результаты работ старой политической ссылки (до 1905 г.) в области краеведения находят свое об'яснение прежде всего в том, что старая политическая ссылка была по преимуществу ссылкой интеллигентской, которая по своему развитию, естественно, должна была занять соответствующее место в деле изучения

местного края. Последнее тем более понятно, что по какому-либо иному руслу деятельности политическая ссылка не могла, да не всегда и хотела, направить свою энергию в силу полицейских и иных условий. Вся эта работа почти преемственно продолжалась в течение почти 25-летнего периода.

Новая политическая ссылка (после 1905 г. и до 1917 г.) не располагала столь длительным периодом для своей исследовательской работы. Самое же главное—основной контингент политических ссыльных после 1905 г. принадлежал к совершенно иному социальному слою—к слою рабочих и крестьян, как подавляющему кадру массового революционного движения. Политическая ссылка периода 1906—1907 г. была к тому же невелика и после революционного шквала 1905 г. чувствовала себя временным гостем Якутского края. При таком положении местная культурная работа, «малые дела» не могли привлечь внимание даже ссыльной интеллигенции, которая при иных условиях, в иной политической обстановке могла бы окунуться с головой в местное культурничество.

Правда, и в этот период мы замечаем элементы краеведческого уклона в работе ссыльных,—элементы, которые значительно усилились в последующие годы (1910—1917 г.г.), когда политическая реакция приковала к Северному краю, казалось, надолго возросшие в эти годы кадры политических ссыльных.

Краеведческая работа политических ссыльных в предреволюционное десятилетие связана с именами П. Л. Драверта, В. С. Панкратова, Н. Е. Олейникова, А. К. Кузнецова, В. Д. Виленского-Сибирякова, В. М. Зензинова, В. П. Ногина, М. М. Константинова и др.

П. Л. Драверт—не только поэт, в произведениях которого нашел глубокое отражение Якутский край. В 1907 г. П. Л. Драверт принимает активное участие, по заданию областного статистического комитета, в исследовании Кемпендяйских соляных источников. В результате этого исследования, в 1908 г. выходит из печати его работа «Экспедиция на Сунторский соленосный район».

В 1912 г. П. Л. Драверт выпускает из печати в Казани свою работу «Материалы к этнографии и географии Якутской области». Уже по окончании ссылки П. Л. Драверт (в 1916 г.) принимает участие в геологических изысканиях на Вилюе, производившихся по заданиям геологического комитета.

С многочисленными редакционными начинаниями в Якутске за время с 1907 г. по 1916 г. тесно связано имя Н. Е. Олейникова; он—автор многочисленных корреспонденций, появлявшихся в сибирской прессе, основатель первого в Якутске журнала «Ленские Волны».

В «Сиб. Архиве», «Ленских Волнах» и др. изданиях им были напечатаны, между прочим, следующие работы: «Библиографический указатель текущей литературы об Якутской обл.», «О народ-

ном здравии в Якутской обл.», «Из области народной медицины» и проч.

Из отдельных работ, принадлежавших перу Н. Е. Олейникова, следует отметить: «Устьянские рассказы» (1914 г.), «Якутские рассказы» (1916 г.).

Весьма заметная роль в изучении Якутского края принадлежит В. Д. Виленскому-Сибирякову, остававшемуся в крае до 1917 г. Помимо напечатания многочисленных статей в местной прессе, он глубоко изучил малообследованные кустарные промыслы края. О кустарных промыслах им издана специальная работа (на основании анкетных данных), написан ряд интересных статей в журнале «Якутское Хозяйство» («Роговые изделия якутов», «Кузнечное дело», «Якутское ремесло и его задачи»). В журнале «Сибирский Архив» (1914, 1915 г.г.) им напечатаны статьи: «Архивы Якутска», «Памятные книжки Якутской области» (историко-библиографический очерк). В 1923 г. в издании Якутск. обл. продов. комитета вышла работа В. Д. Виленского—«Хлебная монополия в условиях Якутского края».

Перу В. М. Зензинова, отбывавшего ссылку на крайнем севере, в Русском Устье, принадлежит ряд чрезвычайно ценных работ.

В «Этнографическом Обозрении» за 1913 г. им помещен обзор «Русское Устье, Якутской обл., Верхоянского уезда», дающий богатый материал по этнографии и экономике этого отдаленного пункта области, куда до того времени судьба не забрасывала даже политических ссыльных. Работа эта снабжена 62 хорошо выполненными иллюстрациями.

В 1915 г. в журнале «Современник» появилась другая его работа—«Якутские будни» (очерк из жизни в Аллаихе).

Незадолго до революции (1916 г.) отдельным изданием в Москве вышел труд В. М. Зензинова «Очерки торговли на севере Якутской области».

Из работ, освещающих жизнь отдаленных пунктов Якутского края в предреволюционный период, особенного внимания заслуживает книга покойного В. П. Ногина «На полюсе холода», написанная им в результате пребывания с 1912 г. в г. Верхоянске.

В. П. Ногин дает в своей работе общие сведения о Верхоянске, описывает природу края, полярную ночь, северные сияния, рисует жизнь якутов, старожилов и ссыльных. По своему содержанию книга В. П. Ногина столь же разнообразна и интересна, как и работа Г. Цыперовича «За полярным кругом» (10 лет ссылки в Колымске).

В 1913 г. Якутским отделом Об-ва Изучения Сибири была издана книга В. И. Николаева «Якутский край и его исследователи».

Из других работ политических ссыльных следует отметить труд М. М. Константинова «Пушной промысел и пушная торговля в Якутском крае», изданный в Иркутске (уже в 1921 г.). Перу М. Кон-

стантинова принадлежит ряд статей в местной прессе; в частности— интересная статья «К инородческому вопросу», напечатанная в журнале «Ленские Волны» (1916 г.).

IV.

Характеристика краеведческой работы политических ссыльных Якутского края была бы далеко не полной, если бы мы не остановились на их роли по укреплению местных научных учреждений, в особенности областного музея, и участия в экспедиционных исследованиях края.

Еще в 80-х и 90-х годах заведывание музеем лежало на политическом ссыльном В. Зубрилове, затем на Оскальском, но выдающаяся в этом отношении роль принадлежала А. К. Кузнецову, который в 1910—1912 г.г., по переходе музея в специально выстроенное помещение, с колоссальной энергией и любовью поставил музей на должную высоту, как центральное краеведческое учреждение края. В значительной своей части музей пополнялся экспонатами и коллекциями, в доставлении которых политическая ссылка принимала крупное участие.

Многочисленные экспедиции по изучению Якутского края, как общее правило, проходили или при участии политических ссыльных, или организовывались по их же инициативе.

В конце 80-х годов В. Зубрилов, по заданию геолога, проф. Мушкетова, сделал геологическую экскурсию по Якутскому округу, собрал значительный геологический и палеонтологический материал.

Наиболее широкое и активное участие политическая ссылка приняла в этнографической экспедиции 1894—96 г.г., организованной Восточно-Сиб. Отд. Русского Географического Общества на средства, пожертвованные И. М. Сибиряковым. В этой большой Сибиряковской экспедиции, возглавлявшейся также бывш. полит. ссыльным Д. А. Клеменцем, приняли участие ссыльные: Н. А. Виташевский, В. И. Иохельсон, Л. Г. Левенталь, И. И. Майнов, Э. К. Пекарский, В. Г. Богораз, Н. Л. Геккер, В. Г. Горинович, В. М. Ионов, С. Ф. Ковалик, В. В. Ливадин, Г. Ф. Осмоловский, С. В. Ястремский. Участниками экспедиции собраны были обширные материалы, которые в обработанном виде должны были составить 13 томов. К сожалению, большая часть трудов Сибиряковской экспедиции не опубликована до настоящего времени.

В Русско-Полярной экспедиции А. Э. Толля (1900—1902 г.г.) принимали участие ссыльные М. И. Бруснев, В. Н. Катин-Ярцев. Последним были опубликованы в «Мире Божьем» за 1904 г. записки участника русской полярной экспедиции «На крайний север».

Выше мы уже упоминали об экспедиции В. Г. Богораза и В. И. Иохельсона, снаряженной в 1900—1902 г.г. на средства Американского музея естественных наук. В течение 14 месяцев участ-

ники экспедиции об'ехали северную часть Камчатки, Гижигинский и Анадырский край, Чукотскую землю, побывали на о. Св. Лаврентия, в Беринговом море, сделав до 5.000 верст на собаках, оленях и в лодке. В. Г. Богоразом собраны были по антропологии измерительные данные над 800 особей чукоч, коряков и эскимосов, добыто несколько скелетов и более 50 черепов, образцы волос, сделано до 50 бюстов и масок с живых особей и снято несколько сот фотографий. По этнографии собраны обстоятельные данные по языку, дающие возможность составить сравнительную грамматику трех языков и их словарь; записано около 50 фонограмм, собраны значительные материалы по фольклору, быту, верованиям и обширные коллекции костюмов, орудий, оружия, украшений и проч., в том числе много ставших теперь редкими каменных и костяных орудий, образцов резьбы и проч.

В экспедиции лейт. А. В. Колчака, снаряженной в 1903 г. Академией Наук в поисках А. Э. Толля, участвовали П. В. Оленин (остров Котельный, юго-восточн. берег) и М. И. Бруснев (о-в Новая Сибирь). Эта экспедиция, установившая гибель А. Э. Толля, собрала много научных материалов о строении Ново-Сибирских островов, произвела ценные картографические исправления и доказала отсутствие каких-либо земель к северу от острова Котельного. В 1904 г. в «Известиях Академии Наук» М. И. Бруснев опубликовал «Отчет об экспедиции на Ново-Сибирские острова для оказания помощи барону Толлю».

Нелькано-Аянская экспедиция В. Е. Попова (1903 г.) состояла исключительно из политических ссыльных. В ней, кроме гражд. инж. В. Е. Попова, также б. полит. ссыльного, приняли участие: А. А. Ховрин, И. М. Щеголев, П. Ф. Теплов, В. С. Панкратов, В. М. Ионов и Э. К. Пекарский. Эта экспедиция ставила своей целью изыскание нового удобного пути между Аянским портом и урочищем Нельканом на р. Мае, а также геодезическое исследование этого пути. Кроме того, экспедиция приняла на себя добровольно труд по изучению Аянского края: собирание ботанических, зоологических, геологических коллекций и других научных материалов. Результаты Нелькано-Аянской экспедиции были освещены в работе И. Щеголева: «Через становой хребет. Изыскание Нелькано-Аянского тракта» («Землеведение», 1906 г.), а также в трудах Э. К. Пекарского («Поездка к приаянским тунгусам») и В. М. Ионова («Поездка к майским тунгусам»).

Экспедиция А. С. Бутурлина в Колымский край (1905 г.) для обследования края в продовольственном отношении не обошлась также без содействия и участия политического ссыльного. А. С. Бутурлин привлек к экспедиции адм. ссыльного К. Ф. Рожновского, поручив ему работать в области реки Алазей, которая была настолько неизвестна, что даже местный исправник, прослуживший в этих местах 27 лет, ее ни разу не посетил.

Из отчета К. Ф. Рожновского, напечатанного в 1907 г. в приложении к общему отчету А. С. Бутурлина, видно, что работа К. Ф. Рожновского состояла: в собирании материалов для выяснения экономического, в частности, продовольственного положения населения; в разведке Алазей, как пути сообщения вдоль долины; а равно разведки старого торгового пути поперек ее с Булуна на Лене на Колыму; и, наконец, в собирании всех других материалов для всестороннего ознакомления с краем.

В этом же (1905) году полит. ссыльными П. В. Олениным и Н. А. Столыпиным была организована на средства Русского Географического Об-ва поездка в Верхоянский округ с целью изучения Верхоянского хребта преимущественно в геологическом отношении и для сбора этнографического материала.

Выше мы уже отмечали об исследовании П. Л. Дравертом (1907 г.) Кемпендяйских соляных источников. Экспедиция эта была осуществлена П. Л. Дравертом совместно с б. политическ. ссыльным П. В. Олениным. В отчете, представленном П. Л. Дравертом Якутскому статистическому комитету, описаны: урочище Кысыл-Тус, по р. Кемпендяй, как месторождение каменной соли и гипса, Кемпендяйские соляные источники, озеро Тус-Кель, озеро Эскулапа, Намана, и приложен ценный список минералов, встреченных на пути экспедиции, с указанием мест их нахождения. Минералогическая коллекция, состоящая из 353 номеров, передана Якутскому областному музею.

В 1908 г. полит. ссыльный В. С. Панкратов принял участие в Якутско-Зейской экспедиции переселенческого управления, в задачу которой входили рекогносцировочные работы для проектировавшегося Якутско-Зейского пути.

В последующие годы, когда некоторые из политических ссыльных уже оставили пределы «отдаленных мест», они все же возвращались в край для участия в экспедиционных исследованиях; так, П. В. Оленин, правда, давно уже окончивший ссылку, принимал участие в Якутско-Амурских изысканиях переселенческого управления (1912 г.), в Шанторской экспедиции О. В. Маркграфа (1911 г.); П. Л. Драверт—в Вилюйской экспедиции геологического комитета (1911 г.), В. С. Панкратов—в экспедициях геологического комитета (1912, 1913 г.г.).

Наконец, бывш. политич. ссыльные Якутского края Э. К. Пекарский, И. И. Майнов и др. приняли непосредственное участие в разработке плана Большой Академической экспедиции.

Научно-исследовательская работа политических ссыльных Якутского края не ограничивалась, однако, литературной деятельностью, участием в экспедициях и содействием работе статистического комитета и областного музея. На протяжении многих десятилетий политическая ссылка вела метеорологические наблюдения; ей,

главным образом, наука обязана ценнейшими данными по климатологии полярного края.

Известный исследователь северо-восточной Сибири барон Г. Майдель, посетивший еще в 1869 г. Верхоянск, следующими словами охарактеризовал работу в этом направлении И. А. Худякова:

«К счастью, мне удалось найти в Верхоянске лицо, которое с большой готовностью вызвалось производить не только термометрические, но и барометрические наблюдения. Это был государственный преступник, замешанный в Каракозовском покушении и сосланный сюда на поселение... Труды Худякова имеют необыкновенно важное значение, так как только на основании их академик Вильд мог вычислить температуру Верхоянска» («Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868—1870 г.г.», стр. 43—44).

В Верхоянске же—М. И. Абрамович, С. А. Басов, Иваницкий, по предложению Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории, приняли на себя труд производить ежечасные метеорологические наблюдения во время полярной экспедиции барона Толля; эта работа продолжалась почти три года без перерыва. Здесь же впоследствии производили метеорологические наблюдения: К. Ф. Рожновский, А. В. Гумилевский и С. К. Дроздов; в Вилюйске—Белицкий, Кунцов, Мартынов, Теплов, Сорокин, Фридман; в Сунтаре (р. Вилюй)—М. А. Ромась; в Олекминске—Д. Механошин; в Нижне-Колымске—И. С. Распутин; в Колымском крае—В. А. Данилов, С. С. Павлинский, Т. М. Акимова, Г. Цыперович, В. Дзержановский, М. Вольфсон, И. А. Будилович, М. И. Бойков; в Устьянске—Н. Белов, А. К. Загайный; наконец, в самом Якутске—А. К. Кузнецов, М. И. Губельман (Ем. Ярославский) и Д. Н. Клингоф.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, но он дает, несомненно, полное представление о том, сколько усилий и энергии политической ссылкой было вложено в изучение климатологии и физических особенностей Якутского края.

В тяжелых и чрезвычайно ненормальных условиях на протяжении многих десятилетий протекала краеведческая работа якутской политической ссылки.

Непрерывная опека со стороны центральной и местной администрации, стеснения в области передвижения, отсутствие соответствующей литературы и необходимых пособий, невозможность установления длительной и регулярной связи с учеными учреждениями, заинтересованными в разработке краевых проблем, и, наконец, вынужденное пребывание в крае, побуждавшее политических ссыльных рассматривать себя в качестве временных пришельцев,—все это, взятое вместе, не давало возможности строить планомерную краеведческую работу.

Вместе с этим необходимо отметить, что лишь в небольшой части политические ссыльные-краеведы являлись вполне подготовленными специалистами для научного исследования тех или иных сторон жизни далекого, мало изученного до них края. Как общее правило, большинство политических ссыльных состояло из молодежи, без надлежащей научной подготовки, горевшей лишь желанием использовать свой досуг для пополнения образования и проведения такой работы, которая могла бы дать отдушину для молодой энергии.

И несмотря на это, исследовательская работа политической ссылки оставила после себя крупнейший исторический след, охватив собою изучение естественно-исторических условий края, быта, нравов, верований, экономики и путей сообщения.

Накапливая опыт, переходя от простейших форм научного исследования к более сложным, политическая ссылка создала для Якутского края богатую местную литературу и добилась достижений, представляющих собою крупную научную ценность.

В этом отношении чрезвычайно характерно, что политические ссыльные, исследователи местного края, не отмели от себя опыта, полученного в ссылке, и по окончании последней: многие из них возвращались сюда не раз для продолжения научных исследований, публиковали свои труды уже по окончании ссылки, продолжали поддерживать постоянную связь как с местными учреждениями, так и лицами, работавшими в области изучения края.

Исторический след, оставленный политической ссылкой по изучению Якутского края, не остался заметенным. Местная инородческая интеллигенция и все работники, занятые восстановлением производительных сил Якутской республики, не могут пройти мимо наследства, оставленного политической ссылкой.

Развитие производительных сил Якутии, изживание темных и позорных страниц истории, запечатленных самодержавием и хищничеством торгового капитала, неразрывно связано с изучением многообразных сторон жизни края. Изучить же край, оценить его природные и экономические условия, вскрыть колоссальные возможности, заложенные в этом крае, совершенно невозможно без тщательного изучения и оценки работы политических ссыльных в области краеведения.

Автономная Якутия пробуждается в настоящее время к новой хозяйственной и культурной жизни. Ее производительные силы, скованные на протяжении долгих десятилетий, находят свой выход в установлении тесных хозяйственных связей с центром, который ныне не рассматривает край в качестве только источника по выкачиванию сырья и других природных богатств.

Соединение Якутского края с Амурской железно-дорожной магистралью, разработка золоторождений на Алдане, укрепление торговых связей Колымского края через Берингов пролив, что

на протяжении долгих лет будировалось политической ссылкой, как средство развития производительных сил Якутского края,— все это не только стоит ныне на очереди, но и уже осуществляется в качестве ударной задачи сегодняшнего дня.

В современных достижениях Якутского края, в постановке к разрешению новых задач, основанных на изучении местного края, немалая доля заслуг относится к политической ссылке.

Глубокий исторический след, оставленный политической ссылкой в области изучения Якутского края, будет, несомненно, продолжен новым, свободным уже поколением, поставленным ныне в совершенно иные условия работы, при наличии всесторонней поддержки со стороны государственных и научных учреждений.

Дм. Яковлев.

От каторги к ссылке.

Окончание срока каторги.

Дни тянутся бесконечно долго. Из оставшихся тридцати дней месяца аккуратно вычеркиваю каждые прожитые сутки. Нервы напряжены до невозможности. Не верится, что через несколько дней покинешь эти стены, на которых за долгие годы изучена каждая трещина. Кажется, вот-вот что-нибудь случится, и опять будешь привязан к этому страшному месту, имя которому—каторга. Сидящие товарищи понимают настроение уходящего и стараются особенно не надоедать. В свою очередь уходящий отлично понимает настроение остающихся, из которых некоторые имеют по 20 лет и вечную каторгу. Целый ряд лет, проведенных вместе, сродняют друг с другом, мелкие недоразумения забыты, остается хорошее товарищеское чувство.

Мысли текут. Быть может, со многими вижусь в последний раз. Вот—«вечник» Марьянов, хоть и худой, как щепка, а своего дня дождется. Он старается не замечать каторги, он весь ушел в математику, в «бесконечно малые величины», дифференциалы, интегралы. Вначале знал лишь простую арифметику, а через несколько лет усидчивых занятий, пользуясь обломком карандаша и грифельной доски, подошел к высшей математике. Воронин—хоть и здоровяк, но буйный—нарвется на пулю тюремщика. Перебираю каждого из 17 товарищей, стараясь предугадать его будущее. Зачем я это делаю? Подло: ты, вот, идешь на свободу, а они остаются здесь!

Пытаюсь занять мысли книгой,—строчки вижу, но мысли бродят вне. Начинаю ходить по камере, шагами измерять давно известное расстояние от стенки до стенки, считаю до тысячи, но... поверки все еще нет!

Фу, чорт! когда впереди были годы, о сроке не думал...

Наступил последний день, который я заранее вычеркиваю, еще накануне. Оказалось, что последние часы длиннее дней, недель, месяцев.

Наконец, слышу слова: «выходи!» Прощание—рукопожатия, поцелуи, напутствия, напоминания не забыть просимого. Надзиратель,

всегда бывший зверем, не торопит: повидимому, размякает при виде картины прощания и как бы в последний раз старается пред уходящим загладить свои вины.

Всего несколько минут тому назад не знал, как бы скорее отсюда вырваться, а сейчас больно расставаться с товарищами, с привычной койкой из толстой парусины, с длинным столом, знакомыми стенами, асфальтовым полом, который натирал до блеска зеркала.

— Знаете, как-то стыдно покидать вас!

— Это понятно, а поменяться с кем-нибудь, пожалуй, не захочешь?

Я промолчал.

— Ничего, мы своего дождемся и уйдем отсюда с музыкой!

Страж понял намек и принял грозный вид, бросив: «довольно!»

Захлопнулась дверь, звякнул замок. Прошлое осталось там. Начинается новое...

Идем в контору, где собралось уже несколько уголовных, тоже окончивших срок каторги. Началась приемка конвойными, с надоедливым опросом имени, отчества, фамилии, имеющихся казенных вещей и т. д. Процедура кончилась. Грузно отворились кованные железом ворота и с грохотом быстро закрылись. Все вышли, окруженные тесным кольцом конвойных с обнаженными шашками.

Мы—на свободе. Выравниваются ряды, каким-то другим звоном звенят подтягиваемые ножные кандалы, оставшиеся у некоторых.

Идем быстрым шагом. Свобода! Так ли это? Да, сегодня 5 августа 1915 года—твой день. Мысли текут уже в ином направлении. По улицам снуют прохожие, вглядываясь в утомленные лица каторжан. Попадаются извозчики, мальчишки, пронзительно выкрикивающие новости из сегодняшних телеграмм, старушка, пытающаяся перейти улицу, кидающая нам слово «болезные», разносчики с лотками на головах. Да, это другое, счастливое, куда-то спешащее, это—сама жизнь. Кажется, что все радуются, как и ты, твоему освобождению. Проходит озлобление. На душе радость. Все рисуется в каком-то ином освещении. И солнце блестит как-то по-другому, и дома какие-то нарядные, и люди другие, добрые. Кажется, что даже пролетевшая стая галок и спугнутые воробьи с дороги принимают участие в общей радости.

Этап.

Приподнятое настроение немного понижается, когда через несколько часов нас загоняют в темный подвал губернской тюрьмы. Но и первый пересыльный этап, где пришлось пробыть одну ночь, не изгладил впечатлений прожитого дня.

Второй день. Опять перекличка и приемка новым конвоем. Двинулись в путь, идущий на вокзал, бойкой улицей. Конвойные кричат на публику, которая, глядя на нас, скопляется группами

в 3—5 человек, и особенно шумят на тех, кто пытается перейти улицу впереди партии.

Арестантский вагон. Долго стоим на месте. Двинулись. Мелькают луга и поля. Копошатся люди. Хочется смотреть, не отрываясь от окна, но любоваться всем этим можно только издали—вплотную подойти к окну, хотя и с решеткой, конвойные не разрешают.

Показался Курск.

Опять—двор тюрьмы. Нас окружает конвой. О курском конвое, как и о всяком другом, мы знали, сидя еще в Херсонской каторжной тюрьме. «Звери—не люди»,—таков был о них отзыв. Старались быть начеку и, как говорится, не лезть на рожон. Тем не менее, одного ссыльного только за то, что он подошел к окну, конвой распял кандалами в проходе вагона, изобразив из человека букву «х». Уголовный-ссыльный через некоторое время молил расковать, потом начал кричать,—бесполезно! Варвары наслаждались пыткой:

— Будешь кричать—прибавим.

По окончании пытки человек, как сноп, свалился на пол. Но—возвращаюсь к Курску.

Во дворе тюрьмы. Как долго нет приемки! Все устали. Я стоял возле стены и вздумал о нее немножко опереться. Бац! Потемнело в глазах: удар кулака пришелся мне прямо по шее. Горько, обидно, больно, но что сделаешь! Возмущаться, протестовать?

— За что?—вылетело у меня.

— Поясню, если не понял. Поговори еще у меня!

Может быть, дело кончилось бы и хуже, но в это время раздалась команда «смирно», и нас загнали в контору тюрьмы.

Началась одна из самых возмутительных приемок. Раздели всех до-гола, заставив стоять на асфальтовом полу раздетыми в ожидании своей очереди. Вся эта процедура продолжалась несколько часов. Засматривали всюду, бесстыдно, с определенным издевательством над человеческой личностью. Наконец—кончилось. Загнали в ужасный клоповник. Спать из-за клопов нельзя.

Рано подняли на поверку. Старший надзиратель отобрал из нас десяток для уборки полов, другой десяток—на уборку двора, остальных—на разные другие работы.

Я попал в первый десяток. Выгнали из камеры. В коридоре оказалось несколько солдат, вооруженных винтовками. Сначала не могли понять, для чего это. Но скоро узнали.

— На колени!—раздалась команда.

Два-три человека стали. Остальные изумленными глазами смотрели на своих палачей.

— Что, не исполнять приказания начальства?!

— Становись!

Несколько прикладов было пущено в ход, и все были поставлены на колени. Затем бросили каждому по суконке и, по команде «раз, два, три!», заставили натирать пол.

Подняться было нельзя. И только тогда, когда пол стал, как зеркало, скомандовали встать.

В Курской тюрьме задержались на три дня, где два раза в день занимались натиранием полов, а ночью воевали с клопами.

В Красноярске скопилось на этапном пункте более 300 человек. Здесь пришлось познакомиться с настоящими «иванами», которые в Сибири чувствовали себя гораздо свободнее. Оказалось их человек пять — здоровенных, обросших волосами. Нас, политических, набралось человек 15. Мы держались в стороне, обособленной группой.

«Иваны», окруженные большой толпой слушателей, рассказывали о своей удали из области уголовных дел. Проломленные головы, распоротые животы, потоки денег—так и панизывались в их рассказах.

Затеяли игру в карты, усевшись на полу за печкой; возле каждого из пяти игравших расположились группы почитателей их доблестей.

Дело, повидимому, началось с подтасовки карт. Только посыпалась образцовая ругань, перешедшая вскоре в чудовищную драку. Начали с рукопашной, но вскоре пошли в ход скамейки, чайники, костыли. Так как у каждого «ивана» была своя партия, то получилась почти всеобщая свалка.

Прекратить побоище силами надзирателей оказалось невозможным. Вызвали из охраны солдат. Первый залп был дан в воздух. Публика попадала на пол, но и лежа несколько рассвирепевших продолжали еще возню. Только второй залп прямо в окна водворил тишину. К счастью, никто не оказался задет. Надзиратели, ворвавшиеся после этого в тюремную камеру, пытались, было, произвести избиение. Что им помешало, не знаю. Быть может, приезд какого-то высшего начальства, которое вскоре и появилось на месте происшествия.

Нужно сказать, что у двух «иванов» все же хватило мужества признаться, что дрались они вдвоем, а другие их только разнимали. Сознавшихся взяли в карцер; что было с ними потом— не знаю...

От Херсона до Иркутска шли более месяца.

В Иркутске—ряд огромных деревянных корпусов. В один из них попал я. Народу накопилось в этой огромной камере более 200 человек. Общие нары, несколько параш, возле которых образовывались очереди. Грязь, духота, шум.

Тут же под окнами была устроена свалка, куда и выносилось содержимое параш.

Из отдельных корпусов начались получаться сведения о заболевании тифом; вскоре и из нашего корпуса унесли троих.

В такой обстановке пришлось сидеть около месяца. Несколько дней я чувствовал недомогание и головные боли. Наконец, выкли-

кают фамилии и называют места ссылки. Жду—вот выкликнут меня. Нет! Назначенных водили к врачу для осмотра. Рано утром выкликают еще ряд фамилий, в том числе и мою. Я чувствовал себя совсем плохо, товарищи советовали остаться, но я не захотел. Отобрали одежду из серого арестантского сукна и дали, хотя и новую, но тонкую, из хлопчато-бумажной ткани.

Начались заморозки. Было холодно.

Помню, мы вышли утром. Большой этап, по бокам конвоиры. Собралась значительная группа политических ссыльно-поселенцев и административных. В числе последних находились, следуемые из Ленинграда и Москвы т.т.: Куйбышев, Плетнев, Евдокимов, Судаков, Паня Остренко-Остроухова, Трубачев, Тихомиров, Мишка Соколенок и др.

До первой остановки, Оека, нужно было пройти пешком около 25 вер. После каторги, этапного перехода в течение целого месяца и начинающегося тифа этот переход был для меня чрезвычайно тяжел.

Первые десять верст я еще кое-как шел. Потом начал просить конвойных, ссылаясь на болезнь, взять на подводу. Подводы следовали сзади не совсем загруженными.

— Есть удостоверение о болезни?

Говорю—нет.

— Значит, здоровый, не полагается.

Прошел еще немного, но дальше ноги отказались двигаться. Помню, товарищи просили, возмущались, но все оказалось тщетным. Двое из них, кто не помню, взяли меня под руки и кое-как доставили до Оека.

Я слег. Вызвали фельдшера. Осмотрел, не найдя ничего особенного. Дал каких-то порошков. На утро было немного легче. Товарищи советовали остаться, но мне хотелось итти дальше.

На сей раз были крестьянские подводы-двуколески. С'ежившись в своей несогревающей одежде, проехал еще один перегон. Потом ехал уже, плохо соображая, но хотелось двигаться вперед и доехать до своей Тутуры (Верхоленского уезда), куда я был назначен. Где-то осматривал меня еще раз фельдшер, что-то нашел, но остаться было негде, так как не было больницы. Пришлось ехать до Баяндая (от Иркутска 125 верст). В Баяндае из нашей партии набралось больных уже 5 человек. Нас поместили в отдельную крестьянскую избу. Постелили на пол соломы, на которую мы все и слегли.

Здесь следует упомянуть о тов. Пане Остренко-Остроуховой, которая особенно проявила к нам заботливость, не боясь заразиться тифом, оставаясь все время в нашей избе, подавая нам воду и прочее.

Приехавший через несколько времени фельдшер, смерив температуру (у меня было свыше 40°), нашел у двоих сыпной тиф, у остальных товарищей брюшной.

Дальше ехать было нельзя.

Больница.

Вечером нас отвезли в больницу.

Так как сыпняку придавали большое значение и специального места для двоих заболевших не было, меня и моего товарища поместили в мертвецкую, которая состояла из двух комнат. В первой поместили нас, а во второй покойника. Впачале для нас было совершенно безразлично, кто наш сосед. Потом только, когда стали выздоравливать, появление покойничков немножко было неприятно.

Нужно сказать, что фельдшер, а больше, кажется, никого там и не было, относился к нам очень внимательно. Зато сиделка в первую же ночь сбежала. Еще бы—сыпняк и рядом покойник! Следующий день и ночь провели без всякого постоянного присмотра.

Ночью я бредил, не подпускал к себе товарища, пытавшегося дать мне лекарство, говоря ему, что он меня заразит. Лезли на меня черти, и вообще в голову лезла всякая чушь.

Был такой случай. В моем воображении начинает рисоваться какое-то страшное, совершенное мпою преступление. И вот, мне кажется, в целях искупления будет единственпым исходом— покончить с собой. Но как? В это время топилась печка-голландка. Исход найден! Встаю с намерением броситься в эту печку. С кровати слез, но когда поднялся и сделал движение, грохнулся на пол. Придя в себя, вспомнил, куда я шел. Взобраться на кровать не мог, пришлось пролежать до утра. Утром истопник, зайдя к нам закрыть трубу, увидел лежащего па полу больного. Побежал за фельдшером, и уже вдвоем водворили меня па прежнее место. Сторожу-истопнику было приказано за пами присматривать.

Теперь не верится, как мы смогли выжить. Сыпняк у нас был в очень тяжелой форме, при сильном истощении организма. Повидимому, здесь помогло не столько лекарство, сколько иная обстановка без надзора вечного стража, засматривающего в глазок двери, а главное—страстное желание жить.

Припоминаю: выздоравливая, однажды заглянул в окно, приподнявшись при помощи сторожа больпицы: сосновый бор, свежие пни, уцелевшая трава—все это довело меня до экстаза. Проснулось страстное желание жить. Пользуясь, затем, привязанным к концу кровати полотенцем, так как подняться без помощи его еще не мог, я подтягивал себя, держась за полотенце, долго просиживал, паблюдая за лесом и проходящими.

Казалось страшной нелепостью умереть здесь, па пороге к свободе, оставив позади самое тяжелое. Более или менее развязанные руки искали деятельности, работы по выбору, а не из-под палки; ноги, измерявшие в прошлом каждодневно одно и то же расстояние камеры, искали движения в любом направлении, по дорогам, по лесу, оврагам и полям.

Как-то товарищ, лежащий со мной, говорит:

— Знаешь что, а нет, ведь, никакого смысла умирать, отбоярив по 8 лет!

— Конечно, нет,—отвечаю ему.—Думаю, что теперь-то мы выживем. А вообще, разве есть смысл умирать?

Начался один из бесконечных споров о смысле жизни и смерти, о жертве собой ради идеи и проч.

Появившийся фельдшер, улыбаясь, констатировал выздоровление и снял нас с молочной диэты на обычный стол, о чем мы просили его уже несколько дней.

Я уже писал, что фельдшер был к нам очень внимателен и делал для нас все возможное. Однажды приходит к нам вечером и говорит:

— Был в церкви.

— Молиться ходили?

— Нет,—говорит,—ждал попа.

— Зачем?

— А вот кагору у него выклянчил для больных. Сначала не давал, говорит: чалдоны и без вина выздоровят, все-таки уломал, потому, мол, тифозные. Много вам не дам, а по рюмочке в день вам и вашим товарищам буду давать. Поправляйтесь!

Иногда по вечерам он долго у нас засиживался, сообщал газетные новости.

Покойников к нам больше не посылали, приспособив для них какое-то другое помещение.

Сначала нам казалось, что наш фельдшер из ссыльных. Оказалось, однако—из местных крестьян. Еще когда он был подростком, в их деревню был прислан политический ссыльный, хорошо знавший медицину. Набрав с десяток ребятишек, он стал заниматься с ними грамотой. Захотелось кое-чему научиться и теперешнему фельдшеру. Через три года учебы он усвоил не только уменье читать и писать, но научился делать перевязки, варить пластырь и разбираться в порошках. Когда взяли его в солдаты, он попал в военный госпиталь, устроившись фельдшером. По окончании службы приехал домой, а когда выстроили там больницу, занял в ней настоящее место.

Мой сосед и я поправились, выздоровели от тифа и остальные трое товарищей, но у одного из них был туберкулез, от которого он позднее умер в больнице.

Пролежали немногим больше месяца. Оставаться дольше было неудобно, хотя слабость была еще сильная.

Списавшись за время болезни с родственниками и уцелевшими знакомыми, получили немного денег и необходимую одежду.

По выходе из больницы, в ожидании этапа, разместились у знакомых ссыльных. Я пошел к своему однопроцесснику-каторжанину, проживавшему в Баяндае, Константину Ивановичу Мещерякову, ныне умершему.

До этого Костя часто меня навещал, имея со мной свидание через закрытое окно, через которое мы кое-как и переговаривались, так как в комнату заразных не пускали.

После тюремной камеры маленькая чистая комнатка Кости, с большой полкой книг, показалась мне каким-то чудом.

Прожил у него два дня. За это время купил толстые валенки, так как было уже очень холодно (начало ноября), и приобрел войлок, которым в дороге закутывался, как шалью.

Ехать на санях от этапа к этапу было хорошо, если не считать сильного холода. После туркестанской жары и теплого Херсона я мерз отчаянно.

Триста или четыреста верст от Баяндая до Тутуры проехали сравнительно скоро,—сибирские лошадки гнали во-всю, не считаясь с ухабами и горками.

Возчик указал на выглядывающие домишки Тутуры.

Ссылка.

Вот и она сама, раскинувшись недалеко от реки Лены. Два-три приличных домика, крытые железом, хорошее здание двухклассной школы, церковь.

Под'езжаем к волости. Большое деревянное здание. Входим внутрь. Возчик передает бумаги.

Начинается опрос имени, отчества, фамилии, сколько лет, какие у вас казенные вещи и т. д. Кончили.

— Идите,—говорят мне.

Не понимаю, куда итти.

— Идите же,—вы свободны.

Я обалдел и продолжал стоять на месте, не двигаясь.

Тогда кто-то из встречавших этап товарищей схватил меня за рукав и потащил к двери.

На улице было несколько знакомых лиц по Иркутской тюрьме. Предлагают воспользоваться или их жильем, или имеющейся теплой комнатушкой. Думаю, не буду стеснять других и помещусь отдельно вот в этом доме.

В соседней большой комнате жило несколько товарищей. В доме тепло. Приятно согреваются окоченевшие члены. В углу стоит самовар.

— Слушай, Митяй, а не забыл, как этот блестящий называется, который шипит?

— Нет, не забыл—самовар.

— Ну, а поставить-то, пожалуй, придется мне,—ты, поди, малость отвык заниматься такими деликатными вещами?

— Давай попробую, вспомню!

— Нет, шалишь, самовар распаять, за него потом от хозяйки проходу не будет, усугробит тебя в доску. Ох, и зла же бестия!

— А тебе, что, доставалось уже?

— Подожди, достанется и тебе,—вон погода меняется, а у нее ревматизм,—ну, брат, тогда держись!

— Ну, а все-таки соловья баснями не кормят,—вмешался другой товарищ,—взялся за самовар-то, а он все стоит.

— Видишь, я омуль приготовляю, да и руки у меня пахнут.

Все расхохотались.

Самовар все-таки был поставлен и, вскипев, водружен на большой стол:

Наливал каждый сам для себя.

Просидели до поздней ночи, делясь впечатлениями, вспоминая прошлое.

На другой день зашли Головновские. Пришла Паня, которая меня спасала, Мишка Соколенок и др.

За время моей болезни ссылка уже разместилась по близлежащим от Тутуры деревушкам и сумела организовать общую столовую.

В Тутуре была снята изба, которую и приспособили под столовую. В качестве повара был тов. Тихомиров, отлично справлявшийся с кухней и ведением хозяйства, готовя человек на 30, аккуратно ведя приходо-расходные ведомости всяких мелочей: соли, муки, картошки, капусты и т. д. Его бухгалтерия всегда была «а жур», не отставая на месяцы, не в укор будь сказано теперешним организациям.

За обед платили 20 копеек. Сначала не удавался у него хлеб, малость расползался, но скоро и с этим делом он справился, прослушав несколько лекций у местных чалдонок.

Значительный процент ссыльных составляли административные и меньший—ссыльно-поселенцы и бывшие каторжане. В последних партиях уголовных не было, или, придя, они быстро рассасывались по другим местам. Ссылка нашего района была представлена одной политикой.

Публика в большинстве оказалась бывалая, сидевшая и бывшая в разных отдаленных местах не один раз. Жили дружно и сплоченно. Я не припомню ни одной склоки, чему способствовало и то обстоятельство, что среди товарищей были настоящие партийцы. В это время (период конца 1915 г. и до момента революции 1917 г.) в ссылке находились: т.т. В. Куйбышев, Г. Евдокимов (бежавший в феврале 1916 г.), В. Плетнев, И. Ионов, Судаков. Всего тутурская колония об'единяла более 30 человек.

В смысле политических группировок, большинство было большевики, 2—3 человека меньшевиков, человек 5 с.-р., 1—2 анархиста. В вопросах войны и мира колония на 95% была настроена отрицательно. По профессиям большинство—рабочие-металлисты, ткачи, столяры, несколько служащих, два учителя и т. д.

Несмотря на разнообразие политических группировок, столкновений на этой почве не было. Впоследствии, когда были сорганизо-

ваны лекции по разным обще-политическим вопросам, на них ходили все, независимо от того, кто читает.

Нужно сказать, публика усиленно работала сама над собой. Много читала толстых книг, журналов, газет. На этот счет дело было поставлено образцово—за исключением «Нового Времени» и других черносотенных газет, нам высылались бесплатно Москвой, Ленинградом, Харьковом почти все газеты и журналы.

Последние сначала попадали в столовку, а когда был организован клуб, то передавались туда. Два-три дня журналы оставались на месте, а потом желающие читать на дому на особом листке вписывали свои фамилии, и журнал шел по рукам, задерживаясь определенное количество дней.

Общие собрания колонии созывались довольно часто, где различные наши организации давали отчет о своей деятельности. Председательствовали обычно: т.т. Евдокимов, Куйбышев, Плетнев, Д. Воронков (с.-р., впоследствии в тюрьме казненный Колчаком).

Наше начальство, в лице стражника, находившегося в Тутуре, смотрело па наши начинания сквозь пальцы, лишь бы публика не разбегалась. В отношении «свобод» мы находились в несравненно лучших условиях, чем остальная царская Русь.

Но вот в материальном отношении ссылка была предоставлена самой себе. Административно-ссыльные получали что-то от казны, ссыльно-поселенцы были лишены и этой скромной подачки на жизнь. Кое-кому помогали родственники, знакомые и организации. Этого, конечно, было мало, и в то же время считали неудобным жить на постороннюю помощь. Публика искала работы и бралась за все, что подвертывалось, не брезгуя ничем. Несколько человек занялись учебой ребятишек, собирая группы по 5 и более человек. С одних брали гривенники, других учили бесплатно. Некоторые работали у крестьян в качестве рабочих. Нанимались пилить дрова, подкатывать бревна к лесопилке и т. п.

Я лично начал с очистки помойки у одного местного пароходчика. Взялись мы за это дело втроем: Воронков, Соколов и я. Платили по 20 копеек в сутки на наших харчах. Нужно было долбить ломом и киркой замерзшую массу, что мы и выполнили в течение 3 дней, насадив себе на руки изрядное количество мозолей. Потом с Воронковым и еще тремя товарищами подкатывали бревна па лесопилке, где требовалась эта работа в течение недели.

Потом взялись за окраску парохода. Ни я, ни Воронков никогда в жизни не были малярами. Хотелось заработать—платили по 50 коп. в день. К нашему несчастью, и среди нашей братии никто не был маляром, у кого можно было бы поучиться этому искусству. Красить нужно было масляной краской. Что делать?! Вспомнили, что полит. ссыльно-поселенец Д. И. Глушков умеет рисовать. Пошли к нему. Он добросовестно рассказал нам, как составляются

краски для живописи, как получить нужные цвета, но насчет нашего малярного дела помочь нам не мог. Пришлось пойти за 7 верст в Жигалово и отыскать мало-мальски понимающего в малярных делах человека. Профессионала не нашли, но нашелся товарищ, который когда-то тоже красил пароход. От него мы и позаимствовали все премудрости. Главное, говорил он, нужно показать себя людьми знающими; нужно попробовать пальцем краску, кисти. Так и сделали. Явились к пароходчику спецами. Воронков—мастер, работавший в Харькове 10 лет; я—подмастерье. Дали нам краски, олифы и кисти. Воронков с видом знатока все это пересмотрел, найдя, что кисти малость попстерлись, а краска не высокой марки.

Первые полдня шло не совсем гладко—краска не слушалась нас: расплывалась, текла полосками и разбрызгивалась по палубе, которую тотчас же вытирали паклей, чему нас учил жигаловский товарищ. Затем дело пошло. Явившийся на другой день владелец парохода, повидимому, остался доволен, сказав, что он заплатит нам за полные два дня работы, удивившись только, что много израсходовано материала. Что касается расхода материала, мы сами чувствовали; но для нас непонятно и неожиданно было другое—его обещание заплатить *за два дня* работы. Мы рассчитывали, по крайней мере, *на неделю* работы. Вчера еще мы подсчитали наши полтинники, растянув их на целые 7 дней, и мысленно закупили уже на заработок все необходимое.

Мастер Воронков спрашивает.

— Разве не весь пароход будет краситься: вам не нравится работа?

— Нет, не в этом дело: достаточно обновить одну капитанскую будку. На весь пароход у меня нет краски, а покупать дорого, сойдет и так.

— Ну, и дурные же мы!—говорит Воронков, когда ушел пароходчик.

— Почему?—спрашиваю я.

— Да как же: тебе необходимо было сегодня красить другие части парохода, а я бы возился с этим мостиком. Придя к нам, этот чорт согласился бы тогда окрасить все, увидев, что один бок уже замалеван по белому фону синей краской. Не оставлять же ему было в таком виде!..

Зиму прожили. В смысле жизни «духовной»—это самое благодатное время в ссылке; в материальном отношении—самое скверное. Работы — больше случайные, грошевые. Хотя жизнь сама по себе была там очень дешевая. Имея 7—10 руб. в месяц, можно было жить хорошо. Более или менее постоянные работы на заводской пристани в Жигалове и т. п. удавались для товарищей редко.

Зимой кое-как развлекались. Общественным местом, где собиралась ссылка и местное население, был каток. Из бревен была

устроена ледяная гора, спуск которой шел прямо на реку. Катались кто на чем горазд: на санках, на обледеневшем решете или прямо на доске.

Устраивались спектакли. Но лучше всего удавались наши собственные вечеринки, где преобладающей массой была ссылка и несколько хорошо нам известных лиц из местного населения. На этих вечеринках читались стихи, где особенным успехом пользовался тов. Куйбышев, рассказы (здесь подвизался тов. Плетнев, довольно удачно передававший Чехова) и пр., пели и иногда плясали.

Одна из таких вечеринок, собравшая много народу, была своего рода прощальным дебютом для тов. Куйбышева и, кажется, Евдокимова, которые в ту же ночь благополучно бежали.

Клуб существовал до самого последнего времени, т.-е. до момента революции. В нем велись занятия, устраивались доклады и происходили разного рода собрания. Существовал он на наши отчисления. Пустующих домов в Тутуре было много, и помещение в несколько комнат обходилось нам, кажется, в 5 руб. в месяц.

Тутурская колония издавала свой журнал под названием «Елань». Редактором сначала был Д. И. Глушков (ныне умерший), а потом—И. Ионов. Журнал заполнялся от руки, четким почерком, с соответствующими рисунками пером или акварелью. Сборник по форме и содержанию получался весьма удачным; многое здесь, конечно, зависело от редактора, являвшегося редактором, художником и, так сказать, наборщиком, занимавшимся кропотливой перепиской.

Наступила весна, ссылка разлетелась—кто куда: одни—в погоню за заработком, другие—посмотреть места. Сезон начался с погрузки товаров на баржу. Отправились на Плес (в 2-х верстах от Жигалово) почти всей колонией. Самый разлив реки Лены продолжается недолго—в это время спешат спустить вниз в Бодайбо и др. города наивозможно большее количество товара, так как позже Лена мелеет и затрудняет сплав.

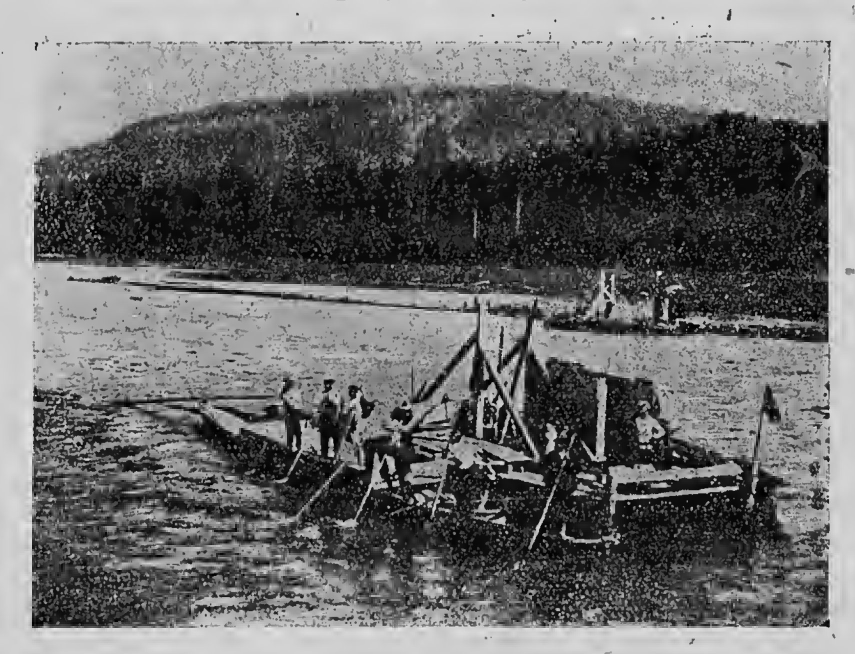
Зарабатывают в эти полторы-две недели хорошо: по 10, а иногда и больше, рублей в день (на погрузке).

Работа начинается рано. Погрузка идет быстро, отставать от товарища нельзя, иначе произойдет заминка в работе. Неудобно, когда попадается большой ящик и приходится с ним итти по доске, соединяющей берег с баржей, каждую минуту рискуя вместе с ним со значительной высоты свалиться в холодную воду. У нас такой случай был. Товарищ, потеряв равновесие, вместе с мешком муки полетел в воду. Парень отделался легко, перепугавшись только за свой мешок, который сразу не утонул, плавая вместе со свалившимся товарищем, и их быстро извлекли на берег.

Погрузочная работа—чрезвычайно тяжелая, требующая сил и сноровки. Трудно было нам, поселенцам, взявшимся за это

дело после отбытия нескольких лет каторги, где нас не особенно баловали пищей. Первый день выбыло из строя сразу несколько человек, на второй день ушли еще, и до конца из старого состава осталось лишь с десяток человек.

Помню первый день. Закончив работу и придя в отведенное нам помещение, мы с жадностью набросились на пищу, словно не ели несколько дней. Тихомирыч, предвидя наш аппетит, удвоил свой обычный порцион, желая накормить нас до отказа. От чая многие отказались. Где уж там чай! Повалились кто на пол, кто на лавки. Охотников пройтись по берегу из-за усталости оказалось мало.



На Лене. Работа ссыльных.

Пол показался мягче пуховой перины: я спал, как убитый, ни разу не повернувшись за всю ночь. Наутро болели руки, ноги, шея и поясница. Следующие дни было немного легче, начали втягиваться.

Я проработал 5 дней. Тянулся во-всю, но решил все же уйти, боясь, что после тифа может кончиться плохо. На мою долю пришлось около 30 руб. заработка, в таком размере давно мною не виданного. Несколько дней спустя, мы с одним из товарищей решили отправиться в Качуг (125 верст от Тутуры), чтобы оттуда плыть на пароходе. Пришли туда на третий день. Нагруженных карбазов и готовых к отплытию не было. 2—3 дня грузили, после чего отправились в путь, нанявшись в качестве гребщиков. Карбаз, вмещающий несколько тысяч пудов груза, устроен весьма примитивно: плоское дно из бревен, законопаченное и засмоленное, такой же

борт из 2—3 бревен. Сзади помещается лоцман с громадным веслом (прочное длинное бревно), впереди 2 весла, тоже довольно основательных, с ручками для 4-х гребщиков на каждое весло.

Лоцман является, так сказать, капитаном парохода, давая все необходимые приказания: «грести», «нажать», одним «левым», «правым» и т. д. В то же время он хорошо должен знать реку (Лену). Когда место глубокое, все идет хорошо, карбаз плывет сам по течению, направляемый лишь лоцманом. Но таких мест между Качугом и Тутурой мало, больше мели, с узким проходом, по которому нужно удачно проскользнуть, не сев на мель. Платят за расстояние, а не по дням.

Первое путешествие по воде было удачно, на мель садились редко, освобождаясь больше при помощи особого завода, доски против течения. Решили попробовать вторично, но на сей раз нарвались, потратив вместо пяти дней целых 10, просидев на мели 2 дня.

Больше я не плавал. Мой товарищ устроился на баржу и поплыл из Жигалова «на низ».

Из многочисленной Тутурской колонии на месте оставалось всего 2—3 человека: Плетнев устроился на пароходе с научной экспедицией, Ионов с 2—3 товарищами примкнул к партии по изысканию пути.

Мне один из качугских товарищей предложил участвовать во всероссийской сел.-хоз. переписи. Я дал согласие, так как меня прельщала возможность побывать в отдаленных деревушках.

Начали с Тутуры. Обычно дело начиналось со сходки, на которой раз'ясняли цели переписи и т. д. Сначала дело шло медленно. Во-первых, крестьяне побаивались, что происходит опись на предмет реквизиции скота, лошадей для целей войны; во-вторых, нужно было научиться ставить вопросы коротко и ясно, с тем, чтобы получить такой же ответ. Пришлось приспособляться к говору населения и тем специальным названиям лошадей, коров и пр., какие у них существовали.

Было так. Задается вопрос:

— Сколько у вас скота?

— Да што, паря, я вот старик 70 лет, мне уж на печке лежать, да бабка такая же, внучонок подросток, мать его прошлым летом богу душу отдала, простудилась, видно, и капут. Эх! какая наша жизнь!

— Да мне не то. Сколько у вас коров, телят?

— Да какие у нас коровы-то!—отвечает старик,—шерсти на ней много, а молока кот наплакал. Тянет, тянет старуха за титьки, а в ведре шиш!

— Ну, а все-таки, сколько у вас таких-то коров?

— Да што, одна была, да и то сгасла, подавилась, видно, картошкой, а другая—возьми ее, только...

С таким стариком, может быть, и приятно побеседовать, но перепись при подобных ответах наверное не кончилась бы до сего времени.

Стали действовать по-другому. Выбирали толкового крестьянина или крестьянку и в присутствии целого десятка лиц задавали ему вопросы, прося других следить за ними и в уме подготовлять свои ответы. В свою очередь, присутствующие сами же помогали опрашиваемому отвечать на вопросы, так как обычно каждый знает о хозяйстве другого. После такого приема удавалось проводить в день 100 и более опросов с соответствующим заполнением карточек.

В общем, на мою долю пришлось деревень 30—40. Нужно сказать, что в редких случаях официальные данные о хозяйстве, имевшиеся в нашем распоряжении, совпадали с фактическими данными.

В некоторых деревнях было исключительное засилье стариков, старух и подростков и ни одного настоящего работоспособного мужчины: война забрала их всех. Случалось, по окончании своей работы, видя, как баба мучается с отбоем косы или с бороной, приходилось превращаться из статистика в работника.

— Да кто ж ты такой, паря, не иркутский, знать?

— Нет, ссыльный, политический.

— Ишь, болезный, то-то я вижу, жалеет нас и по-простому говорит с нами. Поди, чай, мать есть. Тянет к себе-то? У нас-то непривычно. Но ничего, пообтерпится. У нас жить можно. Да и от вас мы плохого не видели,—вон те, как их?...

— Уголовные, что ли?—спрашиваю.

— Да они, боязно с ними, так и смотри, что стянут. Ничего, у нас целей будешь, а там, гляди, на войну взяли бы. Ох! проклятая эта война! Всех людей передушили. Сколько сирот по миру пошло. И когда ее кончат? Изверги проклятые, затеяли!..

Нужно сказать, что больше всего проклятий по адресу войны приходилось слышать со стороны женщин, мужчины были несколько сдержаннее.

— А побьют, паря, наших-то! Народу гоним, а толку все нет. Скоро есть нечего будет, а все воюем. Вон поля-то как поубавились!..

Был у меня и такой случай. Нужно было ехать в селение Келоры. Попасть туда можно было только верхом, перевалив хребет через тайгу верст в 60.

Вместо дороги—тропинка. Кругом сосны и кедры в два обхвата. Тишина. Ни одной человеческой души, лишь кое-где попадаются срубы, сделанные из толстых бревен, служащие для складывания кедровых орехов, заготовляемых осенью. Человек предоставлен самому себе.

Лошадь идет быстрым шагом, иногда навастривая уши, почуяв вблизи зверя. Местами делается жутко, в особенности в оврагах, где легко можно повстречаться с медведем.

Вблизи Келор встретился с тунгусом, весь в оленьей шкуре— шапка, одежда, сапоги. Он чуточку говорил по-русски. Уверил

меня, что я правильно держу путь; распрощались и двинулись каждый своей дорогой.

Келоры—большое село. Есть школа, церковь и общественный амбар. Местное население является потомками тунгусов и какого-то смешанного племени. Их занятие—хлебопашество, охота на белку, медведя, сохатого и рыболовство. Поп здесь не жил, он находился верстах в 70, в другом селе, делая сюда наезды несколько раз в год. За время его отсутствия всех народившихся и умерших он потом крестил и отпевал сразу, целой партией.

Народ здесь весьма суеверный. Мне рассказывали, что обычно, отправляясь на охоту за медведем, в избе перед иконами зажигают свечки. Сначала поются молитвы православному богу, а потом молятся своему, языческому, в надежде, что какой-нибудь из них поможет убить медведя и ускользнуть в минуту опасности из его лап. После молитвы происходит прощание с родственниками, как бы приготовление к смерти. Вот, среди такого населения мне и пришлось произвести перепись. По обычаю устроил сход, народу пришло много. Начал говорить о пашне, лошадях, коровах и т. п. Потом, видя, что это их не особенно интересует, постепенно разошелся, кончив войной, ее бедствиями, действительными виновниками и тем, какая должна быть другая жизнь.

Начало было хорошее, но конец впоследствии принес мне ряд неприятностей. По простоте душевной жители о моем выступлении рассказали потом попу. Тот, в свою очередь, другому...

Закончив перепись, мы однажды собрались в Тутуре для выяснения какой-то детали или получения дополнительных данных. Мимо окон проходит тутурский поп и, увидев ссыльных, говорит:

— Нечего сказать, нашли кого пригласить на перепись!

Сначала не поняли, о чем идет речь.

— Что, вас забыли пригласить, доход отбили?

— Нет не то: с меня доходов хватит, а вон он—указывает на меня—в Келорах как разводил революцию, мутил честной народ, говоря, что не нужно воевать—это другое!

Думаю: дело плохо. Нужно принимать меры. Попы и без того на нас косились, так как учительский персонал, перестав ходить к батюшкам, предпочитал проводить время с политикой. Догоняю попа и спрашиваю, в чем дело. Кто ему это передал? Говорит—келорский батька.

— Так вот что,—отвечаю ему,—если хотите жить спокойно, так не вмешивайтесь в наши дела и сидите смирно. Не ваше это дело, у вас есть церковь и звоните!

Думаю: если не припугну его, дело будет плохо.

— Да я что, я так просто, какое мое дело!..

С келорским попом обошлось тоже благополучно: написал ему письмо, не особенно стесняясь в выражениях. Дело заглохло и не дошло до начальства.

Говоря об окружающем нас населении, нужно сказать, что отношение его к ссылке было весьма приличное. Враждебности определенно мы не чувствовали, и оно относилось к нам с несомненным доверием.

В лавках, где публика делала покупки, сплошь и рядом оказывался кредит, в то же время и у местных крестьян зачастую мы пользовались кредитом на хлеб, молоко и пр.

Правда, содрать иногда с политики лишнюю копейку не считалось за грех. Дело в том, что на ряду с избытком хлеба, мяса и проч. крестьяне в деньгах нуждались, и каждый пятак имел цену, не тратился зря.

В некоторых местах сохранилось исключительное гостеприимство. Приведу опять в пример Келоры.

Однажды с Воронковым—это было зимой—задумали пойти в Келоры пешком, направившись туда по летней дороге. Это чуть не стоило нам жизни,—заблудились и ночевали в тайге. В Келорах же попали на «Николу», который, как известно, является угодником для православных и язычников. Празднуют его там чуть ли не неделю. Зовут в один дом—идем. Стол полный яств: рыба жареная, соленая, сухая; молоко сырое, топленое, мороженое, кислое; сохатина и пр. и пр. Горячие лепешки из серой муки прямо из печки. Лепешка макается прямо в молоко. Во рту одновременно горячо и хрустит лед. Все кушанья нужно обязательно попробовать. Но мы сначала не пробовали, а просто наелись, в чем вскоре раскаялись.

Не успели поблагодарить хозяина, как получаем новое приглашение, и—та же картина. Не прикоснуться до еды неудобно: значит—обидеть хозяев. И так—10 дворов в день! На другой день, обходя наш приход, мы были уже умнее. Прикасались ко всему с расчетом.

Был у нас на глазах и такой случай. Приехал кто-то из другой деревни, захватив для своей лошади овса и сена. Смотрим—старик режет гужи у хомута. Думаем, что с ним: с ума сошел? Остальные хохочут. Оказывается, ехать в гости со своим провиантом для лошади считается нарушением гостеприимства, за что и поплатился гужами один, очевидно, плохо знающий обычаи Келор...

... Была зима 1916 года.

Мне предстояла возможность устроиться в кредитном т-ве, но мысли работали в ином направлении: тянуло в большой город, хотелось перебраться в Иркутск. О легальных путях нечего было и думать. Долго искал приличного паспорта. Наконец, нашел настоящий, не мытый, одного умершего ссыльно-поселенца, который имел все права раз'езжать и жить во всех местностях Сибири.

Самый побег удался очень легко. Собрал кое-какие свои вещи и вместе с председателем одного кооператива, едущим за товаром в город, без особых приключений на почтовых добрался до Иркутска...

С. Сибиряков.

На Лене[1].

Еще работая на квасоваренном заводе Осипа Соломоновича, я был приглашен однажды соседом Антиповым на рыбалку в устье реки Витим.

Улов был неудачен. Антипову все хотелось достать стерлядей да линьков побольше, а назло попадалась мелкая рыбешка: гальяны, хайрузы и тугуны. Последних он считал недостойными внимания и по окончании рыбной ловли отдал мне всю эту мелочь, как мою долю. Себе же взял фунтов 15 щук и налимов. Мелочи было приблизительно столько же. Хайрузы и гальяны я решил в тот же вечер зажарить, а тугунов засолить.

Рыбка мне понравилась. Серебристая, мелкая, красивая, нежная, она легко очищалась от чешуек, внутренностей имела очень мало, нежностью, видом и величиной напоминала европейскую сардинку. Нежное мясо не могло долго лежать, портилось.

Достав две стеклянных банки и перемыв рыбку, я посолил ее, переклал душистым перцем и лавровым листом. Уже на следующий день она была готова к употреблению.

За обедом, на второй день, я угостил ею Осипа Соломоновича и его сына Исая, приехавшего погостить. Они были в восхищении. Она была очень вкусна.

— Где ты ее достал?—спросили они.

— Рыбачил на Еловом, за рекой.

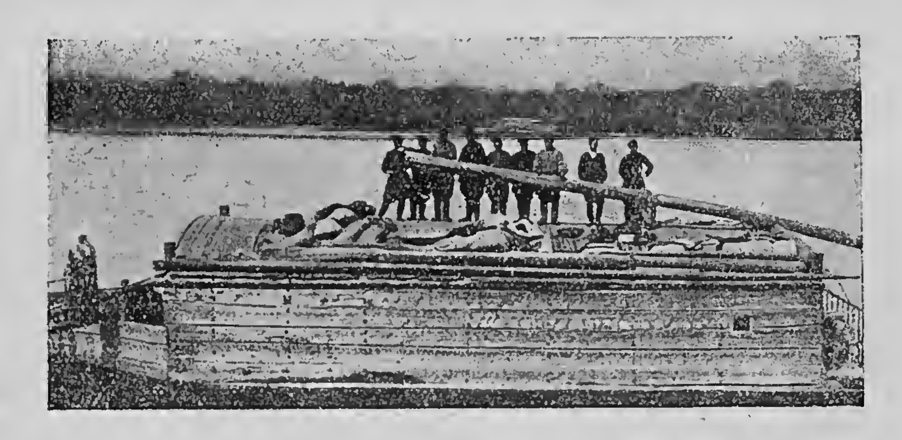
— Исай, непременно собирайся с Семеном в компании и еще кого-нибудь захвати! Наловите ее побольше!

— Ведь, из этой рыбы можно консервы делать, открыть консервную фабрику, Осип Соломонович!—подал я ему идею.—Ведь, по всей линии ни одной консервной фабрики. Только необходимо добывать в большом количестве. Я уже разузнал, что она местами водится в изобилии и ее сушат,—например, в Мухтуе.

[1] Приводим этот характерный отрывок из готовящейся к печати книжки т. С. Сибирякова—«В борьбе за жизнь». Достоинство этой статьи—в ее эпичности. Как на ладони, в ней—действительная сущность отношений между представителем массовой, рабочей ссылки и вольнолюбивым, а главное карманолюбивым, сибирским грюндерством. История с «хозяином и работником» здесь... тихо до жути повторяется!—*Ред.*

— Верно, Семен, идея! Надо об этом подумать.

Вечером у Осипа Соломоновича уже был готовый план. Осип Соломонович был предприимчив и брался за все, лишь бы зашибить деньгу. В Якутске был у него кожевенный завод, при доме—шорная мастерская, где он эксплоатировал труд ссыльных. Ему улыбалось также счастье на золотых приисках, где он на участке, с тремя компаньонами, наткнулся раз на большую жилу золота, но необдуманно продал место за 40.000 рублей. После они сильно каялись, так как золота было много. Держал Осип Соломонович также большую торговлю, но широкий размах и образ жизни поглощали



На Лене.

всю прибыль, и нередко ему приходилось для того, чтобы платить по векселям, обращаться к своим более богатым братьям-золотопромышленникам, и те его выручали.

Когда, после рыбалки, при участии Исая, мы вернулись, раздобыв много тугунов, Осип Соломонович окончательно решил, что надо приняться за разведку, а затем и за осуществление зародившегося у него плана.

— Семен, идем-ка, мы с тобой потолкуем. Шибко ты меня заинтересовал своей рыбкой,—позвал он меня к себе в комнату.

Я зашел.

— Садись! Как ты думаешь, если нам с тобой вместе открыть консервный завод? Ведь, не дурная штука? Прибыльная?

— Зачем же со мной? Вы и без меня можете. У меня, во-первых, денег нет, а во-вторых, это не моя мечта.

— Ты не дурак, а не соображаешь. Твой труд, мой капитал, а дело пополам. Доходец не малый будет. В люди выйдешь. А то, что толку, что ты вечно служить будешь? А мне самому заняться этим делом некогда. Вот и надо его поручить человеку верному и достойному. Сын Исай не способен; кроме того, мне хочется вывести тебя в люди.

Осип Соломонович на несколько минут умолк, пытливо изучая меня близорукими глазами. Последнее свое пожелание—вывести меня в люди—он произнес особенно задушевным тоном, который должен был всецело расположить меня к нему и показать, что он готов для меня все сделать.

— Нет, Осип Соломонович,—попробовал я уклониться,—можно проще сделать. Вы поручите мне это дело и можете быть уверены, что я за ним буду следить и поставлю его на должную высоту, а в фабриканты лезть я не хочу. Я буду работать, и мой труд должен быть оплачен достаточно. Снасти, сети, невода, словом, все оборудование—ваше. Вы совсем не будете работать. А улов—пополам.

— А на что тебе рыба, чудак-человек?

— Это уж мое дело.

— Ведь, я ее сплавлю в Бодайбо на прииски по шикарной цене.

— А я ее, Осип Соломонович, сплавлять совсем не буду, а если вы захотите мою половину, то сможете приобрести ее у меня.

— Ну, там видно будет; пока я тебе об'ясню мой план, а ты подумаешь. Так или иначе, разведку ты произведешь этим же летом. Я выпишу из Каинска невода, они придут в первых числах сентября, а, может быть, и раньше. Ты займешься этим делом. Зимой я буду в Иркутске, там поищу мастеров, законтрактую их на будущее лето, найду жестяников, засольщиков, специалистов по копчению и консервированию. Куплю железа, закажу этикеты для банок. Поставлю коробочную мастерскую; словом, откроем консервную фабрику. Прихвачу также три моторных лодки; одна—специально для тебя. Ты будешь курсировать по всем местам, где будут работать артели, а остальные будут доставлять улов на фабрику, имея на буксире баркасы, чтобы не быть в зависимости от каких-либо пароходных компаний и не стесняться в передвижении. Раз ты будешь компаньоном, я не побоюсь вложить большой капитал. Я уверен, что дело пойдет прекрасно. Я мог бы тебе назначить большое жалованье, но тогда ты не будешь иметь того интереса, и улов будет безусловно меньше...

— Осип Соломонович, мне кажется...

— Ты меня не перебивай! Вот, слушай: когда ты будешь компаньоном, ясно, что ты постараешься всеми силами, чтобы завод процветал, а не только, чтобы он себя оправдал и чтобы ты имел бо̀льшую пользу, по крайней мере в три раза бо̀льшую, чем то жалованье, какое я могу тебе назначить. Ну, как тебе нравится? Ты, ведь, холост, вздумаешь жениться, или мало ли что, ну, поехать домой: ведь, на это деньги требуются большие!..

От компании я все же отказался...

На второй день после этого разговора О. С. заставил сына выписать из Каинска невода. Я взялся произвести разведку, а попутно с разведкой решил наловить и засолить для себя рыбы на зиму.

Я работал все лето на готовых харчах и скопил деньги, надеясь зиму отдохнуть.

Осип Соломонович намекал:

— Ты, Семен, когда вернешься из телеграфной экспедиции, надейся на меня. Для тебя у меня всегда найдется работа.

Возвратившись из экспедиции, я первым делом отправился к Осипу Соломоновичу. Он встретил меня радостно.

— А-а, с приездом, Сеня! Легок на помине: получились невода! Какие хорошие, шибко хорошие! Остается им посадку сделать да грузила прицепить. Готовься, Семен, на рыбалку. На первое время вместе поплывем. Хочу увидеть собственными глазами хоть одну тоню. Потом ты можешь один продолжать.

— Дайте отдохнуть денек, Осип Соломонович!

— Да ты хоть три отдыхай, только приготовь все к отплытию. Не забудь—последний осенний месяц. Там пойдет распутица.

— Ничего, Осип Соломонович, успеем!

Еще по дороге, следуя с ремонтом, я собирал все сведения по деревням, и у меня был запас справок. Теперь они нам пригодились.

Сборы были недолгие. Купили шитик и к нему все приборы. Прежде чем отплыть, Осип Соломонович устроил мне маленький экзамен и вынес после него решение, что я совсем непрактичный человек, но выразил это в мягкой форме, стараясь не обидеть меня и не потерять возможности меня использовать.

— У нас на Лене тебя вымуштруют!

Первый его вопрос был:

— А ты как думаешь производить работу?

— Как все производят, так и я. Не хитрая штука—рыбная ловля.

— Ну, поясни же!

— Возьму несколько человек из деревни на условиях дележки с половины добычи. Мы будем неводить по хорошо им знакомым заводям, не рискуя порвать невода в незнакомых местах. Во-вторых, я таким образом узнаю все курьи, где водится тугун, и буду впоследствии сам хорошо знать всю местность, не нуждаясь в посторонней помощи. Все места, в каких рыба водится в большом количестве, у меня будут отмечены в книжке, и на будущий год можно будет приступить к работе уверенно.

— И ты думаешь много наловить? Каждый крестьянин возьмет с собой бабу да девку; вы будете жарить, часть рыбы с'едите, половину он ночью украдет, а то, что останется... да ничего не останется! Следовательно, у нас будет невелик успех...

— А как по-вашему, Осип Соломонович?

— Это надо обдумать.

— Ну, а если я буду платить им за каждую тоню?

— Какую сумму ты думаешь платить?

Мне был неприятен этот экзамен, но я решил не портить отношений.

— Поденная плата теперь два рубля. Я буду платить два рубля за тоню. Утром и вечером будет шесть тонь, таким образом, крестьянин заработает 12 рублей,—больше и лучше, чем на выгрузке. Надо полагать, что он будет доволен, и, если на будущий год нужны будут люди, то они первые охотно пойдут.

— По-моему, нечего зря кидаться деньгами. Это, кроме того, не практично. Ты дай челдону хоть сто рублей в день, а я ему дам одну бутылочку „николаевской“ с красной головкой, и он скорее будет работать у меня, вот увидишь! Ты сибиряка просто не знаешь. Скажи ему, что на дне Лены лежит бутылка с водкой, ей-богу, нырнет за ней, не боясь, что утонет. Разбейся баржа с водкой и вылейся она вся в Лену, все жители припадут к реке и рады будут всю реку выпить!

— Так как же по-вашему мне сделать?

— Я уже распорядился, чтобы купили десять четвертей водки. Рабочему ты плати, как вообще по положению, два рубля, но подавай утром и вечером обязательно по рюмочке.

— Я, Осип Соломонович, не могу этого делать.

— Ничего, Семен, научишься и сам надумаешь попробовать, на них глядя...

К отплытию в шитик принесли десять четвертей водки.

Когда мы отплыли на середину реки, стояло пасмурное утро. Шел десятый час утра. Быстрое течение понесло нас. Мы выгреблись на середину, отдались течению. Осип Соломонович сидел на корме, я у весел. Проплыли первое селение, прилегающее к Витиму.

Солнце то выглянет, то скроется. Над рекой густой туман, как перед ураганом зимней бури.

Осип Соломонович закурил. Я черпаком вычерпываю воду из лодки. Лодка сидит глубоко. Вдруг... ясно послышался выстрел!

— Должно быть, утки появились,—заметил Осип Соломонович.

Я ищу глазами полет уток. Нигде—ничего.

— Это выстрел на берегу.

Я стал всматриваться. Не верю глазам. С берега кто-то целится в нас!

— Осип Соломонович, это нас, вместо уток, кто-то караулит!

Бу-у-у-ух!—прокатилось по реке.

Недолет! Пуля шлепнулась в стеклянную гладь реки, брызги-осколки подбросило вверх.

— Осип Соломонович, налаживайте живей корму! Держите к левому берегу! Я буду грести. Это в нас стреляют.

— Это тебе показалось. Кому мы нужны?

— Я своими глазами видал, Осип Соломонович. Живей, не то поздно будет!

Я не теряю из глаз противоположный берег. На правом берегу из зимовья выбежало три человека, спустились к воде, где у лодки

возится только-что стрелявший, веслом удаляя из лодки воду. У остальных в руках шесты, у одного весла. О чем-то спорят.

Я гребу изо всех сил. На короткое время прерываю. Снимаю с себя все, что стесняет движения. Остаюсь в одной рубашке. Опять принимаюсь грести, не спуская глаз с берега.

Осип Соломонович близорук и никак не может ничего заметить.

Вот челдоны стали, наконец, все в лодку. Оттолкнулись и, стоя, начали отпихиваться шестами. Я поделился своими наблюдениями с Осипом Соломоновичем.

— Что ты говоришь?—смеется Осип Соломонович.—Разве вниз по воде пихаются? Твое счастье, Семен, что здесь некому смеяться.

Преследователи, как это ни казалось странным Осипу Соломоновичу, продолжали пихаться. К счастью, мы были далеко от них. На их стороне был мыс и у берега быстрое течение. Мы же находились ближе к заводи, где течение было гораздо тише. Четыре сильных, опытных мужика на шестах с каждым толчком заметно подвигались вперед, стремясь быстрее добраться к мысу и на веслах перерезать нам путь.

— Валяй, наляг, чтобы нам проскочить раньше, чем они дойдут до мыса! Тогда мы будем опять в лучших условиях. С нашей стороны курья кончилась и будет мыс, а у них наоборот. Они, пожалуй, в заводи пихаться не станут, и нас догнать им будет не так-то легко...

Изо всех сил, упершись ногами в дно лодки, я налег на весла, с каждым взмахом поглощая большее расстояние. Вот-вот сейчас, еще немного—и я поравнялся с мысом. Преследователи оглянулись, поняли, что мы разгадали их план. На время остановились. Тот, у кого было ружье, приложился.

— Нагните голову, Осип Соломонович: он, кажется, целится в вас! Не выпускайте кормового весла!

Осип Соломонович быстро нагнулся. Гулко по воде и по обоим берегам прокатился выстрел. Недолет! Дробь вразброс, разметая брызги, ушла в воду!

Неудача, видимо, породила раздор между преследователями. Они пристали к берегу. Один вышел. Остальные трое гребли к нам.

— Осип Соломонович, держите ближе к быстере! Как только минуем мыс, держите на противоположный берег. С мыса на мыс!

— Хорошо, Семен...

Когда лодка грабителей выплыла на середину реки, подул сильный ветер, захлестывая пуховыми снежинками. Надвигалась буря, вверху ураганом неслись воздушные, белые волны. Ближе, ближе!

— Как бы нас не захлестнуло!

— Не беспокойся, буду держать вразрез волн. Лучше пойти ко дну реки от стихии, чем быть убитым, ободранным и брошенным в конце-концов под волны.

Зы-з-з-з-з!—налетел на нас передовой воздушный вал и с ним как-будто накипевшее небесное негодование: вихрь, град впере-

межку со снежными хлопьями. Часто забарабанило о ровную поверхность реки, разрывая синий покров Лены и забрасывая нас мокрой, холодной пеной. Все заволокло белой, туманной стеной.

В самый налет бури мы были ближе к берегу, лодка же грабителей—на самой середине. Нагнувшись ближе к воде, я едва их различал. Их шитик сидел глубоко и заливался волнами. Они не гребли, а усиленно вычерпывали воду.

— Осип Соломонович, давайте на тот берег,—тихо попросил я.

Мы гребли не переставая. Осип Соломонович помогал мне кормовым веслом. Когда буря пронеслась и небо прояснилось, преследователи очень удивились, заметив нас на противоположном берегу, на быстрине. Они же—в заводи. Казалось, что это их заставит бросить свою затею, но, очевидно, они на что-то еще надеялись. Следующий мыс был на их стороне. Имея в виду, что мы будем проплывать мимо, они решили пересечь нам дорогу. Я угадал и этот их план, как только они пристали к берегу. Быстро выбравшись на берег, они зашли в лес и побежали по дорожке к мысу. Сквозь деревья мелькали их фигуры.

— Осип Соломонович, погребите кормовым веслом! Только бы проскочить нам этот последний мыс, и мы будем в безопасности.

— Налегай, раз, раз!

Четко опускаются весла.

— Скоро мыс, Семен?

— Не правьте на мыс, давайте скорее на другую сторону, они с мыса стрелять будут! Вот так!

Осип Соломонович послушно повернул нос на реку.

Когда трое грабителей выскочили на мыс, мы его уже миновали. На мысу, опрокинутая вверх дном, лежала быстроходная душегубка. Наши преследователи столкнули ее в воду.

Неужели они опять будут продолжать погоню? Нет! Взводят ружья.

Бу-у-у-ух, у-у-ух!

Далеко прокатилось и гулко откликнулось эхо. Заряд дроби раскинул стеклянные брызги зеркальной реки.

— Ну, теперь начхать на них! Мы, должно быть, доплывем благополучно. Вот скоро должна быть Крестовая, там мы попросим урядника снарядить охоту за желторотыми!—успокаивает Осип Соломонович.

Преследователи дальше не гнались. Скоро мы доплыли до Крестовой...

В Крестовой у Осипа Соломоновича был знакомый, который жил богатым домохозяином. К нему-то мы и направились.

По дороге Осип Соломонович рассказал мне историю его женитьбы. Красивый, молодой еврей-поселенец жил в работниках у челдона, который собирался отправиться в путешествие на тот свет. Все уже было к этому подготовлено. Старик уже получил отпуще-

ние грехов за множество убийств, с целью ограбления «горбачей». Частицу награбленного золота он пожертвовал на сельскую церковь.

Дом ждал наследника. И вот—бойкая девка, хозяйская дочь, подхватила и окрутила работника, красавца-поселенца.

«Бог прибрал» старика. Молодые зажили. Пошли дети: сынок, другой, третий и дочь. Прикрыли завод...

Сыновья подросли, стали сами держать лошадей, брать подряды. Один женился, другой запьянствовал, да так, что никак не образумить. В доме вообще пили. Сам мог поставить перед собой четверть и уйти от стола лишь тогда, когда она опустеет. Сама пила только по полбутылочке и часто. Сыновья не отставали от родителей. Но один—Васька—совсем отбился от рук, он во многом перещеголял отца. Пил иногда до белой горячки. Отец читает наставления, мать тоже. Но все напрасно. Это его только сердит.

Знакомый Осипа Соломоновича не был еще стар, когда мы посетили его, но он был похож на мертвеца. Чахотка раз'едала его. И хотя в глазах горел здоровый огонь жизни, но видно было, что окружающее сильно его тяготит, и он рад ото всего скорей избавиться.

Васька, сын его, был женат, но жену не любил и часто под пьяную руку грел ее чересседельником. Да и его никто не любил, против него в доме был заговор, ему не давали водки, но когда он сильно приставал к матери, она давала ему водку пополам с уксусной эссенцией. Это, об'ясняла она мне, ей посоветовали знающие наговорщики, как средство привить отвращение к водке. Васька морщился, но пил.

— Отучу его, не станет тянуть ее помногу!—говорила мать.

Васька чувствовал, что пьет отраву, но противостоять желанию выпить не мог.

Когда однажды в нашем присутствии она налила Ваське рюмку водки, подлив туда эссенции, Васька, выпив и сильно поморщившись, вышел на кухню. Я спросил ее:

— А вы знаете, что вы постепенно отравляете собственного сына?

Я услышал нервный ответ:

— А чорт с ним, скорее бы сдох! Себя бы не маял и нас бы не мучил, леший красный! Куда бы его услать подальше, чтобы глаза не глядели, как он галится? И не тонет, комуха! Всегда пьяный на рыбалку ходит, и леший ему нипочем, не берет к себе в мотню!

Узнав от Осипа Соломоновича, что мы готовимся к рыбной ловле, она стала просить взять с собой Ваську.

— Житья от него нету. Бабу изуродует, не живет с ней, а мучает. Что ни день, то пинки. Что ни день, то вожжиной охаживает. Может, дорогой отойдет малость, оставит его немочь горькая. Может, и сам канет в воду, все ж легче будет, чем с ним маяться...

Когда Осип Соломонович, «уступая просьбам», согласился взять Ваську с собой, я понял, что Осип Соломонович собственно за этим

сюда и заглянул. Он хорошо все знал заранее. Знал он также, что Васька хороший рыболов и что семья им сильно тяготится; знал он и то, что если чаще поить его водкой, об остальном он сам похлопочет и рабочих таких же пьяниц найдет, и места удобные для рыбалки укажет, а Васька знал Лену на большом расстоянии.

— Нужно еще самого Ваську спросить, согласится ли он.

Мать позвала его. Васька согласился без рассуждения. Несмотря на то, что Осип Соломонович не намекнул даже, что в перспективе есть водочка, Васька как бы учуял это. Вернее—прочел в глазах собеседника.

Надо отдать справедливость Осипу Соломоновичу. Как таежник-эксплоататор, видавший виды и знающий людей, пестревших на приисках, он научился уже говорить с ними без слов—глазами. И теперь, соблазняя Ваську и говоря: «ну, чего киснуть тут на печи! Там на просторе лучше, веселее будет»,—Осип Соломонович чуть-чуть мигнул, незаметно для хозяйки, но понятно для Васьки. Одним словом, они поняли друг друга.

— Ну, и химик, Осип-то Соломонович! А где у вас тут настоечка? Тьфу, гошподи, прегрешил, я ведь и проштую сивуху тяну. Это меня дома мамка все настоечкой подчует.

Это были его первые слова, когда мы спустились к лодке.

Мы отправились по указанию Васьки к одной заимке, где в избытке водилась рыба, и решили устроить пробу неводов.

После удачной пробы Осип Соломонович должен был вернуться в Витим, а с последним пароходом перед прекращением навигации забрать меня и улов.

Первый улов оказался неудачным, но зато я собрал множество сведений относительно рыбной ловли.

В деревне нашелся челдон-рыболов, имеющий большие познания по этой части и предложивший Осипу Соломоновичу свои услуги. Осип Соломонович даже решил иметь его в виду, как заведующего рыболовным участком на следующий год, и выработал с ним план будущих работ.

Для более успешной и обильной ловли Осип Соломонович решил застолбовать особенно ценное рыбное место, якобы для разведки золота, чтобы таким образом уберечь свой участок от челдонов-рыболовов.

Не прошло и недели, как на далеком пространстве по Лене разошлась молва, что Осип Соломонович открыл на этом участке богатое золото и что скоро наедут бодайбинские золотопромышленники и что даже уже происходит наем рабочих. Некоторые стали тайком мыть на лотках, разведывать на глубине почву.

Осип Соломонович уехал.

Большое внимание мы уделили острову Иловому, находящемуся в 15-ти верстах выше Мухтуя. Там рыбалка затянулась. Место оказалось богатое тугунами.

Работа была тяжелая и большей частью ложилась на меня. Дни—тупые, однообразные. В туманно-сером восходе солнца надо было успеть сделать две или три тони. И каждый день, прежде чем приступить к работе, я слышал:

— Надо бы шпрыснуть! Рыбка по шухому не плывет, паря.

Спрыснули.

— А-а-а-ах!—крякнет кто-нибудь.—Первая вторую ищет. Давай, паря, пошлем за второй!

— Куды, дя Митрий, посылать-то! Она, комуха, в пошудине. Ну-ка, тяпнем что ля?—это уже относилось ко мне.

— Не твоя, паря, хозяйская! Нам Осип Соломоныч приказал пить-то.

Опрокинули по второй.

— Тьфу, это кислая!—скорчит один гримасу и скажет:—бог троицу любит.

Выпьют по третьей.

— О трех углах, кум Ипат, дом, говоришь, не строится?

— Четвертый нужен, иначе ничего не выйдет,—деловито ответит Ипат и протянет в четвертый раз свою рюмку-стакан.

— Теперь, паря, ш богом!

Крестьянам не хочется, чтобы чужаки нащупали рыбку. Они боятся, чтобы у них не отбили место рыбалки, и пускаются на хитрости. То споткнется один и опустит речник, то чересчур высоко поднимет бережник. Рыба то верхом скачет, то низом вся уходит. Или начинается протест:

— Бережничать плохо, паря, давай речничать буду!

Пойдет речничать, опять что-то не клеится.

— Для себя вы так же рыбачите?

— У нас, паря, другая статья. У нас невода швои, не аглицкие. У нас, паря, у неводов-то мотня, а здесь-то мешком-трубой невод гнется.

Это была обычная отговорка, как бы законная, против которой никакие доводы не могли устоять. Выписанные Осипом Соломоновичем невода не имели мотни, а к тому месту, где полагается быть мотне, очки невода сгущались, и вместо мотни была частая, широкая полоса, сквозь которую нельзя было проскочить даже самой мелкой рыбешке.

После первой тони начиналась другая песня.

— С уловом, паря!

— С уловом, перед ловом!—присоединяется еще голос.

— На счастье по рюмочке завсегда не мешает. Бог рыбку пошлет,—уверенно подтверждает еще голос.

— Э-э-э-эх! Тряхнем для фарту по второй!—решительно заявляет Васька и сейчас же вслед за второй подставляет вновь свой стакан.

— С устатку.

За ним—другие. А после:

— Перед едой, паря, промочить горло надо. Совсем горло обсохло.

После еды:

— Апопошнуть бы! Дербануть бы хошь по стаканчику!

Выловленная рыба оттаскивалась недалеко от воды на каменистый берег. Затем предстояла работа по очистке ее от шелухи, от внутренностей, перемывка, засолка и укладка в боченки. Никто за эту работу не брался, отговариваясь незнанием или неумением обращаться с мелкой рыбкой. Приходилось каждый раз самому чистить, мыть и укладывать весь улов.

Работал я, таким образом, почти от утреннего улова до вечернего. Сентябрьские холодные утренники коробили пальцы, да и вечера были не знойные—коченели и синели пальцы рук, а бросить работу нельзя. Оставленная до следующего дня рыба уже не имела нужного вида. Несмотря на холодную погоду, портилась.

Васька предложил пригласить девок на эту работу, челдоны его поддержали. Но я не соглашался.

Попадалась нам и большая рыба, прекрасные таймени, стерляди, щуки и налимы, но мы засаливали только тугунов. Остальную рыбу вдоволь жарили, варили и даже отпускали обратно в реку.

Вкуснее всего были стерляди, тугун и таймень. Некоторые из крестьян ели рыбу и в сыром виде. Выцеживали зубами из трепещущих в руках скользких вьюнов живую икру.

Мне надоело беспрерывное пьянство сибиряков и кислый запах пропахнувших рыболовов. Для того, чтобы покончить быстрее с вином, я решил отдать всю водку артели, которая устроила большую попойку.

Целый день и ночь кричали пьяные голоса на пустынном острове, кричали на все лады до хрипоты.

Наутро проснулись—и нечем было опохмелиться. Приуныли, стали сумрачны и молчаливы. Требовали послать за водкой в деревню, но я раз навсегда отказал им в этом. Все были недовольны, а некоторые, увидя, что водки нет, потеряли желание работать и оставили артель.

Мы с Васькой остались одни.

Небольшое наличие бочек было наполнено рыбой. Я стал нетерпеливо ждать Осипа Соломоновича, и когда прошел последний пароход вверх по Лене, я впал в отчаяние. На предпоследнем пароходе вниз по Лене Осипа Соломоновича также не было.

Где придется зазимовать? Застрять в незнакомой деревне на долгую сибирскую зиму—не улыбалось. Тянуло к месту приписки: там меня должны были ждать письма...

Когда осенью 1912 г. Осип Соломонович с сыном приехал с последним пароходом в Мухтуй проведать нашу работу, мы с Васильем уже давно ее закончили и переехали с острова в с. Мухтуй, где

с нетерпением дожидались его приезда. Из Якутска еще должны были пройти на отстой в свои пристани два парохода с баржами, и, если б Осип Соломонович к тому времени не приехал, мы должны были бы застрять.

Но пока все шло благополучно. Он был рад, что все захваченные кадки были заполнены и аккуратно заделаны.

— Ты, Вася, похлопочи тут: «Акапсим» с баржей должен еще пройти на Бодайбо. Я телеграфировал капитану, он сюда пристанет. Погрузи тугунов в Бодайбо на адрес брата, а сам поезжай с богом в Крестовую.

— А Семен разве не поедет? Ему, ведь, еще дальше?

— Нет. Я хочу его к себе в Якутск пригласить. Поедешь, что ли, к нам, Семен?

— Об этом надо поговорить: как и на каких условиях?

— Ну, что ж, поговорим, пока пароход будет брать дрова. Так, Вася, не забудь: рассчитаемся после. Ты, ведь, в деньгах не нуждаешься.

— Мне они вовсе не нужны: дома жрать и без них есть...

Мы с Осипом Соломоновичем пошли.

— Я, Осип Соломонович, думал на зиму в с. Ичерское поехать.

— Охота тебе в такую дыру забиваться. У меня, по крайней мере, будешь жить в довольстве. Ты можешь всю зиму ничего не делать, на лето, бог даст, рассчитаемся, не беспокойся,—разоткровенничался он,—я с тебя свое возьму, ты мне поглянулся.

Он не прибавил, что приглашает меня для того, чтобы не потерять из виду и чтоб и на будущее лето я был бы у него под рукой, но это было и так ясно. Его старание захватить меня с собой и кормить всю зиму говорило красноречивее всяких об'яснений.

— Но у меня нет права жительства. За переход из губернии могут еще дать три года или услать дальше, переменить место ссылки.

— Это все ерунда: ты будешь жить у меня. Я тебя представлю, как своего брата, приехавшего за пушниной или просто погостить. У нас в Якутске не так, как у вас в Рассее. Провинция-матушка— все сходит! Я знаком со всем начальством. Они ко мне иногда заглядывают на чашку чаю или в картишки поиграть. Зимой скука адская: то полицеймейстер, то помощник его заглянет. Как держать себя в подобных случаях, ты знаешь. Тебя этому не учить.

— Но как посмотрит на это ваша супруга?

— Жена никаких притеснений чинить тебе не будет. Будешь столоваться с нами за одним столом, жить с моими сыновьями в одной комнате,—один из них учится в реальном училище, другой раньше там учился.

— Ну, что ж, условия заманчивые. Нельзя не согласиться,— сказал я.

Догружали последние дрова, и скоро наш пароход отвели от пристани. Мы еще раз простились с палубы с Василием.

— Лодки, вещи и невода оставляю тебе на хранение. На будущее лето имею тебя, Вася, в виду!

— Коли жив буду, да мамка не отравит, то с нашим удовольствием, Осип Соломонович!

Пароход сделал полный поворот, и мы понеслись вниз по Лене. Река начала шуговать. У берегов появилось сало. Капитан надеялся сделать рейс до Якутска и вернуться обратно в Усть-Кут, но, не доходя Олекмы, он получил распоряжение дальше вниз не следовать, вернуться на отстой. Пассажирам, как они ни волновались, пришлось оставить пароход на полдороге в Якутск, хотя с них и было получено за проезд до последнего. Таков обычай: запоздавшие пассажиры, едущие с последним запоздалым рейсом, предупреждаются, что они могут быть высажены в том месте, где выяснится, что следовать дальше для парохода опасно.

Надо было что-либо предпринять. Пассажиров, следующих в Якутск, было много. Одни, из боязни плыть в лодках, решили остаться в Олекме до санного пути, другие намеревались пробираться верхом, часть разбрелась.

Вокруг Осипа Соломоновича собралось человек десять, решили купить почтовый шитик и плыть по мере возможности. До окончательного замерзания было еще дней 8—10.

— Лена долго еще будет дурить, успеем доплыть,—уговаривал всех золотопромышленник Блох.

В селении, где пароход нас высадил, у татарина-лавочника купили большой, длинный почтовый шитик с высокой просмоленной крышей; у него же купили парус, печку с трубами, топор. Шитик был грузопод'емный, чистый, устланный досками и служил татарину для торговых целей. Ранней весной и поздней осенью татарин-лавочник на бечеве лошадью затягивался вверх по Лене до Витима, останавливаясь с торгом в деревнях и селениях, затем из Витима совершал рейс обратно.

В числе пассажиров были: Осип Соломонович с сыном, золотопромышленник Блох с сыном, еще каких-то два золотопромышленника, я, один ссыльно-поселенец доктор и один латыш, административно-ссыльный Якутской области.

По дороге в Олекму мы встретили еще один шитик, который стоял близ берега. Пассажиры небрежно относились к своему кораблю. Разведенный на носу костер стал занимать уже борт, и, когда мы к ним под'ехали, огонь грозил охватить весь шитик.

— Эй, кто в шитике есть, выходи скорее, не то сгорите, черти полосатые!

Из-под брезентовой крыши вылезла фигура солдата, который, заметив огонь, стал будить сонных спутников.

— Эгей! Вставатя, чаво дрыхните, пожар занялся!

Из глубины вынырнуло еще одно перепуганное солдатское лицо, затем суетливая старушка.

Нам предстояло играть роль спасителей. У нас было много свободного места, да и, кроме того, чем больше мужчин, тем меньше опасности, да и смелее плыть в такое рискованное путешествие.

— Сколько у вас народу? Хотите с нами ехать?—спросили мы солдат.

— Три человека и одна бабуся,—последовал бойкий ответ.— Если примете, то поедем.

— Собирайтесь-ка живей!

Через полчаса наш шитик, дополненный новыми пассажирами и имея позади привязанную лодку, поплыл дальше к Олекме.

Из новых пассажиров—два солдата пробирались из Иркутского госпиталя в Якутск в свою часть, старуха с двумя чемоданами ехала перед смертью проведать сына, который проживал в Якутске и которого она не видела уже несколько лет. Четвертый, латыш-ссыльный, возвращался к месту ссылки из Риги, отпущенный на честное слово либерально-кадетским якутским губернатором, бароном Корфом. Барон Корф, по словам латыша, даже субсидировал его поездку за семьей на предмет устройства молочной фермы в Якутске. Латыш торопился, семья же его должна была приехать зимним путем.

В Олекме Блох с сыном и два солдата решили не рисковать и дальше не ехать. Отговаривали также и нас от дальнейшего следования, но нам не так-то легко было доказать невозможность плавания по еще не замерзшей реке.

Старуха запаслась несколькими бутылками спирта. Осип Соломонович—также. Остальные запаслись провизией. Наконец, мы приготовились к отплытию. Впервые решили наладить парус. Лишь только оттолкнулись, как выпустили все полотно. Ветер подхватил нас в бешеный бег, с огромной силой надув парус во всю величину.

Мы оторопели: никто из нас не умел управлять им, а, между тем, шитик несло во весь дух, и разыгравшийся с парусом ветер рвал и метал его в разные стороны. Вдруг неожиданно повернул и так круто накренил к самой воде, что лодка наполнилась почти до краев.

С берега заметили нашу неопытность и стали громко нам кричать:

— Руби прави́ло! Спускай парус, не то захлестнет вас, черти!

Мы сообразили, что дело плохо, спустили парус, и несчастие было предотвращено.

Чем ниже Лена, тем она бурнее и опаснее. С Олекмы начинает увеличиваться ширина и быстрота ее течения.

— Когда-то мы доберемся до Якутска? Мать, святая богородица, пресвятая Мария Магдалина, великомученица Серафима!—крестится старушка, тяжело вздыхая.

— Доберемся, матушка, доберемся, как только приедем,— острит Исай.

— Дай-то господи! Его святая воля, его святая воля,—шепчет старушенция.

Мы установили посменную вахту, по два часа. Мне пришлось стоять на вахте вместе с латышом.

Недалеко от Олекмы нам встретился пароход «Акапсим» Кушнарева с баржей. Тяжело пыхтя, он грузно подвигался вверх по течению.

На следующий день прошел и последний пароход. Дул сильный холодный ветер, и с каждым часом на реке появлялось все больше и больше льда. Все реже попадались селения. Иногда какое-нибудь из жилых мест выдавало себя лишь клубившимся из труб дымом или лаем чутких собак.

Дикая местность, безлюдные берега и величественные горы, расположенные вдоль реки, были необычайно красивы.

Вот проплываем знаменитые и единственные в своем роде «столбы на Лене». Много легенд про них сложено. Высокие, стоящие отдельно друг от друга, как радио-мачты, они как бы охраняют необозримую тайгу.

— Эх, и красота! Высота, глядеть страшно! Голову закинешь— шапка свалится.

— Их еще бачка Ермак Тимофеевич понаставил,—поясняет нам старушка,—когда он воевал с нехристью поганой. Тут вот, из этой крепости, он, говорят, выпускал на дикарей свою лихую ватагу и держал в трепете всю окрестность,—показывает старушка пальцем.—«Столбы»-те он, все он, бесстрашный, заложил. Пленников-идолов сложить заставил. А с самой высокой горы его верная стража охрану держала. А вот и ворота! А вон—еще скалы!

Все любуемся. Они, действительно, похожи на арки, искусно сложенные из диких камней. Слушаешь рассказ старушки, всматриваешься пристальнее в каждую мелочь огромных скал, и в воображении встает картина некогда грозной легендарной крепости.

А старушка безумолчно продолжает:

— А это дыра, а вон там вторая, в горе-те, из них пушки палили. Эх, и палили, так и палили! Страсть как палили! А от жерлов длинные языки вырывались и жгли, и жгли, и жгли ворогов лютых.

— Да полно тебе, мать, всякую чушь за правду передавать,— перебил Исай старуху.

— Так и палили, так и палили,—стоя на своем, твердила та.

— А ты, матушка, не знаешь, откуда эти дырки взялись?— посмеиваясь, спрашивает Исай, указывая на большие отверстия в скалах, просверленные горными ключами.

— Как не знаю, бачка, знаю! Это он их просверлил. Понадобилось, и просверлил.

— Вот и не знаешь. Это вода ключевая их проточила. Слыхала пословицу: вода камень точит?..

Мы плывем по нагорной стороне. К берегам уже близко нельзя подплыть,—они заковались льдом. Плыть становится опаснее, река все время волнуется, и волны, подгоняемые ветром, захлестывают наш шитик. Льдины не дают грести.

Мы с латышом научились управлять парусом и кормовым веслом и, к великому ужасу всех остальных, как только вступали на вахту, пользовались парусом во-всю, бешено несясь по волнам и льдинам капризной Лены. Но лишь только нас сменяли другие, как сейчас же парус спускался, и шитик плыл по воле течения.

Передвигались вперед убийственно медленно. Старушка уже три дня, как пряталась, молясь под одеялом и потягивая время от времени из спрятанной в рукаве полубутылки.

Дрова были на исходе, хлеб тоже.

— О господи! Апостол Павел! Мавра непогрешимая, спаси и сохрани! Спаси и помилуй!—шептала старуха, наводя на всех тоску и уныние.

Ночи становились все темней, а приставать на ночлег было некуда.

— С нами дева Мария. Она наша заступница, непогрешимая. За нас молится, и бог сменит гнев на милость и даст нам доплыть до Якутска,—указывая на старушку, говорит Исай.

— Его святая воля, гнев его велик, и милость, кротость его беспредельная,—с посоловевшими глазами, заслышав, что говорят о ней, оповещает старуха.

— Матушка, сколько тебе лет? Поди, за шестьдесят перевалило?—спрашивает О. С.

— Грех, грех считать чужие года, грех считать. Не чужой век живу, не чужой. Господь бы донес во здравии, на сына последний раз взглянуть. Больше ни в жисть не поплыву, ни в жисть. Пора на отдых, на покой. Пора... пора...

В эту ночь мы заплыли в сильно вдававшийся берег рукава Лены и до утра там провозились. То шестами запихивались, то веслами отгребывались. Но стоило нам только сложить шесты и весла, как сильное течение заносило нас обратно в рукав, и только утром нам удалось опять выбраться на реку.

Через два дня у нас не стало продуктов, израсходованы были дрова. В шитике под крышей стало холодно и сыро, как в леднике.

Уныние нашло на всех. Руки опустились. Вода из шитика не вычерпывалась, нарастал лед... По реке шла сплошная ледяная масса...

Мы были похожи на обреченных, затертых во льдах путешественников и, глядя на ледяные глыбы, беспрерывно напирающие и прощупывающие наш одинокий шитик, мы с тревогой ожидали неминуемой смерти.

— Скоро река станет. Прошла бы только ночь благополучно,—сказал доктор.

— Жутко погибать ночью, во тьме, когда, быть может, рядом есть за что ухватиться. Днем все-таки есть надежда на спасение,—вставил Исай.

— И днем и ночью погибать не сладко. Шансов на спасение у нас мало, только случайность может нас спасти,—упавшим голосом, авторитетно высказался О. С., потуже укутываясь в теплую доху.

— Мать святая богородица,—нашептывала в беспамятстве старуха.—Спаси и сохрани! Спаси и помилуй нас, грешных!

Глубокой черной ночью случилось то, чего все мы так боялись. Наш шитик сначала замедлил ход, а потом и совсем остановился.

Все выскочили из-под крыши. Густая тьма не давала возможности определить причину остановки, рассмотреть местность.

— Неужели река стала?—задал кто-то отчаянный вопрос.

Влево, по течению, слышно было глухое урчание леденевшей реки. Глухое, сдавленное трение бесчисленных ледяных жерновов, погоняемых сильным течением.

— Нет,—река еще продержится дня два, но странно нас куда-то нанесло: не иначе, как на мель! Еще слава богу, что не перевернуло,—ответил О. С.

— Не думаю, чтобы так слабо нанесло на мель. Поди, все мели теперь покрыты льдом. По-моему, необходимо сделать пробу столкнуться с этого места.

— Боже упаси!—испуганно крикнул Осип Соломонович!—это верная смерть. Если не налетели на мель, так налетим и разобьемся. Утро вечера мудренее,—заключил он.

Все, за исключением меня, согласились с ним. Я же стал возражать:

— Нас к утру так льдом прикует, что потом мы и не оторвемся.

— По крайней мере, выспимся спокойно ночь: ведь, все переутомлены,—резонно доказывал О. С.—Ведь, не один ты, каждому из нас жизнь дорога.

— Но нам надо во что бы то ни стало столкнуться и плыть вперед, иначе мы к утру будем окружены льдинами, к которым наш шитик в лучшем случае примерзнет, а в худшем случае—льдины раздавят нас.

— Оставь, Семен, свое упорство,—ведь, нас большинство, а ты хочешь всех переспорить!

— И не собираюсь переспорить, но если б вас было бы еще столько же, то и тогда я с вашим решением не согласился бы!—раздраженно ответил я.—Глупому и то должно быть понятно, что для нас дорог каждый час, а мы вдруг целую ночь потеряем, чтобы только понежить свои косточки. Я рискую своей жизнью и не хочу сдаться без борьбы. Кто будет утром рубить лед, выручать лодку? Вы, что ли, Осип Соломонович, или другие господа?

— Да ты совсем стал неузнаваем,—обиделся О. С.—Зайдемте под крышу, обсудим дело. Выберем одного за капитана. Нужна дисциплина, и все должны ей подчиниться.

— Никаких капитанов не признаю и ждать до утра не буду. Вы—как хотите, а я буду принимать меры к тому, чтобы отсюда выбраться.

Я вышел из-под крыши на корму, следом за мной Исай.

— Семен, не расстраивай сильно отца, он нервный, с ним может случиться припадок.

— Я никогда не соглашусь быть пешкой и молчать, вопреки здравому смыслу. Подумай, Исай! Все говорит за то, что нас только приткнуло течением ко льду; правда, нужно, быть может, большое усилие, чтобы оттолкнуться, но если мы этого усилия сейчас не сделаем, то льду до утра подвалит столько, что никакие наши усилия не помогут.

— Так что же ты предлагаешь?

— Надо спуститься в воду и выяснить, на мели мы сидим или нет. Если на мели, то вытолкнуть шитик на руках. Но с кем это сделать? Я готов спуститься в воду, но одному трудно работать, надо еще хотя бы одного. Хочешь, спустимся вдвоем?

— Исай, иди сюда!—послышался нервный голос О. С.

Он вышел на нос и слышал наш разговор.

— Ты с ума сошел, что слушаешь этого сорви-голову! Разве, кроме тебя, некому лезть в воду? Простудиться хочешь? Ведь, это почти верная гибель! Вода—как лед, а он предлагает лезть! Пусть лезет, коли хочет, а тебе нет никакой надобности,—пониженным тоном внушал отец.

Услышав это, я, в порыве негодования, не дав О. С. распространяться дальше, вдруг схватил топор.

— А, так вы вот как рассуждаете?! Дескать, лезть в воду дураков и без вас найдется? Вам жаль своего сына! Вы боитесь, что он простудится, а если я издохну, так на это вам наплевать? Осип Соломонович, имейте в виду, что, если кто-нибудь из вас не сойдет сейчас со мной в воду столкнуть лодку, то я вот этим самым топором отрублю от лодки свою часть! Я не хочу ждать до утра.

Я нервно надевал большие бродни, которые Осип Соломонович сделал для рыбалки. Печка едва тлела. С досады я встряхнул пьяную старуху за шиворот.

— Топи печку! На, вот доски!

Я сорвал сиденье у греби и бросил к печке. Старуха зашевелилась.

— Что это, в самом деле, господа,—взволнованно обратился О. С. к остальным.—Это прямо издевательство. Семен, ты забываешь, что ты находишься у меня на службе и должен мне подчиняться во всем? Мы не меньше твоего понимаем. Никто с тобой в воду не полезет. Исай, если ты только посмеешь итти против моей воли...

О. С. не договорил.

Неуместное напоминание о том, что я должен ему подчиниться потому лишь, что он мой хлебодатель, довело меня до исступления.

— Я вам здесь не раб, и вы мне не господин, и не признаю я за вами никаких преимуществ! Вы такой же, случайно затертый льдом путешественник, как и я. И, если хотите знать, так я менее вас

беспомощен. Вы будете ждать, чтобы кто-то за вас сделал все нужное для вашего спасения, а я сам могу работать за себя, да и о вас еще мне придется позаботиться! Вы меня уговорили ехать, чтобы иметь под рукой, чтобы извлечь из меня выгоду. Благодаря вам, я нахожусь в таких условиях. Мы, может, не сегодня, так завтра, пойдем ко дну. Я настаиваю, чтоб столкнуть сейчас же лодку!

Осип Соломонович не ожидал такого потока слов. Он сел на свое место и заплакал. Остальные молчали. Глухие рыдания потрясали грузное тело О. С. Старуха, возившаяся у печки, причитала:

— О господи! Помилуй! Спаси и сохрани! За наши прегрешения!

Она подкладывала доски в печку и была похожа на ведьму.

Когда, одевшись в бродни, я вышел из-под крыши, никто не выказал и тени намерения спуститься со мной в воду, и я один, держась за борт шитика, спустился в гущу льда.

Лед до боли сжимал ноги. Под ногами—сплошной лед. Прижавшись правым локтем к борту лодки, я левой рукой, в которой было весло, стал расталкивать лед.

Через некоторое время я почувствовал, что почва уходит у меня из-под ног.

Значит, я был прав, мы не на мели, и есть надежда на спасение!

Я принялся за работу еще усерднее и, сделав несколько усилий, вдруг погрузился в воду по самую грудь. От проникнувшей к телу ледяной воды захватило дыхание. Я не выдержал и вскочил в лодку.

Все лежали, свернувшись, как чурки. Стянув с себя бродни и выжав брюки, я приготовился спуститься во второй раз и докончить начатое.

— Вы подымите парус, может быть, ветер поможет,—попросил я латыша.—Я же опять спущусь в воду. Авось, нам удастся еще этой ночью тронуться в путь.

Латыш без возражений поднял парус, который сейчас же надулся от ветра.

— Придерживайте руль, я спускаюсь!

Холодная вода опять приняла меня в свои об'ятия. Крепко стиснув зубы, придерживаясь одной рукой за шитик, другой, что есть силы, я расталкивал лед.

Вдруг лодку сильно рвануло, парус надулся, словно стараясь взвиться высоко в небо. Шитик, казалось, слегка приподняло и понесло.

Я едва не выпустил весло и чуть не оторвался от борта.

— Держись!—кричал мне латыш.

— Сюда!—звал он мне на помощь.

Но из-за поднявшегося шума от ломающегося льда и завывания ветра в шитике не разобрали, в чем дело. Перепуганные неожиданным бешеным бегом шитика, все думали с тревогой, что шитик

несет на мель, которую мы миновали до остановки, и с трепетом ждали крушения.

А между тем, шитик несло. Я стал коченеть, голова кружилась. Глаза искали, за что ухватиться. Казалось, вот-вот выпущу шитик из рук! Тело от толчков о льдины болело невыносимо. Вот лед задел голенище бродней... еще и еще... стал в клочья рвать одежду, резать тело...

— Скорее... на помощь!.. Отпускаю руки!.. Оооо-ой!—пальцы бессильно разжались, но сейчас же судорожно протянулись и нащупали в темноте что-то твердое.

— Это руль!—мелькнуло в сознании.—А, ведь, еще немного, и я бы остался позади лодки! Значит—спасен! Держись, Семен, не падай духом!—мысленно говорю сам себе.

Латыш, держа одной рукой кормовое весло, другой правило паруса, кричал, надрываясь.

Наконец, из-под крыши вылез Исай.

— Скорей ищи глазами Семена, его что-то не слышно!—крикнул латыш.

Радость спасенья залила меня, даже в ушах зазвенело.

— Сюда!—крикнул я из последних сил.

— Сюда, Ипи-сай!

Больше я не кричал. Не было сил. Голову клонило на лед.

И вдруг я почувствовал, как меня схватили за руку, подняли к борту лодки и перевалили через корму.

Когда я пролез под крышу, с меня текла вода. Все кинулись стаскивать с меня одежду и, раздев, накинули на меня доху Осипа Соломоновича. О. С. также уступил мне теплые, валеные галоши. Принесли спирту, но я не выпил его, а натер им тело. Закутался с головой и через несколько минут был как в огне. Я чувствовал, как шитик несло и несло все дальше. Мы выбрались на быстерь, ветер безудержно гнал нас вперед. Льдины резали и стругали дно и бока шитика.

В эту ночь я крепко спал, закутавшись в доху Осипа Соломоновича.

Когда утром я открыл глаза, мне бросилась в глаза утомленная и жалкая рожа О. С., устроившегося с меньшим комфортом, чем работник—я!

Я чувствовал себя свежим и бодрым, только в пятках ощущалась неловкость, и было больно на них ступать.

После чая, надев высушенную у печки одежду, я вышел на вахту. В эту памятную ночь мы проплыли много верст. Ветер все еще не утихал. Наоборот, он как-будто собирался дуть с еще большей энергией...

По левой стороне, на крутом берегу, далеко от нас дымились трубы. Там стояла деревня. Нас заметили, и вся деревня высыпала на берег, с любопытством и удивлением всматриваясь в нашу сторону.

Да и было чему удивляться! Так поздно никто не плавал по реке...

— Кто-ооо такие? Чьяааа пашууу-даааа?—долетали к нам крики с берега.

— Что за деревня?—кричим мы в ответ.

— Руссс-ка-яяя Речка!—отвечали оттуда.

— Вот так еще сутки ехать, и мы доберемся до места,—замечает О. С.

— Хорошо я сделал, что вас не послушал? И теперь бы еще па том месте сидели!..

Осип Соломонович молчит, чувствует, что я прав.

Утренник стоял суровый. Сильный иней, точно снегом, покрыл горы и наш шитик. Лед по реке шел крупный—рекоставный.

Голод давал о себе знать. Все мечтали о том, как бы удовлетворить желудок. Показавшийся дым еще больше разжег желание отведать пищи, запастись провизией. Ветер дул на деревню.

— Может, попробуем направить путь на деревню?—спросил я латыша.

— Что ж, попробуем! Только ничего из этого не выйдет, как бы не застрять на тихом месте. Потом не выберемся.

Пока мы рассуждали, течение пронесло нас мимо.

Хотя наша смена уже окончилась, но мы продолжаем работать, благо погода позволяет пользоваться парусом! Мы с латышом завоевали власть. О. С.—и тот согласился!

— Пусть они командуют!..

Вот вдали показалась новая деревня. Я стою у паруса, латыш—у руля. Я делаю латышу знак:

— Поверни к берегу!

— Есть!—глазами отвечает он.

Шитик летит стрелой. У берега—густой лед. А ну, как ударится и не выдержит? Разобьемся!—шевелится в мозгу.

— Тра, тра, тра!

Шитик с разбегу налетел на лед и—несется уже по льду!

Перепуганные шумом, из-под крыши выпыривают пассажиры.

— Что случилось? Куда нас занесло?

— Отчего так гремит?

— Успокойтесь, ничего страшного нет!

С крутого берега жители деревни смотрят на нас, как на чудо. А нас несет и несет.

— Спускай парус! Разобьет вас!—кричат нам с берега.

Парус спущен. Мы ткнулись и стали. К нам спускаются любопытные жители. Тут и русские и якуты. Начинаются расспросы:

— Кто такие?

— Почему так поздно и куда путь держите?

— Сахалы беляндо? (по-якутски говорить умеешь?),—спрашивают якуты.

— Белбапын. Капсе,—отвечает О. С. и заводит с ними разговор.

— Еще река походит?

— Еще дня два продержится,—слышны уверенные голоса.

— А как думаете, до Якутска доберемся?

— Доберетесь, вполне, если рискнете ехать. А все-таки опасно. Как бы мимо не проплыли!

— А вы дорогу знаете? Вблизи самого Якутска много островов, можно проплыть другой протокой и не увидеть Якутска,—предупреждают нас.

— Держитесь левого берега! На островах лучше проводника наймите.

Мы запаслись провизией. Старуха и другие пьющие—водочкой. Наняли нескольких крестьян помочь нам вытолкнуться обратно в реку.

Целый день плыли благополучно. Среди ночи нас прибило к какому-то берегу. Слышался отдаленный лай собак. Мы стали кричать:

— Эгей! Эй! Соха-бар? Дагор, кел мана!

Ответа никакого.

Решили пуститься на разведку. Бродили долго, но так никого и не встретили. К утру только удалось высмотреть двух якутов, которые сидели с ружьями у прибрежных кустов и с любопытством всматривались в наш шитик, стараясь узнать цель нашего приезда... Якуты вообще в трезвом виде трусоваты. Этого нельзя, однако, сказать про тунгусов. Тунгусы куда храбрее.

О. С. хорошо говорил по-якутски и скоро столковался с одним. За шесть рублей тот согласился плыть проводником до Якутска.

Выбравшись из протоки, куда по незнанию мы заплыли, мы продолжали плыть к цели.

Днем нашему проводнику посчастливилось убить нескольких зайцев на островах, близ которых мы плыли почти целый день, и к которым причалили, чтобы запастись дровами.

Когда на следующий день к вечеру, все время путаясь в островах, мы, наконец, под'ехали к Якутску, то нам пришлось остановиться лишь в семи верстах от города, у летней пристани. Вплоть до берега река была окована толстым льдом.

Несмотря на позднее время, темноту и дальность расстояния до города, все собрались итти по домам.

— Семен, за тобой пришлем лошадь,—сказал О. С.—Пока оставайся здесь.

Мы с якутом остались караулить вещи.

Надвигалась холодная ночь. Завывала ноющая погода. Якут ушел разыскивать дрова. Далеко, далеко слышны были его удаляющиеся шаги, затем и они смолкли.

Незнакомая, суровая, далекая, чужая природа... смертная тоска густотемной ночи... Не хотелось ни о чем думать... Я свернулся в пустом шитике и задремал...

Меня разбудил картавый непонятный говор якута:

— Карапчи, карапчи,—все твердил он и показывал, что нельзя спать, опасно, горло перережут.

Недалеко от лодки горел костер. Я всматривался в указанную якутом тьму, ничего не замечал опасного и смеялся. Глядя на меня, и якут стал смеяться. Мы подружились, хотя и не понимали друг друга. Якут все время говорил, стараясь мне что-то высказать, я же больше об'яснялся с ним знаками.

Вскипятив чайник, якут достал убитых им зайцев, ободрал их, надел одного из них на шомпол, изжарил и радушно предложил мне. Я не отказался и с'ел свою долю с большим аппетитом.

Обещанных О. С. лошадей я ждал не ранее утра, а потому после ужина забрался в шитик и, завернувшись во все, во что только можно было завернуться, заснул. Якут же так и не ложился до самого утра, неся у костра караул.

К завтраку меня ждало свежее заячье жаркое и густой кирпичный чай.

Река за ночь стала, и наша лодка крепко приросла ко льду.

Когда в восемь часов приехали от О. С. за багажом, оказалось, что вытащить шитик невозможно. Сняв весла, доски, крышу, мачту и печку, мы оставили остов на произвол судьбы.

В. Плесков.

У берегов Байкала.

(Страничка из жизни баргузинской ссылки).

На перевале.

Почтовая тройка быстрой рысью вынесла на перевал и остановилась.

Я вылез из кибитки и обернулся в ту сторону, откуда мы ехали.

Далеко внизу в лощине рассыпались домики Зерентуйского рудника. На высокой елани [1] белым пятном высилась каменная громада 3-х'этажной тюрьмы, заслоняя собой весь дальний ландшафт—покрытые кустарником сопки и дорогу на Нерчинский завод.

Чуть виднелся справа новенький деревянный барак для вольнокомандцев, где оставалось несколько политических. Влево уходили вдаль внетюремные строения и каменный дом управления Нерчинской каторги. Едва заметной точкой виднелся домик, где была наша школа. Все до жути знакомое, изученное.

Острая радость охватила меня—наконец-то вырвался из этой невольной обители, где пришлось пережить столько необычайных и неповторяющихся в жизни впечатлений, откуда не чаял уже и выйти живым!

И вместе с тем была щемящая тоска: как-будто оставил там внизу частицу самого себя, что-то родное и близкое.

Промелькнули на миг впечатления последнего дня: неожиданный вызов в контору; телеграмма из Питера от сестры—«разрешено ехать ссылку свой счет»; короткий наказ «Коваля» [2]—«выехать не позже вечера следующего дня, иначе отправлю этапом»; ночь у товарищей в «вольной команде»; утром—вольная одежда, сборы, прощания и от'езд, грусть остающихся...

Шесть долгих, бесконечных лет остались в Зерентуе. Крайние вольности, моменты громадного душевного под'ема и коллективного творчества—и затем... Высоцкий, Созонов, губернатор Княшко

[1] Елань—по-сибирски—лощина меж гор.

[2] Начальник Зерентуйской тюрьмы в 1913 г., Ковалёв. Ко мне была применена «амнистия» 1913 г.

с Ковалевым, «покой кладбища» в тюрьме... Прощай, Зерентуй! Вспомню лихом, вспомню и добром...

Через два дня безостановочной езды я стоял уже у окошка почтового отделения на станции Борзя, Манчжурской ж. д., и спрашивал почту до востребования.



Окр. Баргузина. «Карлово поле» дек. Кюхельбекера.

Мне подали две телеграммы: одну из Зерентуя, от начальника почтово-телеграфной конторы Потемкина, с извещением о переводе денег, присланных из Питера; другую—от большой группы питерских товарищей, работников легального марксистского журнала. Поздравляли с освобождением от каторги. Подписей было много. Помню только Левицкого (Цедербаума) и Маевского.

Это была первая ласточка «с того берега».

Среди песков.

Не останавливаясь в Чите, я выехал дальше — к своей «волости». Уходить с пути мне нельзя было: из Питера сестра собиралась ехать ко мне, повидаться и посмотреть кусочек сибирской ссылки.

Мне было назначено село Творогово, Кабанской волости, Баргузинского уезда, верстах в 30—40 от юго-восточного берега Байкала. Сюда назначали обыкновенно всех политических нерчинцев, выходцев из России. Сибиряков и дальневосточников направляли большею частью в Якутку.

С полдня езды от Читы до ст. Большереченск, потом 2—3 часа в трясучей двухколке по песчаной дороге—и я оказался среди старых и новых друзей, в ссылке на поселении.

Творогово было довольно крупным центром. Далеко раскинулось оно по берегам какой-то речушки, среди песков и редкой растительности. Были здесь торговые ряды с многочисленными лавками, попадались и 2-х'этажные каменные дома. Место было совсем не глухое, часто приходила почта.

С сибирским населением мне уже приходилось встречаться года 4 в вольной команде в Зерентуе, куда из всей округи привозили к нам на учебу крестьянских и казачьих детей. Забайкальцы ничуть не напоминали забитых и задавленных нуждой и темью крестьян из Великороссии. Жили здесь крепкими, хорошо застроенными дворами: лес был недалеко и в изобилии, дома строились просторные.

Чем тут промышляли жители, не помню. Бойко шла торговля на базаре,—крупнейшие лавки принадлежали евреям. Я не заметил какой-либо национальной розни между ними и крестьянами [1], что выпячивалось обычно в селах далекой России.

Явно заметно было свободомыслие и вообще вольномыслие местного населения—типичная черта в прошлом да, вероятно, и сейчас для сибиряков. Сказались в этом вольные просторы, таежные, глухие леса, незнание традиционного «барина», суровые стихии и особый уклад сибирского села и города.

Нас не дичились. Наоборот. Знали, за что и какая «политика» идет сюда. Нам явно сочувствовали, а среди еврейства были даже в разных селах «злоумышленники», оказывавшие ссыльным крупные услуги, особенно при побегах. Мне с ними не пришлось сталкиваться, но они были.

В Творогове я застал небольшую колонию ссыльных, душ в 15, в том числе нескольких женщин. Жизнь текла скучно, серо и ограниченно. Помню только 2-х товарищей: А. А. Яковлева и немца Шнейдера. Здесь не задерживались надолго: кто мог и хотел, уходил сразу или через короткий срок после прибытия. Надзор был слабый: какой-то жандарм, или местный полицейский, приходил по утрам или вечером проверять братию, и память не сохранила особых при этом осложнений.

В Творогове я пробыл очень короткий срок—месяца два, и не вспомню сейчас, чем жили здесь ссыльные. Препятствий к работе, видимо, не было, потому что я очень скоро получил урок, и это не потребовало каких-либо разрешений и формальностей. В других местах было похуже.

Немец Шнейдер, как и в Зерентуйской вольной команде, столярничал с кем-то в компании. Человек это был простой, милый, из большой группы рабочих Александровска (Екатеринославск. губ.), осужденных за восстание 1905 года. Шнейдер тут же в Творогове и умер, после моего от'езда, кажется, от разрыва сердца.

А. А. Яковлев—типичный интеллигент, из крупных соц.-рев., с большим литературным талантом, который сказывался уже в Горном Зерентуе. Человек он был очень общительный. На людях Яковлев был всегда коноводом, умел увлечься и увлечь других. Помнится, даже меня, домоседа, ему удалось соблазнить рыбной ловлей, и притом по-настоящему: с бреднем. Раздевались и лазили по каким-то озерам, тянули по ним бредень, но толку, кажется, было мало от наших рыбачьих затей, как ни надрывался и ни организовывал нас Яковлев. То ли рыбы не было, то ли она уходила из-под рук «опытных» рыболовов.

[1] Явление — характерное для Сибири вообще. С другой стороны, и еврейство ассимилируется здесь, как нигде.—*Ред.*

Летним вечером однажды, при выходе со двора, я столкнулся лицом к лицу с сестрой. Как-то незаметно, без шума под'ехала она на таратайке, тихонько расплатилась с ямщиком и шла ко мне с чемоданчиком в руках.

Такою была и она сама, и вся ее жизнь—тихая, незаметная, но солнечная для других...

Когда мы оба пришли в себя, полилась из ее уст длинная эпопея о том, как она вызволила меня из Зерентуя и как получила право ехать в Сибирь. Добиться того и другого было не легко.

Прожила она у нас дня 3—4 в Творогове, быстро перезнакомилась со всеми, раскритиковала наши скучные, серенькие будни, много рассказывала любопытного об общественной жизни и рабочем движении. По ее инициативе колония устроила два вечера. На первом из них Яковлев читал нам свою новую беллетристическую вещь. Была она сильно написана и очень напоминала по идее савинковское «То, чего не было» («Три брата»)—пересмотр идеологии терроризма. Я не знаю, удалось ли автору напечатать эту работу до своей нелепой гибели на полях Вердена во Франции.

На последнем прощальном вечере—перед от'ездом моим и сестры из Творогова — Яковлев прочел нам почти целую книгу стихов Бялика, привезенную сестрой из Питера. Бялик в ту пору имел большой успех: его блестящий талант вылился в пламенных стихах о еврейском «гетто». Особенно были хороши песни о погроме. В мастерском чтении Яковлева они произвели на нас огромное впечатление, и этот вечер сильно врезался в память...

В общем, жизнь в Творогове была довольно неприглядна и, главное, не давала нужных мне гарантий в смысле заработка. А его должно было хватить на нас двоих, да еще прикапливать надо было «на запас»: я не собирался долго оставаться в ссылке.

Между тем поблизости, на самом Байкале, в Мысовске, жили и очень недурно зарабатывали уроками мои прежние сотоварищи по Зерентуйской школе. С их согласия, сестра поехала в Читу просить Кияшко о моем переводе в Мысовск. После прошлогодних своих подвигов на каторге, этот «бравый вояка» стал неожиданно «либеральничать», как бы ища даже повода проявить свою «милость». Некоторым из ссыльных он стал разрешать жить даже в самой Чите.

Просьбу сестры он удовлетворил немедленно. Через несколько дней после ее возвращения в Творогово из Читы пришла телеграмма с разрешением ехать в Мысовск.

В Мысовой.

До оборудования Кругобайкальской ж. д. ст. Мысовая была важным железнодорожным и водным пунктом, куда на особых судах доставлялись через Байкал целые железнодорожные поезда

с конечного пункта Иркутской ж. д., со станции Лиственничной. Тогда вокруг Мысовой вырос целый городок.

В наши годы это была обычная промежуточная станция, где поезда задерживались лишь несколько минут.

Поселок числился на положении заштатного городка, имел тысячи 2—3 жителей и свое городское «самоуправление».

Никакой будущности этот городишко не имел, и жил он только одной довольно утопической надеждой—авось, проектируемая железнодорожная линия на Кяхту пойдет от Мысовой, а не от Верхнеудинска.

В Питере, в Иркутске и в Верхнеудинске из-за этого вопроса шла уже многолетняя битва: ездили делегации, летели докладные записки, устраивались совещания и обследования. Мысовск тоже воевал и пыжился; забегая немного вперед, должен сознаться, что в этой жаркой битве сибиряков участвовал и я в качестве—анонимного, конечно, составителя брошюры, которая от имени Мысовского самоуправления должна была кого-то убедить в необычайной важности для Сибири варианта Кяхта—Мысовск.

Линия эта благополучно ждет своего разрешения до сих пор, и судьба Мысовска еще не определилась.

Не знаю, как сейчас живется в этом захолустье. В 1913 г. от былых красных денечков оставался только полуразрушенный огромный деревянный мол, у которого я не помню за все время моего пребывания остановки хотя бы одного парохода. Да еще было здесь довольно зажиточное купечество. Промышляло оно торговлей и заготовками скота,—вероятно, и контрабандой из Кяхты.

Большое оживление здесь бывало летом, во время ягодного сезона. Мысовск был настоящим малинником: в ближайших лесах целые районы были сплошь заняты кустами малины, и только ленивый не собирал ее. Со станции эта ягода отправлялась тогда целыми вагонами в Иркутск и в Россию. В меньших размерах собиралась еще одна очень вкусная ягода—ежевика: варенье из нее выходило чудесное.

Вообще, Прибайкальский край богат всякими возможностями. В недрах гор водятся залежи ценных руд и минералов; в сплошной тайге, по берегам Байкала, стоят неиспользованными лучшие сорта строевого леса, водится пушнина; в самом Байкале есть рыба и тюлень.

Нам рассказывали, что кое-где по Байкалу буряты лечатся от сифилиса, выскребывая черенками в горах ртуть для втираний.

Сам Байкал летом—необычайной красоты. От прибрежных гор и облаков он ежеминутно меняет освещение. Краски здесь сильные, сочные, буйно-яркие. Таких закатов, как на Байкале, я нигде не видал.

В Мысовск мы приехали с сестрой в середине чудного прибайкальского лета. Стояли очень жаркие дни, но красавец-Байкал умерял их своим дыханием.

Мы застали здесь небольшую, тесно сплоченную и дружную семью ссыльных. В центре ее были Р. И. Малецкий [1] и В. М. Серов, б. член Государственной Думы. Оба учительствовали, обучая детей местного купечества и железнодорожников.

Жили двумя гнездами. Малецкий и Серов были соседями из-за удобства обмена учениками и разделения учительского труда по специальности. Ребятишки перебегали со двора на двор то к одному, то к другому учителю, создавая большое оживление и суету. Этот уголок был под особым—хотя, может быть, и вынужденным—покровительством местных властей, начиная со станового пристава Букаса, все четверо детей которого обучались в этой своеобразной школе.

В другом гнезде жили коммуной остальные, под крылышком и попечением пани Шатковской, о которой речь будет ниже.

Я снова вклинился в учительскую компанию, сняв флигелек во дворе чеха Старка, где жил и Серов. Разбитое года 2 назад в Зерентуе, наше совместное учительство снова и без помех возобновилось здесь. Я был особенно доволен тем, что сестра получила хороших друзей, покой и отдых на все лето, и целиком ушел в педагогику.

Материальные заботы о всех нас несла Шатковская—тип очень интересный. Была она сахалинка, кажется, за убийство мужа. После расформирования Сахалинской каторги, Шатковская пошла на Нерчинскую каторгу и, с прижитым от какого-то офицера ребенком, очутилась в вольной команде Зерентуя. Здесь она нанялась в услужение в школу Малецкого, где я ее и застал летом 1909 г. Это была старая и измученная жизнью полька, с норовистым характером. Но ей все прощалось за необычайную честность и неиспорченность и за ее удивительного ребенка.

Хельця—так звали ее 3-летнюю дочку—была всеобщей любимицей не только у нас, вольнокомандцев, но и у всей администрации Зерентуя. Девочка была, действительно, прелесть и умница. Когда собирались ребята в школу, Хельця была здесь признанным кумиром. Она вертелась среди нас и во время занятий, переходя с рук на руки среди тех, к кому она особо благоволила.

Мать не уберегла ребенка, и он умер года через 2 на наших руках. А Шатковская еще раз вышла замуж—за вольнокомандца-сапожника, пьяницу и забулдыгу, была им нещадно бита и скрывалась от него у нас в школе. Потом похоронила и его, ушла на поселение и снова перекочевала к нам.

Хорошо жилось в Мысовске летом 1913 года.

Большинство из нас имело заработок и помогало остальным.

Чудное лето, Байкал, горы и леса, наезжая из Иркутска молодежь, кучка местной интеллигенции,—все это давало возможность

[1] Ныне член ВКП, секретарь Комакадемии

каждому устраивать свою жизнь по вкусу. Большого полицейского надзора мы за собой не видели. Изредка наезжали жандармы с обыском, да и то обычно нас об этих визитах предупреждали. Городской голова—поляк Чижевский—был нашим приятелем и наносил нам визиты. Местное население относилось к нам с достаточным уважением, ценя нашу работу. Это выражалось, между прочим, и в кредите в местном «универмаге» купца Гольцмана и др. Мы получали книги, журналы, газеты, даже и такие, как «Правда» и «Луч», и всех их многочисленных преемников под разными другими названиями.

И, тем не менее, Мысовск был—по крайней мере, для некоторых из нас—лишь золоченой клеткой.

Томился с виду веселый и сердечный Душин. Был он когда-то с.-р. Потом эта идеология оказалась на ущербе. Человеку не нашлось места, куда деться и что делать. И он тосковал.

Тяжело было и «Васильку», как мы звали Серова. У этого создалась личная драма: его жена оказалась провокатором, и с нею он потерял 2-х прелестных детей.

Мысовск привлекал до поры до времени только тех, кто мог и хотел акклиматизироваться в ссылке: жениться, иметь постоянный заработок и т. д. Таких было у нас 2—3. Остальные, как волки, все время смотрели в лес: как бы уйти получше и покрепче в Россию или за границу.

К числу этих последних относился и я.

Уехала к концу лета сестра в Питер, но крепко наказывала: не спешить. А я и во сне и на яву видел за границу. Стал усиленно собирать деньги на дорогу и искать «сапоги»—хороший паспорт.

Прикопив немного денег, я с помощью товарищей уселся однажды июльской ночью в поезд и, никем не замеченный, укатил на запад, порвав с Сибирью навсегда.

С. Корочкин.

История одной столовки.

1. Общие условия киренской ссылки.

Киренский уезд—самый северный в Иркутской губернии. Он граничит с севера с Якутской областью (теперь Якутской республикой). Начиная с 1909 года, царское правительство стало населять его довольно усиленно политическими ссыльно-поселенцами. К этому времени южные уезды Иркутской и Енисейской губерний были уже густо заселены. Там оставляли теперь только больных, женщин или по особому ходатайству.

Киренский уезд представлял для правительства определенные удобства: он предотвращал побеги ссыльных с места их поселения. От железной дороги до Киренска 1000 верст. Дорога только одна—по Лене: зимой на санях, летом в верховьях на лодках, со средины течения—на пароходах. Обойти этот путь, изменить его на другой почти не представляется возможным. Вот почему даже такой хорошо организованный побег, как побег Е. К. Брешковской в 1913 году, не удался. Но побеги были невозможны для ссыльных еще, главным образом, потому, что они требовали больших средств.

Не даром Киренский уезд был облюбован царским правительством для поселения. Политические (так для краткости будем называть в дальнейшем политических ссыльно-поселенцев, тем более, что это название укоренилось за ними и со стороны тамошнего населения и сибирского начальства) попадали в Киренском уезде в тяжелое положение. Некоторые из ссыльных иногда серьезно жалели о тех тюрьмах, в которых они до того сидели. Тюрьма так или иначе давала заключенному кров и пищу. В тюрьме можно было заниматься самообразованием, и многие тюрьмы были лучшими университетами для нашего брата. На поселении надо было с величайшим трудом добывать кусок хлеба. В первые шесть месяцев по закону, а в действительности не менее года, политический обязан был жить безвыездно в той волости, куда его прикрепили. Заработков же там почти никаких найти было нельзя.

Вполне понятно, что каждый политический первый год жил мечтой получить паспорт по уезду. Но даже с паспортом в кармане

приходилось не особенно сладко. Положение улучшалось лишь отчасти. Нельзя было жить в уездном городе, затем в Бодайбо и на золотых приисках. Конечно, эти ограничения обходились, но они стоили часто 2—3 месяцев тюрьмы и этапа в свою волость. Больше всего стягивалось нашего народу к Киренску. Здесь мы поселялись за Леной или за Киренгой в одной из ближайших к Киренску деревень (Киренск стоит на острове, образуемом течением Лены и дельтой впадающей в нее Киренги): Мельничной, Воронина, Бочкарева, подыскивали себе в городе работу, а потом ежедневно ездили на работу и с работы в собственных лодках.

Тяжелые условия жизни в ссылке и присущие политическим общественные навыки толкали их на разные начинания общественного характера. Создавались коммуны, артели (например—лесорубов, грузчиков, огородников), кассы взаимопомощи, столовые и т. д. Но большинство этих начинаний постигала неудача. Киренская колония в собственном смысле (Киренск с тремя прилегающими вышеуказанными деревнями) не избежала общей участи других колоний уезда. На почве же неудачных попыток самоорганизации, среди политических появлялись конфликты, раздоры, охлаждение к общественным вопросам. Люди уходили в свою скорлупу, в лучшем случае жили интересами небольших групп. Огромное большинство очень сильно бедствовало, хотя по виду этого нельзя было сказать, так как крепились. Обеспеченный, постоянный заработок имели лишь немногие счастливцы.

Под влиянием тяжелой материальной обстановки, точнее сказать, буквально от голода, в феврале 1913 года умирает живший в Бочкареве Давид Гербовский. Это был интересный товарищ, хороший марксист. Только после его смерти мы поняли, как сильно голодал он изо дня в день. Летом он заработал рублей 50 и на них тянул, пока было можно. Но в таком положении были очень многие из нас, это было заурядное явление. Особенностью Гербовского было лишь то, что он никому не говорил о своей нужде. Смерть его расшевелила несколько ссылку. В то же время помочь как-либо себе не предвиделось возможности. Единственным положительным результатом смерти Гербовского было то, что она породила мысль об образовании в Киренске столовой политических ссыльно-поселенцев..

2. Первые шаги столовой.

Вопрос о столовой на первых порах принял филантропический уклон. За это дело взялись, главным образом, обеспеченные, имевшие заработок, жившие семьями. А они-то как-раз меньше всего и нуждались в столовой. Организуя столовую, они хотели помочь своим нуждающимся товарищам. Первое организационное собрание состоялось на квартире Романенки или Зеленова (с.-р).

Приглашены были туда ссыльные с большим отбором, кажется, исключительно имеющие заработок и при этом долго жившие уже в Киренске. По крайней мере, целый ряд близких моих товарищей (Караваев, Кокушкин и т. д.) и сам я на это собрание приглашения не получили и о собрании услыхали позднее.

Во всяком случае, открытие столовой было встречено всеми сочувственно. Если в самые первые дни обедающих в ней было не более десятка, то скоро число их поднялось до 40—50. Вместе с открытием столовой, казалось, подуло свежим, легким ветерком, пришедшим на смену разобщенности ссылки и голоданию в одиночестве. Но первые практические шаги столовой почти никого не удовлетворяли, за исключением разве организаторов, которые в ней не обедали и приходили сюда лишь для наблюдения.

Столовая страдала отсутствием какого-либо порядка. Не было заказа обедов накануне, почему, придя с некоторым опозданием, можно было обеда уже не получить. Не велось точных записей отпущенных обедов. Отметки делались самими обедающими и, конечно, кое-как. Уплата денег записывалась небрежно. Кто платил, кто не платил. Об отчетности не было и помину. Между столовой и кассой взаимопомощи, при которой по первоначальной мысли учреждалась столовая, не существовало какого-либо разграничения. Это был один общий карман. Как увидим дальше, это привело через короткое время столовую в критическое положение.

Но раньше, чем рассказать об этом, остановлюсь на одном событии, которое взбудоражило Киренскую колонию и произвело в ней раскол. Остановиться на этом событии следует потому, что оно тесно связано было со столовой, имело некоторые последствия для столовой и рисует нравы ссылки того момента. Случилось же вот что.

В первый день пасхи у качелей в Мельничной подралась под пьяную руку с парнями группа политических, преимущественно, кажется, бывших матросов, наших грузчиков-силачей. Затем эта группа у кого-то побила стекла, пошла в город и там надебоширила. Правление кассы взаимопомощи, состоявшее в эту минуту исключительно из с.-д. (Фаддеев, Клипов и еще, не помню, кто), решило наказать виновных—не отпускать дебоширам обедов. Но это был не такой народ, чтобы стерпеть такую обиду. Они на другой же день пришли в столовую и, так как повар им не налил тарелок, сами подошли к котлу и взяли, что нужно. Так было и в следующие дни. По адресу правления с их стороны раздавались угрозы. К ним присоединились и другие, которые считали, что правление слишком по-диктаторски поступает. Что обиднее всего, в число этих последних попало несколько человек таких, на которых, например, наша группа смотрела до тех пор с большим уважением. В результате, нас несколько человек прекратили с некоторыми раскланиваться при встречах.

Вышло как-то так, что вся с.-р-овская группа нашей колонии была на стороне дебоширов. С.-р. устроили собрание из своих сторонников, не допустив туда даже правление, об'явили последнее отстраненным и выбрали новое правление. Впоследствии в своей среде мы много острили над своими неудачными правленцами—что значит быть правительством при невыгодном соотношении сил!—но тогда было не до смеху. Как бы то ни было, мы не теряли надежды, что придет праздник и на нашу улицу. Было совершенно ясно, что господство с.-р. будет недолговечно. Вся их верхушка, вошедшая в правление, должна была скоро, с открытием навигации, из города уехать, так как это были преимущественно пароходские служащие. Для нас не было также сомнения, что с.-р. не наладить дел столовой, которая с каждым днем клонилась к упадку. Порядок не улучшался. Повара, которых было в столовой два человека, получали мизерное жалованье, на которое нельзя было существовать. Филантропия для обедающих сказывалась плохим положением поваров.

Жизнь работала за нас. С.-р-овские генералы, как мы и ожидали, раз'ехались—кто на сплав, кто с пароходами. Наша же группа с весной убыли почти не понесла. Мы оставались в Киренске или на поденной работе, или па грошевых уроках, или в расчете на предстоящую грузку. К этому времени мы решили заняться делами кассы и столовой вплотную, чтобы их оздоровить. Мы отказались также от того обычая, который применялся нами раньше: посылать заложниками своих товарищей в с.-р-овское правление или предоставлять с.-р-овскими голосами избирать наше непрочное правление, как только-что описанное.

Скоро для нас сложились подходящие условия. Оставшиеся в городе с.-р., чувствуя свою неустойчивость и желая пойти на примирение с нами, созвали общее собрание колонии, т.-е. всех живущих около Киренска политических. Пред нами предстала очень неутешительная картина состояния кассы взаимопомощи и столовой. Денег почти не было. В связи с летом и возможностью заработка, поварам нужно было прибавить жалованья и в то же время не из чего. Не помню точно, было ли там предложено доизбрать к правлению кандидатов или избрать комиссию с поручением ей разработать план дальнейшей работы (вернее—последнее), но только в числе этих избранных оказались из с.-д. Якум А. С. и я. Это был пробный шаг с нашей стороны, и он показал, что соотношение сил изменилось в нашу пользу.

3. Реорганизация столовой.

Нами (мною и Якумом) был разработан новый устав кассы взаимопомощи и план работы столовой. По обоим вопросам наши проекты оказались достаточно солидными и в правлении возра-

жений серьезных не встретили. На общем собрании, несмотря на оппозицию по каждому решительно вопросу не только со стороны рядовых участников собрания, но, к нашему удивлению, и правления, наша точка зрения восторжествовала. Из организации кассы взаимопомощи и столовой мы устраняли прежний характер благотворительности.

В кассу входили все неопороченные политические ссыльные. Невходящие в кассу взаимопомощи являлись, таким образом, дикими, неорганизованными и не могли, как правило, пользоваться нашими учреждениями. Таким образом, отменялся прежний принцип колониальной (т.-е. всеобщей) организации ссыльных. Члены кассы вносят ежемесячно взнос в размере 1% своего заработка. Безработные взносов не делают. Столовая превращается в самостоятельную хозяйственную единицу при кассе взаимопомощи. На ведение дел касса отпускает столовой фонд, который числится за ней до его погашения. Хозяйственный принцип столовой—самоокупаемость. Столовая отпускает обеды и в кредит, но с разрешения кассы, на определенный срок и на определенную сумму. За неимущих (больных, инвалидов, заключенных) платит касса.

Вводилась строгая отчетность по столовой и по кассе. Обеды отпускаются по заказам накануне. Допускается получение неполного обеда—одного первого блюда, первого без мяса, второго блюда и т. д. Жалованье поварам было установлено приблизительно в размере среднего месячного заработка грузчика. Плата за обеды назначалась с небольшой надбавкой к себестоимости продуктов.

Указанные принципы были приняты значительным большинством собрания. Ряды с.-р. были дезорганизованы. Когда дело дошло до выборов правления, мы оказались победителями. Из 5 членов правления трое было наших и двое с.-р. (с.-д. — Крюков, Корочкин, Кокушкин, с.-р. — Пономарев, Лихачев).

Как ни тяжела была ответственность за судьбы столовой и кассы, сами обстоятельства помогали новому правлению. Большинство или почти все обедающие, за редкими исключениями, где-нибудь работали. Правление обратилось к обедающим, чтобы они вносили авансы. Авансы стали поступать успешно. Число обедающих быстро росло. Благодаря лету, через Киренск проезжало много ссыльных и вверх и вниз по Лене. Колесо завертелось. Столовая стала расширяться. Произвели ремонт кухни, приобрели запас новой посуды.

Среди членов правления кассы произвели строгое разделение труда. Главные должности в правлении были две: казначей кассы взаимопомощи и эконом, ведавший столовой. В силу об'ективных условий, должность эконома была всегда более значительной, веской, почему мы старались ее всегда сохранить за с.-д. и усту-

пали должность казначея с.-р. Обе должности не оплачивались. Только с течением времени, когда столовая разраслась, когда возникли новые хозяйственные предприятия, эконом стал оплачиваться.

4. Роль столовки в жизни киренской ссылки.

С каждым днем столовая становилась прочнее на свои ноги. Она оказалась центром, сплотившим ссыльных Киренска и его окрестностей. Молва о ней расходилась среди ссыльных очень далеко, по всей Иркутской губернии. Это был своего рода клуб, которых мы, понятно, в то время не имели. Тут можно было встретить почти всех политических или же, во всяком случае, получить подробную информацию о каждом из них и о всех событиях не только Киренска, но и всей ленской ссылки. Столовая производила и известный отбор ссыльных. Ссыльный, чем-либо скомпрометированный, в столовую не заглядывал, так как боялся неприятных встреч, разговоров. Точно также омещанившиеся, погрязшие в обывательском болоте, не любили столовки, обходили ее. Им неприятно было царившее там оживление, обсуждение злободневных политических событий.

Столовая завоевала себе прочное положение. Особенно развивала она свою работу летом. Тогда число обедающих доходило до 200 человек. На кухне работало уже 3 человека—повар и два помощника. Зимой обедов выдавалось около 100, при штате на кухне в 2 человека. Столовая вернула кассе взаимопомощи все произведенные на нее затраты и стала даже иметь некоторую сумму за кассой. Скептически относящихся к столовой становилось меньше и меньше. Критики столовой признавали в то же время ее успехи, но ставили ей в упрек, что ее деятельность очень узка, что правление хочет усыпить внимание ссылки «поэзией цифр».

Конечно, наша столовка в Киренске с его двухтысячным населением скоро стала известна всем, хотя она и находилась в глубине двора одного большого дома и по своему виду походила на те флигельки, в которых часто укрывались подпольные типографии. Одновременно с этим прослышало про столовку и наше уездное начальство. Вначале мы каждый день ждали, что нас прихлопнут. Во-первых, мы существовали без всяких патентов, хотя и вели большое дело. Во-вторых, как лишенные всех прав состояния, мы и не могли ни на кого из наших брать патенты. В-третьих, мы полагали, что исправник будет против столовой, как места сборищ.

Но наши страхи оказались излишними. Никаких репрессий и даже угроз репрессиями не последовало. Наоборот, столовая была признана, очевидно, как учреждение вполне легальное. Время от времени в столовую заходил маленький городовой из полицейского управления с разносной книгой и разыскивал тех из ссыль-

ных, кто ему был нужен. Если бумажка была неопасная, касалась выдачи паспорта, приписки к крестьянскому обществу, то разыскиваемый тут же находился, или мы указывали его местожительство. В других случаях, когда приглашали ссыльного в полицейское управление и пахло неприятностями, то сам же заинтересованный громче всех заявлял, что такого-то нет и он неизвестен. Это отчасти рисует те сравнительно «патриархальные» нравы, которые были присущи нашим киренским властям.

Был один или, кажется, два случая, когда столовая была посещена исправником и его помощником. При этом они очень умно сделали, придя туда тогда, когда обеды кончились и там оставался эконом с поварами. Они обследовали внимательно столовую и кухню и высказали ряд соображений практического и санитарного характера. После этого мы уверились, что нашей столовой ничего не грозит, что за ней признаны все права гражданства.

5. Касса взаимопомощи.

Столовая вышла из недр кассы взаимопомощи. Но она, вместе с тем, оживила деятельность кассы, способствовала ее процветанию. Сделала это столовая прежде всего тем, что теснее сплотила вокруг себя всю ссылку, стала удобным местом ежедневных встреч и облегчала проведение в жизнь всех решений общего собрания кассы или правления. Затем столовая была самым наглядным и необходимым делом кассы, тогда как в получении ссуд и пособий нуждались лишь единицы. Совершенно ясно, что на общих собраниях кассы, которые в нормальных условиях стали созываться не чаще 2—3 раз в год, вопрос о столовой занимал всегда одно из видных мест.

Наша с.-д. группа (в которой были б-ки и м-ки; при чем перевес был скорее на стороне первых), завоевавши большинство в кассе взаимопомощи, затем до самого конца кассы не упускала из своих рук руководства ею. Перед каждым общим собранием кассы мы заблаговременно собирали свою группу. У нас было проведено, что все члены группы должны быть и членами кассы. Наша правленская и ревизионная часть отчитывались перед группой, получали тот или другой нагоняй, а затем мы действовали, как один. Список будущего правления и ревизионной комиссии мы намечали па группе, и почти всегда, за исключением одного случая, когда латышская часть нашей группы нарушила дисциплину, нам удавалось проводить его в том самом именно виде. Даже с.-р-овские кандидаты у нас подвергались обсуждению. Нежелательных отводили. У нас было выработанное соотношение: в правление—3 с.-д., 2 с.-р.; в ревизионную комиссию—2 с.-д., 1 с.-р. Конечно, с.-р. злились, они были постоянной нашей оппозицией, но поделать ничего не могли, а уходить из кассы не хотели. Были

у нас и анархисты. Число их доходило, пожалуй, процентов до 20. Но они представляли собою очень пеструю группу, дробились на разные течения, враждовали смертельно друг с другом, а поэтому какой-либо силой не являлись. Их мы не принимали обычно в расчет, на собраниях они ограничивались лишь беспредметной критикой. Попробовали мы один раз привлечь к работе в правлении одного уважаемого всеми анархиста, но из этого ничего не вышло. Так потом мы эту мысль и оставили.

Постепенно разрастаясь, касса взаимопомощи все больше охватывала нашу жизнь. Так, ее делом была организация наших общих праздников. Такими праздниками были —1-е мая и встреча нового года. На праздники—особенно под новый год, так как 1-е мая совпадало с моментом, когда многие из Киренска раз'езжались— собиралась почти вся ссылка.

У нас действовал свой суд. По незначительным вопросам решало правление кассы взаимопомощи: если, например, дело ограничивалось порицанием, лишением права пользоваться на известное время учреждениями кассы. В случаях, когда дело клонилось к исключению из среды ссыльных, создавались особые судебные комиссии. Особенно громких дел было у нас два: Толстопятова— Косухина и Третьяка—Скворцова. В первом случае, Толстопятов (подкоп под своего товарища по службе) был исключен из кассы и затем лишился даже своей должности бухгалтера в торговой фирме Громовой. Третьяк (избиение товарища) был признан действовавшим в состоянии сильного душевного волнения, вызванного неуместным поведением Скворцова, и только лишен был права занимать выборные должности. По обоим делам решение суда дало необходимое удовлетворение общественному мнению ссылки.

6. Новые предприятия.

На втором году существования столовки была открыта пекарня. Интересно, как мы подошли к этому вопросу. Для столовой нужно было порядочно хлеба. В городе была всего лишь одна небольшая пекарня, и, кроме того, хлеб выпекался для продажи рядом мелких торговцев в домашних печах. Зависимость от единственной пекарни была очень стеснительна. Поблизости от столовки пустовало помещение, в котором была раньше пекарня. Заарендовав это помещение и отремонтировав печи, мы получили недурную пекарню, самую большую в городе, и при ней же открыли торговлю хлебом и другими изделиями. Через короткий промежуток времени наша пекарня стала сильнейшим конкурентом для других пекарей, и почти все снабжение хлебом проходящих пароходов перешло в наши руки.

Еще через год касса взаимопомощи открыла на берегу Лены, у места остановки пароходов, небольшую лавочку. Дела этой л. -

вочки пошли тоже хорошо. Пекарня и лавка были открыты на имя двух полноправных женщин—жен наших товарищей. Хотя «хозяйки» никогда не показывались в своих предприятиях и все считали эти предприятия принадлежащими ссылке, власти никакого внимания на это не обращали.

Так мало-по-малу наша касса взаимопомощи обросла рядом хорошо действующих учреждений. Ее деятельность вышла до известной степени за пределы среды политических. Замкнутый характер сохранила лишь столовка.

7. Заключение.

Столовка сослужила большую службу политической ссылке. Пережив несколько этапов в своем развитии, столовая устояла, сохранилась, обнаружила свою жизненность. Сменялись люди—одни приходили, другие уходили, а столовка оставалась на своем месте. В 1915—1916 годах к нам почти не прибывало новых политических ссыльно-поселенцев, зато прислано было несколько десятков административных из Москвы и Питера (в том числе был т. Плетнев). Это был уже новый народ, только-что вырванный из активной политической борьбы. И всех собирала под своей крышей наша столовая.

Об'яснения успехов столовки, а вместе с ней и всей кассы, надо искать в том, что она была построена на здоровых хозяйственных основаниях. Второй особенностью столовой было то, что она была делом самой массы политических. Это давало ей особую устойчивость и жизненность. Касса взаимопомощи в целом была хорошей кооперативной организацией, хотя и не носила этой вывески по вполне понятным причинам.

Столовая и касса взаимопомощи пережили Февральскую революцию, после которой они оказались уже ненужными. Их история кончилась, но свою роль в жизни киренской ссылки они сыграли. Каждый бывший киренчанин с удовольствием вспомнит свою столовку в небольшом флигельке, приютившемся во дворе сзади высокого домища какого-то киренского домовладельца.

В. Кухарченко.

Черемховские копи.

В село Черемхово я приехал из поселка при станции Зима, Сибирской жел. дороги. Переезд мой был связан с поисками заработка. Несмотря, однако, на то, что Черемхово представляло собою богатый каменноугольный район и имело несколько каменноугольных шахт, уверенности в заработке у меня все же не было, и приехал я просто попытать счастья, пользуясь даровым проездом на паровозе с знакомым машинистом (обычный способ моего передвижения).

Впрочем, мне посчастливилось. На механическом заводике, при шахтах Щелкунова, механиком завода Аксаментовым мне было сначала заявлено, что слесари не требуются, но ответ этот был тотчас же изменен по причине... моего костюма. На мне были высокие сапоги и кожаная тужурка,—они-то и остановили на себе взгляд начальства, и мне был задан вопрос, знаком ли я с водопроводным делом. Получив ответ, что я только-что оставил работу по переустройству водоснабжения на станции Зима, механик изменил свое решение и принял меня на службу, и с этого дня я остался в Черемхове, служа на заводе и влившись в то же время в довольно обширную группу ссыльных и в ее работу среди шахтеров.

Работа велась, конечно, политической ссылкой. Подход наш к массе был особенно удобен в том отношении, что для работы не нужно было слишком конспирировать: ссылка непосредственно вливалась в массу, политики стояли за одним станком вместе с шахтерами, ломали уголь, сидели в конторах. Мы были не на нелегальном положении, наше бытие было официально, и это развязывало нам руки: ведь, мы были все осужденные, наше кредо отмечено приговором суда!

Два обстоятельства накладывали особый отпечаток на работу того времени: первое—темнота и беспробудное пьянство в праздники шахтерской массы, а второе—все еще остававшиеся коекакие обломки завоеваний революции 1905 года, в виде хотя бы революционной печати. Последняя уже сама собой толкала нас на путь широкой агитации, к стремлению вырвать массу из со-

стояния опущенности, вовлечь ее в водоворот событий, заставить быть небезучастной к стачечной волне в центре России, вовлечь в процесс сопротивляемости наступавшей реакции.

Полулегальная рабочая печать в центре России, конечно, была вполне нелегальной у нас в Сибири, но это обстоятельство не тормозило нашей работы. Газеты «Правда», «Луч», «Мысль» и дальнейшие, с измененными названиями, даже конфискованные на месте издания, доходили до нас посылками: с почтой дело было налажено, посылки нам выдавались, несмотря на то, что содержимое их было известно. Распространение газет было поставлено ши-



Дом, где происходил нелегальный с'езд ссыльных.

роко, и уже то обстоятельство, что оно не носило характера бесплатной раздачи (распространение шло по подписке), говорило об успешности работы. В связи с широким распространением газет столицы, в которых освещалась, однако, и наша рабочая жизнь, шли сборы на печать, на помощь стачечникам и т. п., и сборы эти, благодаря той же печати, были строго подотчетны рабочей массе.

Рядом с широкой нелегальной и полулегальной агитацией, шла работа культурническая: был организован при шахтах Щелкунова любительский хор из рабочих, устраивались чтения, вечера, была устроена елка для детей. Все это втягивало массу в водоворот новой жизни и ставило в более тесные и близкие отношения с политической ссылкой.

Рабочая масса охотно откликалась на все культурные начинания, несмотря на чрезвычайную разнокалиберность своего состава—

от местного крестьянина из уголовной каторги и новых уголовных ссыльных до пришлого крестьянина из центральной России. Недоставало ранее только активно будирующих ее групп, и таковым элементом явилась нахлынувшая политическая ссылка.

Иркутская губерния особо широко была насыщена ссылкой с 1908 г.,—до этого же времени насыщалась Енисейская. Отбывши положенный срок по волостям, получив право передвижения по уездам, ссылка двинулась к более населенным центрам уезда и, в зависимости от рабочего состава своего, нуждающегося в заработке, к более промышленным центрам. Черемхово, в силу этого, как-раз особенно сильно было заселено политиками.

Нахлынув в село, ссылка разбрелась по всем шахтам на различные работы; часть же товарищей занялась запрещенным трудом — уроками. В таких населенных центрах, как Черемхово, ссылка легко для постороннего глаза рассасывалась в населении. Ведя обычный образ жизни, служа и работая, политики представляли собою в то же время как бы некий коллектив, ведущий нелегальную работу, а Черемхово с его рабочим населением было богатым поприщем для этого.

Рабочие с доверием и с явной симпатией относились к ссылке, и быстро развернувшаяся широкая работа сблизила их с нами.

Через агитацию рабочей печати, через культурно-просветительную работу войдя в более тесные отношения с рабочей массой, политическая ссылка подошла и к организации профессионального союза.

Из партийных группировок среди работающей по организации шахтеров ссылки преобладали с.-д.—у них было больше сил количественно и качественно—но в общей обстановке Сибири того времени партийные расслоения не обострялись, столкновений не было, и работа велась дружным хором, чему способствовало и настроение рабочих, отрицательно относившихся к ожесточенной полемике фракций.

Из принимавших активное участие в работе среди шахтеров Черемхова в памяти у меня остались товарищи: Орлов, Зябликов, Сенюшкин, Коробков Виктор, Лопаткин, Коробков Александр, Голенищев-Кутузов, Воронков, Гутман.

Довольно широкий размах работы не мог, конечно, не обратить па себя внимания начальства. Вмешательства в нашу работу местной власти, правда, не было. Творившееся на ее глазах было, видимо, не по плечу для нее, и нашей работой обеспокоились уже власти губернского центра. После нескольких открытых чтений в школе и широко устроенной елки, в село нагрянули иркутские жандармы. Этот приезд носил, однако, разведочный характер. Во время работы на заводе нам было передано, что в школе копей находятся жандармы и ведут неофициальный допрос школьного сторожа. Ссылка встревожилась. Но все обошлось благополучно.

Механиком завода был извещен по телефону владелец копей Щелкунов, и ему выпало на долю вести об'яснения с гостями. Вечера, спевки, чтения,—все это устраивалось в школе без всякого на то разрешения; последнее обстоятельство и отвело нас в сторону.

В дальнейшем, в связи с тем, как работа естественно перешла на местную почву,—а именно, с переходом к назревавшей общей стачке копей,—углепромышленниками был поднят вопрос об освобождении Черемхова от ссылки. Хотя вопрос этот и не разрешился в их пользу, но понемногу они сами стали отделываться от неугодного элемента в розницу. Пишущему эти строки одному из первых, кажется, пришлось оставить Черемхово вкупе с несколькими товарищами.

Я получил расчет—с предупреждением, с удостоверением и даже с рекомендацией на другое место, но—с рекомендацией откровенной.

Механиком завода мне было заявлено, что так как сейчас осеннее время и трудно найти заработок, то он рекомендует меня на временную работу по ремонту па винокуренный завод, но что, рекомендуя меня, как работника, он не умолчал в то же время и как о ссыльном и для предприятия неспокойном человеке. Его собственное выражение: «Не так, как вы меня в своих газетах, но с другой стороны»...

Винокуренный завод, стоявший в стороне от железной дороги, не привлекал моего внимания. Подработавши там на временной работе и пользуясь правом жительства по всей Сибири, я скоро перебрался в Иркутск, куда уже была в то время тяга революционной ссылки.

Ядов.

Из ангарских переживаний.

Как бы отрывочны и мелки ни были факты каторжной, поселенческой и эмигрантской жизни каждого из нас, успевшего пройти все три стадии царской милости, они представляют, все же, большой интерес для лиц, не знакомых с подпольным бытом.

В процессе воспоминаний встают отдельные эпизоды, отдельные моменты, просящиеся под перо хорошего бытописателя. Будущий историк русской революции и русской Бастилии, пробегая страничкп личных переживаний каждого, найдет в них много штрихов, которые помогут ему разобраться в жизни каторги, ссылки и понять многое, что казалось непонятным, необ'яснимым.

20 октября 1912 г. было поворотным днем моей тюремной жизни. Я кончил каторгу и уходил в этап, в Сибирь, в холодную, но долгожданную Сибирь.

Как сладко прозвучала для меня команда:

— Кандальники, вперед!

Как гордо вышли мы 4, закованные в ножные и ручные кандалы, и выстроились в первом ряду, имея за собой человек 20—30 закованных в ножные кандалы и до 150 человек всякой «шпанки».

Нам четверым было лестно итти в первом ряду и быть закованными «по рукам и по ногам». «Значит, мы—серьезный народ, коли нас так заковали»,—думал, вероятно, каждый из нас, позванивая кольцами.

Выстроили, пересчитали—и:

— Партия, вперед!—команда офицера закрыла за нами двери Бутырок...

...Быстро сравнительно добрались мы до Иркутска, сделав только 2 остановки-дневки: в Самаре и Красноярске. Единственной неприятностью было то, что нас четверых не расковывали и в вагонах, и мы парились, как на полке парной бани.

Из Иркутской пересыльной тюрьмы, после 3-недельного пребывания там, мы, 19 человек, были направлены на Тулун—для следования по тракту на Братский Острог.

Политических среди нас было только 6 человек; из них трое должны были остаться в первой волости (название ее я уже не

помню), 2 человека в Братском Остроге, а я, как «самый буйный»,—хотя я и не считал себя таковым,—был назначен в Больше-Мамырскую волость, верст за 60—65 от Братского Острога.

И тут дело не обошлось без кандалов. Двое или трое были закованы в наручни и ножные кандалы. На наши протесты нам указали на статейные списки, где черным по белому стояло, что мы должны следовать до места ссылки в ручных и ножных кандалах. Недалекая воля, уверения уголовных, что мы раскуемся на первом станке—сделали нас уступчивыми, и мы, несмотря на конец декабря старого стиля, не обращая внимания на морозы, двинулись в путь.

Переезд по железной дороге от Иркутска до Тулуна ничем не отличался от обычной арестантской поездки: конвой был груб и так же старался урвать себе малую толику от 10 копеек, полагавшихся пересылаемому ежедневно.

К вечеру мы были в Тулуне и провели ночь в тюрьме, находившейся недалеко от станции.

На следующий день рано утром нас вызвали и передали 2 десятникам и 1 уряднику, которые должны были сопровождать нас до первого станка.

Пока шли селом, наше начальство держало себя очень строго, наблюдая за порядком и покрикивая изредка на отстающих...

Но вот мы оставили далеко позади последние дома,—впереди тайга, с одной единственной дорогой, которая... неминуемо приведет туда, куда надо!

Бодро и радостно двигались мы вперед: впереди, как-никак—«воля», а сзади—избиения, издевательства, карцер...

Верст через 25—30—станок, куда мы приходим к вечеру и помещаемся в земской избе.

Начинается колка дров, поиски у крестьян хлеба, картошки.

На дворе разводим костер—варим картошку, кипятим воду. Часть занята «кухней», другие пилят и колют дрова, носят солому в избу, топят в избе печь.

Спим прямо на полу, на соломе. Стража, в виде одного десятского, помещается тут же с нами.

Воспользовавшись отсутствием из избы цербера, один из уголовных предложил нам, кандальникам, расковаться, что мы и приняли с радостью.

Три сильных удара колуна по заклепке кандального кольца, и—ножные цепи валятся на пол. Наручни потребовали еще меньшего.

После чая и картошки мы все повалились спать, как убитые: свежий воздух, большой переход и масса новых ощущений утомили нас.

На следующее утро стража, увидав, что все раскованы, побурчала что-то под нос себе о беспорядке, и этим все кончилось.

До Братского Острога все шло гладко, за исключением разве того, что все мы поотмораживали себе руки, ноги, уши, щеки, носы. Тайга и станки чередовались друг с другом. Выходя рано утром, прорезая тайгу, мы к вечеру неминуемо приходили в намечаемое место, где и располагались ночевать.

Мрачным событием была у нас болезнь тов. Павла (фамилию забыл), шедшего в Братский Острог после каторги, которую он отбывал в Харькове. Он простудился, и мы с трудом довезли его до Братского Острога, где и сдали в больницу, из которой он уже не вышел, скончавшись на 5 или 6 день...

Тайга, дорога и поле возле деревни могут рассказать многое из жизни поселенцев. Кресты, встречающиеся очень часто, отмечают место убийства крестьянина или неизвестного бродяги.

Ссылка, создав бродяжничество, вызванное часто желанием найти себе дорогу, брала много жертв как среди крестьян, так и среди поселенцев.

Крестьянство было настроено враждебно к ссыльным и в наше время строго различало уголовного от политического. Если второму крестьяне помогали в побегах и вообще в жизни на новом месте, то первого они встречали очень недружелюбно.

Уголовные и, в частности, бродяги платили крестьянам тем же. Пустить красного петуха по деревне, убить, зарезать за полушубок или халат—это было обычным явлением, над которым уголовный не задумывался.

Наконец, мы добрались и до Большой Мамыри. Пришло нас туда 3 человека: я, по делу Военно-Технического Бюро Р.С.-Д.Р.П. (большевиков), и 2 эксиста из Питера.

Бумагу, а при ней трех ссыльно-поселенцев из каторжан, сдали сторожу волостного правления. Переночевали в волости на лавках, а наутро—опять бумагу, а при ней трех ссыльно-поселенцев из каторжан—сторож сдал волостному писарю Карнаухову, который нам об'явил, что мы должны являться еженедельно по субботам в волость для отметок и что отлучаться из села без разрешения мы не имеем права.

Мы это знали и не ждали лучшего.

Крестьяне, бывшие в волости, расспрашивали нас: кто мы, за что, откуда; рассматривали наши бумаги, интересуясь в то же время, не имеем ли мы чего-нибудь продажного. Конечно, у каждого из нас нашлось что-нибудь продать, и мы начали базарить.

Я точно помню цифры, за которые я продавал свои вещи: ножные кандалы—3 рубля; наручни—1 р. 50 коп. (вещи, необходимые крестьянам для спутывания лошадей); бродни—3 р.; коты—1 р.; халат—3 р. Потом, позднее, когда я получил свои вещи, я продал бушлат и штаны за 4 рубля. Вот все, что продал я. И это еще мало. Многие продают и белье, оставляя себе одну пару белья и пару портянок,—вторую смену «загоняют».

Так распродажей казенного имущества, правда, данного мне в собственность, начал я свою поселенческую жизнь.

Там же, на Ангаре, после 7 лет «отсутствия из жизни», пришлось мне справлять и пролетарский праздник.

Было нас немного: 3 ссыльных и человек 5—6 из местной интеллигенции: почтовый чиновник с женой, акцизный чиновник и торговец с женой и приказчиком.

Праздник был скромен, буржуазен, но это все-таки был праздник, на котором говорились речи, быть может, не совсем подходящие, но все же речи либеральные.

Конечно, по русскому обычаю, заведенному издревле, было выпито. Стреляли из ружей в честь 1 мая, высказывали пожелания скорого падения самодержавия и возвращения нас, ссыльных, в родные края.

Все это было, быть может, по-мещански, по-детски, но праздник, даже и в этом его виде, своей искренностью и задушевностью оставил по себе хорошее воспоминание. То был 1913 год—время тяжелое, черное...

...Пришел в ссылку в начале января 1913 г., а весной того же года, после нескольких месяцев, до меня дошли слухи, что мне не сдобровать, что летом меня арестуют и отправят дальше на север, как неспокойного поселенца.

Это мне не понравилось, и я стал понемногу и потихоньку изучать возможность побега...

Мирная доселе жизнь этого тихого уголка красавицы Ангары была нарушена вскоре после моего приезда.

Не знаю почему, но правительство высылало мало политических поселенцев в Большую Мамырь. В мою бытность там, вся колония политических состояла из 3—4 человек: товарищ Крига, Иван Иванович, жил в Малой Мамыри, в 4 верстах, Розов (или Розанов) жил в Кежме, в 20 верстах, и латыш (фамилию забыл) жил в Большой Мамыри, имел кузницу и слесарил.

Тов. Розов учительствовал, а Иван Иванович Крига крестьянствовал, плотничал, столярил и «аблокатствовал». Он, как мне передавали, погиб в Иркутской тюрьме, брошенный туда Колчаком за принадлежность к РКП. Был ли он коммунистом, я не знаю, но что это был настоящий революционер, тихий, спокойный работник и отличнейший товарищ, в этом не сомневались крестьяне; это хорошо знали и чувствовали мы, ссыльные, прибывавшие время от времени в Большую Мамырь и жившие в соседних волостях.

О тов. Криге я узнал еще задолго до прихода в Большую Мамырь. Еще в Иркутской пересылке, когда мне об'явили, что я назначен в Большемамырск, и я стал расспрашивать, что это за место, мне многие говорили, что там на Ангаре, в Мамыри, есть Крига, который поможет устроиться и который вообще известен крестьянам и ссылке с самой хорошей стороны. В Тулуне и на

других станках всякий вопрос о Мамыри неизменно имел ответ, что там Крига и он поможет.

Признаться, идя в Большую Мамырь, я представлял себе тов. Кригу каким-то богачем, осевшим в Мамыри и поэтому имевшим большую власть и большое влияние на крестьян и на сельскую администрацию.

Каково же было мое удивление, когда я ближе познакомился с тов. Кригой! Это был самый последний бедняк, живший с семьей, приехавшей к нему из Украины, в полуотделанном доме. Правда, он имел большое влияние на крестьян не только своего и соседних сел, но и очень большой округи. Но его сила, его влияние вытекали из того нравственного содержания, которым было наполнено все существо Ивана Ивановича.

Я не помню случая, чтобы он отказал кому-нибудь в его просьбе: он помогал советом, трудом, раз'яснением, просьбой, где нужно. Нас он учил своим примером и частыми товарищески-простыми замечаниями и раз'яснениями.

Ссылка вся (а там было много народу: эксисты, уголовные ингуши, высланные за то, что их подозревали в сочувствии Зелимхану),—вся ссылка без исключения в трудные минуты шла к тов. Криге, и часто можно было видеть в его избе представителей всех слоев ссылки и крестьян, занятых решением какого-нибудь вопроса, сводившегося в конце-концов к простой задаче: как добыть денег, чтобы не голодать. У Криги решали вопросы устройства дегтярного завода, гончарной мастерской, кузницы. Через Кригу же многие получали работу у крестьян: извоз, рубку леса, батрачество и др. Только благодаря Криге можно было получить кредит у местных торговцев, и только с помощью Криги устраивались побеги...

Вскоре после моего прибытия, когда я поближе познакомился с т. Кригой, он мне сказал, что необходимо было бы осветить «наш край» в газете «Сибирь» или «Иркутская Жизнь», издававшихся в то время в Иркутске. Я ответил, что не откажусь написать заметку-две в газету, если буду иметь материал.

Вскоре через крестьян я имел довольно богатый материал о действиях волостного писаря, старшины и других чинуш таежной жизни. За бумагой дело не стало, и через 2—3 недели несколько №№ газет было прислано на имя. тов. Криги и мое, где были помещены 2—3 довольно больших заметки. Газеты разошлись по рукам крестьян, и вскоре вся округа стала говорить, что заметки писал Д., ибо «до твоего прихода никто ничего не писал о нас»,—как говорили крестьяне. Я усиленно отказывался от авторства, которое влекло за собой репрессии, но, конечно, уверенность крестьян от этого не уменьшилась, и скоро тому явились доказательства в виде угроз писаря Карнаухова сослать меня в Петропавловскую волость, много севернее Большой Мамыри.

Из угроз и из другого я понял, что я «не жилец па этом свете», и что мне надо уходить из сих прекрасных мест, ибо «слава» моя росла, а вместе с ней росла и неприязнь начальства и кулаков.

Как это ни странно, но для нас, политиков-интеллигентов, Сибирь могла бы быть хорошей страной устройства личного благополучия, если бы каждый из нас решился жить только для утробы, только для собственного благополучия.

Я, например, зарабатывавший одно время по 10—12 коп. в день, к концу своей ссылки, перед побегом, мог бы зарабатывать десятки рублей в месяц, если бы только захотел «устроиться».

Помню, как хата, в которой я жил, осаждалась с утра до вечера крестьянами, приезжавшими порой из очень дальних деревень и ищущими у меня совета, раз'яснения.

Однажды одному крестьянину надо было выхлопотать возвращение из солдат сына, взятого ошибочно, так как сын был единственный. Выхлопотал. С этого и началось. «Раз человек сумел вернуть из солдатчины, раз он переборол крестьянского и воинского начальников, значит, это—или голова или какой-то чародей», так, кажется, рассуждали крестьяне и крестьянки, наполнявшие мою комнату краюхами хлеба, яйцами, молоком, творогом и бог весть чем еще.

Один просил защиты от писаря, тот от старшины, на того нападал кулак, а третьего жал суд—у всякого было какое-нибудь больное место, всякому надо было помочь; ведь, такой случай в сибирской глуши редок, особенно там, где мало политиков. И помогали, как умели, как могли...

Часто мы с тов. Кригой просиживали чуть ли не целые ночи напролет, чтобы переметать какой-нибудь том законов и найти какую-нибудь зацепку в защиту крестьянина. А проситель терпеливо сидел возле нас, кипятя для нас воду и угощая нас своими шаньгами, чаем, а порой и кусками сахара.

Да, обзавелись мы всеми 16 томами свода и знали их недурно, особенно то, что касалось крестьян, солдатчины, семейного права. Вопросы семейного права в Сибири несколько своеобразны. Там задолго до Советской власти был введен фактически гражданский брак, но это было противозаконно и порождало массу недоразумений, а поэтому нам часто приходилось «разрешать» семейные вопросы.

Одним словом, сделались «аблокатами», «ходатаями». И ничего. Дело шло хорошо, пока не приехали жандармы и не выгнали меня вон.

Пока что, а я исподволь присматривал дорожку и изучал возможность побега. Собрался обоз в 60—70 лошадей, и я нанялся за 10 целковых итти с возами (мне поручили 5 лошадей), нагруженными мукой для Ленских приисков, до села Муки на Лене. Пошел я с целью приглядеть дорожку. Побывал в Илимске, на Лене и уже возвра-

щался обратно, как верст за 30—40 до деревни меня встретил один крестьянин. Он ехал и спрашивал, нет ли среди возчиков Д. из Большой Мамырп. Ему, конечно, указали на меня.

Он подсел ко мне на телегу и сказал, что возвращаться мне в Мамырь нельзя, что там ждут меня жандармы...

Ну, что ж! Пусть ждут. План созрел быстро.

Мне все же необходимо было побывать в Мамыри, в почтовой конторе, а также повидать тов. Кригу, чтобы передать ему коекакие вещи и «дела». За почтовую контору я не боялся—там меня не выдадут. Надо сделать только так, чтобы меня не видели крестьяне. Сделать это было легко.

Верст за 15 от села я слез с телеги, пустил лошадей, наказав доставить их хозяину, и повернул обратно, заявив, что я иду на Лену. Отойдя немного, я сел, отдохнул, дал обозу уйти вперед, а сам отправился опять по направлению к Мамыри.

К вечеру я был возле села. Здесь меня ждала девушка-крестьянка, высланная встречавшим меня крестьянином, с которым мы сговорились об этом. У девушки была еда, махорка и, главное, знание места.

Когда стемнело, я задами прошел до почты, получил там все, что мне было нужно, узнал, что жандармы у писаря и ждут моего возвращения, чтобы произвести обыск и арестовать меня... Удивительно благородные животные эти жандармы!

Я не был так благороден. Прошел в свою хату, связал свои пожитки в узел и с девушкой отправил их к тов. Криге, а сам ушел в тайгу, где меня должен был встретить отец девушки или она сама.

Ночью берегами Ангары я прошел к тов. Криге, а от него к торговцу Занкевичу, у которого прожил 2—3 дня, пока жандармы не уехали в Кежму—делать у кого-то обыск. Занкевич, бывший польский повстанец, хранил еще традиции польских революционеров, а поэтому и был своим человеком для ссыльных.

Через 2—3 дня один из сыновей Занкевича с уголовным ссыльным отвезли меня вверх по Ангаре за 30—40 верст от Малой Мамыри, и там мы распростились, условившись, что через некоторое время я опять приду сюда же, чтобы сесть на пароход.

Проделали мы это для того, чтобы сбить с толку крестьян и возможную погоню.

Во всяком случае, был пущен слух, что я спустился вниз по Ангаре к Братскому Острогу. Доказательством этого служило то, что ночью в Малой Мамыри, в Кежме, Степанове и в Монастырке видели лодку с 2 людьми посредине Ангары, плывшую вниз. Кроме этого, у одного большемамырского крестьянина пропала лодка, а дней через 5—6 она была обнаружена около Братских уступов...

Конечно! Все сомнения были разбиты, и все утвердились в сознании, что я спустился вниз по Ангаре и бежал по Тулунскому тракту,

а поэтому и все поиски меня были направлены в ту сторону. И напрасно [1].

Я спокойно и тихо бродил по тайге в продолжение 16—17 дней, питаясь тем, что приносили мне крестьяне, знавшие о моем местопребывании.

Так ли, сяк ли, но приблизительно на 18 день я был снова на том же месте Ангары, где расстался с Занкевичем, и жил уже



Ссыльные на пароме.

на барже, грузившейся дровами и ожидавшей из Иркутска пароход...

Мне нужно было дождаться парохода «Бурят», капитан которого, Иннокентий Иннокентьевич (фамилию не помню), по моим сведениям, обычно перевозил беглецов. Он слышал немного обо мне, и я надеялся на его помощь и не ошибся.

С замиранием сердца прислушивался я к пароходному гудку. Наконец, на третий, кажется, день я услышал долгожданный гудок—и совсем, совсем близко. Но прошло несколько часов, пока пароход вышел из-за острова и, покачиваясь, тихо подошел к барже. В этом месте Ангара, полная островов, делает очень крутой выгиб...

Когда «Бурят» остановился, я нашел капитана и сказал ему, чего я жду от него и кто я. Иннокентий Иннокентьевич не был

[1] За границей я слышал, что один из урядников попал в топь и еле-еле унес ноги, оставив лошадь. Это было только хорошо, ибо суеверные крестьяне сейчас же заявили: «за хорошего человека и бог наказал».

удивлен моим обращением к нему, а, наоборот, удивил меня, сказав, что его уже предупредили обо мне и просили помочь в моем деле.

— Ну, что-ж! Проедемся по Ангаре, побываем в Иркутске, а там... там вы будете сами хозяином своего положения. А сейчас идите в каюту I класса. Пить чай и кушать вы будете со мной,—так закончил капитан нашу беседу и начал отдавать приказания, касающиеся прицепки баржи и отправки «Бурята» вверх к Иркутску.

Я был доволен началом побега и мысленно желал себе такого же продолжения. Конечно, за переезд, стол, жизнь в Иркутске и за билет до Москвы я не потратил ни одной копейки. До сих пор я не знаю: были ли это деньги Иннокентия Иннокентьевича или были даны кем-нибудь из сибирских либералов...

Балаганск... Пароход с середины реки забирает вправо, направляясь к пристани. Я стою на капитанском мостике возле капитана, который под нос ругает полицию, не забывая зорко всматриваться в публику на берегу. Из бурчания капитана я понял, что в Иркутской губернии участились побеги, а поэтому полиция усердствует и ищет везде: где нужно и где не нужно. Конец бурчания моего капитана был не особенно приятен мне.

— Что-то много этих дьяволов! Придут проверять документы. Ладно! Спускайтесь к машинисту и заберитесь в уголь. Когда можно будет, я вас вызову!—отрывочно говорил он, глядя на пристань.

Я не заставил себя долго ждать: спустился в машину, а там и в угольное помещение, где и пробыл, пока пароход не отчалил от пристани...

Вот, наконец, и Иннокентьевский монастырь. Иркутск виден, как на ладони. Но мы не двигаемся с места. Течение Ангары в Иркутске очень сильно, и даже лед не может установиться и сковать сибирскую красавицу раньше января. «Бурят», хотя и не из слабых он был, а, попыхтев несколько часов, принужден был оставить баржу и на-легке пошел к Иркутску.

На пристани среди народа было много городовых и околоточных. Капитан это предвидел, а поэтому и употребил маленькую хитрость, чтобы «высадить» меня на берег.

Стоя на мостике, он громко позвал горничную I класса Таню и отдал ей приказание взять чемодан г. Д. и проводить на лошади до квартиры.

Все это было сказано громко, на глазах у раскланивавшихся с капитаном полицейских, а поэтому и не возбудило подозрений.

Таня взяла чемоданчик и предложила мне следовать за ней. Сойдя с пристани, мы сели на поджидавшую лошадку и мирно отправились на квартиру капитана. От'ехав немного, Таня лукаво улыбнулась и тихо сказала: «А хорош наш Иннокентий Иннокентьевич!» Хотела она похвалить капитана или намекала, что она знает или догадывается, кто я,—я не знаю, как не знал и тогда.

Во всяком случае, в Иркутск я был привезен с комфортом, где и прожил 3 дня, бродя по улицам и знакомясь с городом.

Вечером на третий день я должен был уехать в Россию. Поезд уходил около 12 часов ночи, а поэтому к 11½ часам к дому под'ехала шикарная пролетка, и я, в сопровождении неизвестного мне человека, поехал на вокзал.

Мой провожатый был в хороших отношениях с жел.-дор. жандармами и был встречен ими дружескими приветствиями. Зашли в буфет I класса, выпили по стакану кофе, по рюмке коньяку и вышли на перрон.

Усевшись в вагон, я радовался тому, что мои провожатые и пособники находились в хороших отношениях с полицией,—это избавляло меня от многих плохих минут и не трепало нервы...

До Тулы дело шло хорошо, гладко.

«Очки» (паспорт) были хорошие, и я был спокоен.

В Туле я вышел в буфет выпить чаю и взять газету... Что такое? Почему так много «котелков»? Зачем такая масса военных и жандармов? Вернулся поскорее в вагон и уткнул нос в газету... Вот, поезд тронулся, тронулись и «котелки». Началось ежеминутное хождение по вагону «штатских», заглядывание в купе... Вдоль полотна железной дороги стояли часовые.

В Серпухове через знакомого начальника станции узнал, что царь едет в Крым, а поэтому на станциях и на путях находятся солдаты и шпики.

Сразу стало спокойнее. Уж если дело идет о царе, то я не могу возбудить подозрений, тем более, что в нашем купе разговор вертится все время вокруг электричества, ибо все мы оказались электриками и ничем другим не интересовались.

Москва... Масса новых, давно забытых ощущений. За толпой, через тоннель, которого не было до моего ареста, я вышел на площадь Курского вокзала. Здесь от волнения или из подражания, увлекаемый толпой, я повернул направо к Красным воротам, вместо того, чтобы повернуть налево к Таганке. Припоминаю, что в Париже, идя по улице с газетой в руке, я, при виде городовика, инстинктивно прятал газету, опасаясь, должно быть, что меня за это накажут. Прятал письма, если в комнату входил один из товарищей, с которыми я жил... Да, избавиться от каторжных привычек удалось нескоро. Такова сила привычки, и таков был режим, что надолго оставил по себе память!

3 дня, вернее, три вечера, я был в Москве, скрываясь у своего приятеля Г. В Москве я опасался показываться на улицу, так как Москва—мой родной город, и здесь я был арестован и сидел в Бутырках.

Через 3 дня—Александровский вокзал, билет до Варшавы, и я простился с Москвой, навсегда—так казалось тогда.

В Варшаве, по адресу, данному мне врачем Г., я нашел приют у контрабандиста, с которым договорился о переходе через границу и выяснил свой дальнейший путь.

Варшава—Млава по железной дороге. Дальше верст 10—12 на лошадях до деревни Зарумынь, находившейся на русской стороне. В русской Зарумыни мне предстояло провести ночь и переправиться потом в немецкую Зарумынь.

По приезде в русскую Зарумынь я поместился в корчме, где мне отвели небольшую комнату. Я не предполагал переходить границу в эту ночь, а поэтому со мной случился небольшой казус, стоивший мне нескольких скверных минут.

По ходу дела мне казалось, что последний шаг побега будет так же успешен, как и предыдущие.

Я спокойно лег спать, вполне уверенный в благополучном исходе..

Стук в окно... Протираю глаза... Чуть-чуть брезжит свет... Я осторожно приоткрываю занавеску и... о, ужас! Передо мной стоит русский пограничник... Да, не ошибаюсь, самый настоящий русский пограничник!

«Ну, пропал!»,—мелькает в голове, и я машинально пячусь к двери. В эту минуту раздается тихий стук в дверь, и я различаю 2 голоса: мужской и женский, быстро-быстро говорящих по-еврейски.

От волнения мне кажется, что там другой солдат, требующий моей выдачи, и хозяйка, которая его уговаривает... Я в нерешительности стою посреди комнаты.

Из этого состояния меня вывел голос того контрабандиста, с которым я ехал от Варшавы и который об'яснил, что план изменился, и настойчиво торопил, чтобы я уходил, дабы не опоздать.

Я взял свой чемоданчик, открыл дверь и вышел все еще уверенный, что меня арестуют.

Солдат приветливо поздоровался со мной, набросил мне на плечи шинель, надел солдатскую фуражку и предложил итти за ним....

Мы шли недолго. Скоро увидели пограничную канавку, выбрали удобное место, и—одним прыжком я был на той стороне!

Солдатик указал мне вдали домик и велел мне итти туда: «там знают»,—добавил он, откозырял и ушел.

Действительно: стоило мне чуть стукнуть в окно, как дверь гостеприимно отворилась, и я вошел в уютную комнату немецкого крестьянина и через 5 минут пил немецкий кофе с немецкими булками.

Тут, на немецкой стороне, через окно я видел там, за границей—русских казаков, гордо гарцовавших и охранявших границу, видел русские избы и мысленно прощался со всем этим навсегда, не надеясь скоро попасть в Россию.

Днем мое спокойствие было нарушено немецким городовым, пришедшим проверять какие-то бумаги. Узнав, что у меня нет никаких бумаг, он строго спросил, куда я еду. Я спокойно ответил, что

еду в Париж или Брюссель и что не намерен оставаться в Германии (меня предупреждали еще в Варшаве о возможности встречи с немецким щуцманом,—поэтому я и не волновался).

Городовик взял с меня 3 марки штрафа за нелегальный переход границы и посоветовал уехать в тот же день. Это я собирался сделать и без его совета, ждал только поезда.

Вечером я сидел уже в вагоне и двигался к Берлину. Берлин—Кельн—Аахен—Париж. Здесь я и застрял до русской революции.

А. Доброхотин-Байков.

В якутской ссылке.

(Записки рабочего).

Весной 1911 года в Москве была ликвидирована «автономная революционная группа» (так было озаглавлено «дело») в количестве одиннадцати человек, состоявшая в большинстве из наборщиков и печатников московских типографий.

Группа, работавшая довольно активно до момента ареста, образовалась в начале 1909 г. из членов различных социалистических партий, уцелевших от реакционного разгрома и революционного разложения, рельефно выявившегося в те черные дни среди большинства интеллигенции, а частью—и рабочего класса.

Я был арестован часов в 10 утра на первый день пасхи и заключен в Арбатский полицейский участок. При аресте у меня был найден браунинг с патронами и несколько разрозненных заграничных номеров журнала «Социал-Демократ». К вечеру повезли меня «христосоваться» в Б. Гнездниковский переулок—в охранку. Водворили там в маленькую камеру-секретку, с каменной стеной перед решетчатым окном. В охранке—праздничная тишина. В открытую форточку доносится шум города. Жандарм, как летучая мышь, ходит бесшумно, изредка поглядывая в дверной глазок камеры.

Глубокой ночью привели меня в аппартаменты второго этажа. Смотрю: в жандармских мундирах здоровеннейших два борова сидят, увешанные разными блестящими бирюльками. Начался обычный разговор.

Ты скажи-ка, оборванец молодой,
Кто ты родом? Да откуда? Как зовут?
Да еще скажи, с кем дружбу ты водил?
С кем ты вместе злое дело затевал?...

Ротмистр Келлер, ведший наше дело с тонким подходцем, приказав подать мне чаю, предложил «чистосердечно» все рассказать:

— От кого вы получили эти журналы? У кого и где спрятан шрифт, оружие и тому подобное?

— Я нашел этот сверток на скамейке бульвара, ну, и принес домой! А какое оружие и шрифт, я этого ничего не знаю и не понимаю,—отвечал я, прикинувшись «простачком».

Долго тянулся допрос. В ход были пущены угрозы «сгноить в Сибири», с разрисовкой всех ужасов и мрачных перспектив. И одновременно:

— Поступайте к нам в сотрудники! Будете попрежнему работать в типографии и от нас вознаграждение получать. Обязанности ваши будут легкие: такие-то и такие-то (следует пояснение «обязанностей»). Вы—человек интеллигентный, нам такие люди нужны. Соглашайтесь, и мы вас выпустим!

— Я рабочий—не интеллигент. Ничего не знаю. Полезным быть не могу, так как не обладаю собачьим нюхом.

— Фу! При чем тут собачий нюх?—поморщился ротмистр и нажал кнопку электрического звонка, вделанную в стол.

Явился держиморда и водворил меня опять в секретку. Держали меня в секретке несколько дней. Вероятно, хотели абсолютной изолированностью и мрачной обстановкой подействовать на мою психику. Время-от-времени, все больше по ночам, водили на допросы.

С товарищами я не виделся, так как допрашивали разновременно. Только спустя некоторое время, когда меня перевели в политический корпус Арбатского полицейского дома, я встретился с двумя членами нашей группы. Впоследствии, по переводе нас в Бутырскую тюрьму, в общей пересыльной камере встретились мы почти со всеми остальными товарищами. Сколько радости было при нашей встрече! Разговорам нет конца!.. Выяснилось тогда, что некоторым товарищам, как и мне, также и угрожали, и предлагали служить в охранке, но никто не смалодушествовал. Выяснился также и провокатор...

Как ни старались жандармские шерлок-холмсы что-либо выведать от нас лаской, угрозами, уговариванием и прочими методами, чтобы найти остальное и состряпать потом судебный процессик, но им не удалось добиться от нас — в то время, в большинстве, еще юных птенцов — ничего существенного. В конце-концов они принуждены были почти всех выслать административно; только двое по «старым» делам получили каторгу. На мою долю выпала Якутская область с пятилетним «охладительным стажем».

В жаркий день июня месяца тронулись мы из Бутырской тюрьмы в дальнюю дорожку. В «протекционном» арестантском вагоне покатили в Сибирь...

После довольно долгого и мучительного путешествия в закупоренных грязных вагонах, с остановками по нескольку дней в тюрьмах попутных городов для рассортировки по начавшимся сибирским захолустьям и дальнейшего укомплектования,—в половине августа доехали мы до Иркутска, где и были заключены в местную тюрьму. Сиденье в грязном, деревянном, довольно большом общем бараке, вместе с уголовной шпаной, было кошмаром. Грязь, вонь, отвратительнейшая ругань уголовщины, — все это действовало на нас весьма неприятно.

Недели через две отправили нас пешком, партией человек в двести, в Александровский централ. Дорога по сопкам была сплошная голгофа. Изнуренные сиденьем и плохим питанием, некоторые из нас, в том числе и я, не могли долго и много итти и падали от изнеможения. Грубыми ругательствами и ударами прикладов солдаты-конвоиры заставляли подниматься и опять итти. И вновь падали, и опять приклады. Кое-как доплелись... В централе нас держали не более недели. Партией человек в пятьсот погнали пешком на селение Качуг—первый водный пункт на Лене.

Политических в партии было мало,—все больше уголовные, которые во время остановок на привалах злобно приставали и цинично высмеивали «политиков»; особенно подвергались грязным



Паузки с ссыльными на Лене.

насмешкам политические женщины. Политики больше отмалчивались, но иногда давали и отпор. Приблизительно одну треть дороги мы прошли пешком, а остальной путь совершили на колесах—большею частью нас везли на бурятских двуколках-бедах.

Добрались до Качуга. Погрузили нас там на три «паузка», и мы поплыли по течению Лены. На паузках отдохнули. Было еще теплое время; лежа или сидя на крыше паузка, мы грелись под осенним, но еще жарким солнцем и любовались красивыми ленскими видами. Своеобразную, но неотразимо влекущую красоту сибирской природы я не в силах описать.

Особых приключений за водную путину не было, кроме того, что пьяный лоцман свалился с крыши паузка и утонул. Помешался также один товарищ-политик; он еще в каторге начал заговариваться.

С воспаленным, безумным взглядом крутился он по паузку. За ним, конечно, усиленно присматривали; во время особо острых моментов сумасшествия его связывали. Он сильно бился, был истерзанный и жалкий. Впоследствии, в якутских улусах, я неоднократно был свидетелем подобных печальных случаев духовной смерти наших товарищей.

Доплыли мы до Усть-Кута, где высадилось на место назначения порядочно ссыльной братии. В дальнейшем пути высаживалось тоже много. В Усть-Куте посадили нас на огромную баржу, и пароход потянул на буксире дальше—к Якутску.

Был уже сентябрь. Начались морозцы; иногда срывался снег. На Лене стало появляться «сало»—разрозненные кусочки льда. Чем ближе подвигались мы к таинственно-жуткому и неведомому Якутску, тем становилось все холоднее и холоднее. Одетые по-летнему, мы сильно зябли и желали поскорее доехать до места назначения. И вот—доехали. Пароход пристал к осенней пристани, верстах в семи от города. Стали высаживаться.

Кончался угрюмо нахмуренный день,
Росла, надвигалась вечерняя тень,
Катился туман по равнине,
И падал густой, надоедливый снег.

В белой пелене снега, под вой пурги в обнаженных приречных кустах, двинулись мы к городу. С тяжелым чувством тоски шел я и думал: «Гибель, вероятно, ждет меня в этой пустыне».

Не надейся вернуться домой,
Твой след потеряется в тундре немой;
Ты в мерзлую землю сойдешь в тишине,
И труп твой застынет в полярной стране.

Пришли в Якутск, оказавшийся маленьким городком, с одноэтажными, в большинстве, бревенчатыми постройками. Многих поместили в тюрьме, а нас, несколько человек административно-ссыльных, водворили в довольно чистую камеру при городской полиции. Затем стали рассылать по конечным пунктам назначения. Меня и еще одного, рабочего Мотовилихинского завода тов. Ситникова, назначили к отправке в Вилюйский округ. Установилась уже настоящая зима. Запасшись в дальнюю таежную дорогу продуктами и купив соответствующую одежду, мы, в сопровождении якута-проводника и казака, тронулись на санях в вилюйские дебри. Долго ехали, почуя по пути в якутских юртах. Пришлось прокатиться и на нартах, запряженных оленями. Олени с вытаращенными черными глазами бежали, по обыкновению, не задерживаясь на косогорах, кочках и пнях; от такой езды приходилось временами вылетать с нарт головой в снег и кричать: «Тохто, догор, тохто!» (Подожди, друг, подожди.)

Раскосый, монгольского типа, «друг»-якут возвращался и вытаскивал нас из сугроба снега.

И скоро мы снова готовились в путь,
С засыпанных нарт торопились стряхнуть
Сугробы скрипучего снега.

Вот и Вилюйск... Якутск—глухая дыра, а это—таежная трущоба... Остановились у товарища ссыльного-москвича. Собралась компания: к «свежим» приехавшим пришли «за новостями». Далеко за-полночь затянулись разговоры.

В Вилюйске мне пришлось прожить не более недели. Случилось событие, заключительным аккордом которого был «разгон» большинства ссыльных в другие места. Событие это заключалось в следующем: несмотря на наступившую уже суровую зиму, ссыльным-вилюйчанам не выдавали одежных зимних денег, вследствие чего многие из товарищей ходили по-летнему, сильно страдая от этого несоответствующего времени одеяния. На общем собрании всей колонии ссыльных было решено потребовать от исправника точного ответа относительно дня выдачи одежных денег, для чего были избраны делегаты. Исправник делегатам ничего определенного не сказал, промычав с небрежностью:

— Когда пришлют из Якутска, тогда и получите!

Такой ответ взвинтил и без того постоянно нервно-настроенную ссылку. Зашумели, заволновались, и на общем собрании было решено итти всем в полицейское управление, занять его и жить там до выдачи одежных и кормовых денег. Сказано—сделано. Приблизительно через час после этого решения толпа ссыльных подвалила к полицейскому управлению, неся с собой—кто книги, кто подушку, чайник и тому подобное. Обыватели-вилюйчане сильно переполошились.

— Государственные бунтуют!—пронеслось по городку, и—окна, двери на запор. Все притихло, попряталось. Служащие управления и начальство, не ожидавшие такого «визита», тоже растерялись. Толпа «ссыльной братии» человек около тридцати ввалилась в комнаты учреждения, заявив:

— Не выдаете нам одежных и кормовых, будем жить здесь...

Моментально все дела и бумаги служащих были заперты в шкапы, и все исчезли вместе с начальством. Мы расположились, кто где пожелал, выставив «на стрему» патрулей. К вечеру меня и еще двух послали на разведку. Я обошел городок, не заметив ничего внушающего тревогу, и завернул погреться к одному ссыльному уголовному, бывшему офицеру. Мне повезло в моей разведке. У него в это время сидели два казака-вилюйчанина и «кепскали» на тему, что-де собирается помощник исправника, хорунжий, итти «воевать» против государственных, захвативших полицейское управление; они же, казаки, колеблются, боятся, так как у государственных имеется

оружие. Я, разумеется, присоединился к разговору и наговорил кучу страхов: что ссыльные хорошо вооружены и решили защищаться до крайности и т. д. Поговорив на эту злободневную тему с полчаса, мы разошлись. Должен оговориться, что, правда, было у некоторых ссыльных оружие, но плохое и немного, все револьверы в роде системы Смита и Вессона.

Прошел день. «Атаки» со стороны казаков не последовало; с нашей стороны меры были приняты. Впоследствии мы узнали, что казаков, в числе человек семнадцати (весь «гарнизон» городка), помощник исправника собрал для штурма управления, но они категорически отказались «воевать», слезно ссылаясь на семейства свои, на малочисленность свою, на имеющееся в изобилии у государственных оружие и т. д., и просили подкрепления из Якутска.

После этого исправник «принес повинную». Передал нам через своего посланного, что самое большее недели через две привезут деньги из Якутска, куда он послал уже нарочного, заверяет все это своим «честным словом» и просит ссыльных освободить полицейское управление. После этого об'яснения, исчерпывавшего конфликт, мы, по обсуждении заявления исправника, разошлись по домам. Итак, благодаря «непатриотизму» вилюйских казаков, дело обошлось без бойни. Мы знали, конечно, на что идем, и при возможности столкновения решено было основательно «тряхнуть стариной»,—благо, вилюйская колония ссыльных в подавляющем большинстве была из рабочих, с крепкой в прошлом революционной закалкой, принадлежавших к анархистам, максималистам, с.-д.-большевикам и т. п.

Не прошло и двух недель, как ссыльные получили деньги, а затем, через некоторое время, постепенно, по одному, по два, стали рассортировываться, рассылаться по разным глухим углам необ'ятной Якутии. Исправник «за бездеятельность и мягкотелость», по приказу высших сфер, впоследствии был уволен, как говорится, без мундира и пенсии.

Меня, вскоре по окончании нашего «сиденья», отправили еще дальше вглубь Вилюйского округа—в Нюрбинский улус. Помню до сих пор первые впечатления моего подневольного сожительства с якутами в их юртах. Привез меня казак-якут и оставил одного среди якутов. В беспомощном состоянии, не зная якутского языка, видя перед собой только монгол с раскосыми глазами, их непонятный для меня разговор, пугливую настороженность да тайгу, окружавшую этот глухой улус, к которому меня прикрепили, я почувствовал себя неважно. Да и радоваться было нечему. Кругом снег, холод ужасный, тайга без конца, на тысячи верст. Скудная, суровая зимняя природа, и на краю земли—далекое-далекое, тусклое, недолго светящее солнце, очень похожее на медный вычищенный самоварный поднос. Поговорить, побеседовать не с кем. Несколько освоившись, обжившись, скучая по русской разговорной речи, стал

я вслух читать имевшуюся у меня единственную книгу—«Хрестоматию» Поливанова. Хозяева юрты и присутствовавшие здесь же их сородичи испуганно косились на меня и, не выдержав характера, удирали из юрты.

— Нюча (русский) шаманит. Духов вызывает...

Так реагировали они на мое чтение вслух. Особенно пугало их, когда я начинал с соответствующими жестами декламировать по хрестоматии стихи, в роде следующих:

Нет! Не поспеть уж нам в Кьявьянну
И не повесть друзей на вражий стан!...

Придавая известный смысл этим стихам, я входил, как говорится, в раж. И иногда, по окончании чтения, спустившись с высот фантазии на землю, видел юрту совершенно пустою. Со временем дело уладилось: я кое-как, при помощи оказавшихся в соседстве уголовных ссыльных, раз'яснил якутам безобидность моего занятия.

От незнания якутского языка я чувствовал себя изолированным, совершенно одиноким, как в пустыне. Хозяева юрты так же, как и большинство их соплеменников, не умели говорить по-русски, я не знал их наречия. Поэтому приходилось играть в молчанку, мимикой об'ясняться по вопросам житейского обихода. Выручил меня один якут, побывавший на Ленских золотых приисках и поэтому вкусивший русской «культуры»: трех'этажных словечек непечатного свойства, картежной игры, пьянства и прочего, чем богата была в прежнее время приисковая жизнь. Вскоре по моем приезде этот «культуртрегер» прибыл в наслег играть в карты и зашел в юрту, где я обитал... Владея, хотя и не совсем хорошо, русским языком, он разговорился со мной и обещал привезти мне от «анабыта» (священника) русско-якутский словарь, что им и было исполнено. Я с энергией начал заучивать слова, и мое изучение якутского языка стало подвигаться вперед при помощи хозяев юрты.

Так прожил я всю долгую первую зиму. Изучал якутский язык, присматривался к житью-бытью якутов и питался, чем попало. В более теплые дни бродил по тайге, забираясь в глушь, любуясь зимними таежными пейзажами.

Впоследствии было прислано еще несколько человек политических ссыльных. Узнал также я, что верстах в двадцати от меня. в находящихся там поселках, населенных русскими выходцами, «чалдонами» с Лены, проживает несколько товарищей ссыльных. Помимо этого, оказались товарищи-одиночки, подобно мне разбросанные по наслегам. Со всеми мною была постепенно установлена товарищеская связь. В селении Антоновском жило издавна несколько политических ссыльных, довольно удовлетворительно наладивших связи с культурными центрами России. От этих товарищей я, изредка приходя к ним, получал журналы: «Русское Богатство», «Современный Мир», «Русскую Мысль», а также и газеты:

«Русские Ведомости», «Русское Слово» и др. Мой приход в село Антоновское был для меня всегда праздником: там у чалдонов я вымывался в бане, обменивался мыслями и разговорами с товарищами, брал от них журналы и газеты и, таким образом, получив прилив новой энергии и бодрости, на крыльях радости несся по снежной таежной пустыне в свою берлогу, в грязные юрты, к якутам и их почти первобытному житью-бытью. Газеты были старые, напечатанные месяца два-три тому назад, журналы и того позднее, но для нас, в частности для меня, они представляли самую наи-



[Привал партии ссыльных.

первейшую новость и радость. Внимательно, начиная с заголовка и до последней строчки, они прочитывались и давали пищу уму и фантазии.

Зима в Якутской области довольно длинная и суровая, морозы доходят до 60° по Цельсию, но почти никогда не бывает ветров. От сильных морозов стоят над этими пустынными пространствами сильные туманы. Тишина, ни звука. Изредка вдруг раздастся как бы пушечный выстрел: то лопается замерзшая земля,—или сильный треск вблизи, заставляющий нервно вздрагивать: то трескаются от мороза бревенчатые стены убогого жилища. Выйдешь на минутку из юрты,—пар со свистом выходит изо рта, моментально охлаждаясь на крепчайшем морозе; плюнешь—и на-лету образуется сосулька. Зазевался немного—и нос уже побелел...

Зимние занятия у якутов несложные: самый примитивный уход за скотом, заготовка топлива, иногда охота, ловля капканами

пушного зверя и ловля «мордами» (плетеные из прутьев верши) рыбы, в изобилии имеющейся в озерах Вилюйского округа. Ссыльным делать нечего. Естественно, все внимание, вся жизнь (если это прозябание можно назвать жизнью), помимо неизбежных желудочных запросов, сосредоточивается на чтении книг. Поэтому, когда удается достать эту «духовную пищу», буквально радуешься, как ребенок, и ласкаешь—любишь книги, как мать ребенка, прижимая ее к груди, и упиваешься процессом чтения. «Велик и могуч русский язык»,—сказал Тургенев,—«и очень дорог»,—добавляю я,—когда в изгнании, среди якутского «каисеканья», изолированный от России, пьешь жадными глотками из книжного источника родные звуки русской речи.

Якуты, как известно, стоят на очень низкой ступени развития. Карты, водка и табак—вот центр их внимания. Играют якуты зимой азартно, целыми днями не отрываясь от карт, проигрывая иногда последнюю коровенку. Излюбленные картежные игры у якутов—«бура» и «курочка», в роде наших «двадцати одного» и «штосса». Пьют и курят все, мужчины и женщины, приучаясь к этому с малых лет. Белье свое и все прочее никогда не моют, и сами не моются, считая все это глупостью. Меня всегда, когда я стирал свое белье, якутки называли «кусаган-нюча», т.-е. дурной русский. По их понятиям, я ускорял стиркой изнашивание белья. Раскосо-скуластые, кирпичного цвета, грязные до невозможности якуты носят свои балахоны и рубахи без смены и без стирки, пока они не порвутся в клочья, надевая в праздники сверх этого грязного тряпья новые одежды. Живут в грязи, пищу приготовляют очень небрежно, мясо едят полусырое, а также и совершенно сырое—строганину. Рыбу тоже едят без очистки: из озера—в котел, немного поварят и вместе с потрохами—в рот. Любят также совершенно сырую мерзлую рыбу. Хлеб—ячменные сухие лепешки; чай—кирпичный, с молоком. Благодаря нечистоте, среди них свирепствуют разные болезни: глисты, солитеры, трахома, проказа, сифилис и проч. На бумаге числятся православными, верят же в разных духов; и шаманы, посредники между духами и якутами, пользуются у них большим уважением.

Долгой была для меня эта первая зима. Кое-как дождался весны; отлегло от сердца. Стало теплее, начал и я бродить по окрестной тайге; природа—удивительный врач и успокоитель. Я ожил и отбросил далеко от себя зимние думы. Наступило лето, появились во множестве сильно надоедавшие мошки и комары, но, в общем, защищенный сеткой, я не очень от них страдал. Скоро пролетело жаркое, но непродолжительное, северное лето; промелькнула короткая осень, и вновь подошла лютая, вторая для меня зима.

Грязь якутских жилищ мне опротивела; боялся я также заразиться трахомой или еще чем-либо похуже. Вследствие всего этого, я с двумя вновь прибывшими товарищами-ссыльными переселился

в пустую юрту, стоявшую приблизительно в полуверсте от наслега. Товарищи мои—один русский, другой еврей—уже заканчивали свои сроки и были переведены сюда «по наказанию». Кое-как коротали мы зимнее время; вместе было веселей. Владея довольно хорошо якутским языком, товарищи почти весь свой досуг употребляли... на играние с якутами в карты. Да и что было им делать в таежной глуши зимой? Чтение книг их не удовлетворяло; к тому же они были малограмотны, а занятий там, среди якутов, нет никаких. Я старался убивать время за немудрой стряпней и, опять-таки, за чтением старых журналов и газет.

В половине зимы мои сотоварищи по несчастию и жилищу, окончив срок ссылки, уехали. Я остался один в пустой юрте, одиноко стоящей около речушки, на снежной равнине... Тоска стала одолевать меня: поговорить-побеседовать не с кем, итти некуда; работы никакой; затопишь камелек и сидишь целыми часами около него, изредка подбрасывая в огонь ярко горящие поленья лиственницы. Дрова на топливо были заготовлены совместно с товарищами еще с начала зимы. Мерзлого хлеба и мяса было достаточно.

Дни зимние, северные—очень короткие, а ночи—бесконечные. Морозы суровые,—выйдешь из юрты хорошо закутанный, а все холодно. Сидишь в юрте, у камелька, читаешь-перечитываешь старые журналы вслух, чтобы не разучиться говорить. Временами раздается гул, сильный треск: лопаются от мороза земля и бревенчатые стены жилища. Тянется без конца ночь. Тишина и мороз. Живая могила. Встают в памяти силуэты товарищей по ссылке, которых знаешь или про которых слышал: в том-то улусе покончил с собой выстрелом из охотничьего ружья, взятого у якутов, товарищ Х.; тронулся умом, заговаривается товарищ Я.; окончательно лишился рассудка К—ов; беднягу отправили в Якутск, в психиатрическое отделение больницы, откуда нет возврата. С—кий, студент-технолог из Киева, имеющий средства, пьет день и ночь водку и заживо разлагается. На нервной почве у товарища Л—ча трясется голова и весь организм расклеился...

Лезут непрошенные, незванные думы в голову; бессонница, а ночь идет долгая-долгая, и нет ей конца. Сидишь в юрте, как зверь в клетке, нет сил бороться с тоской. Одеваешься, выскакиваешь в темноту и ходишь на свежем воздухе быстрыми шагами вокруг жилища, ходишь до изнеможения. Ничто не нарушает тишины. Молчит снежная полярная пустыня под студеным небом с яркими, но холодными звездами. Ни звука. Тихо!

Покоится зловещая тайга
В об'ятиях морозного тумана...
Сторожат золото в глуши урмана
Ревнивые речные берега.

Я усиленно боролся с оцепенением и тоской, но в конце-концов все надоело. Мысль о самоубийстве, бывшая дотоле в тайниках

сердца, вышла на поверхность и стала доминировать над всеми остальными думами. С ней вступила в борьбу мечта о мести, которую вскормил я в ссылке в сердце моем,—о мести подлым угнетателям. «Окончу ссылку,—думал я,—приеду опять в Москву, встречусь с себе подобными, старыми товарищами, и тогда мы откроем жесточайший террор»...

Все же мысль слабела, мозг утомлялся однообразием, память заволакивалась как бы дымкой бездумья, и я, если можно так выразиться, погружался в оцепенение: по целым дням сидел у камелька в каком-то отупении. Не помню, были ли тогда какие-либо мысли, или ничего не было. Смутно припоминаю: было что-то однообразно-серое и безличное... Так тянулись дни и недели. Организм слабел.

Я угасал в краю чужом,
Во мгле немых снегов;
За мертвым синим рубежом
Темнела цепь лесов.
Равнины ночи сторожил
Холодный взор луны.
И долго жил я и не жил,
И в сердце были сны.

И так слабым огоньком теплилась моя жизнь—до весны. Временами ходил я в инородческую управу, верстах в пятнадцати от моего жилища, получал там письма из далекой Москвы от знакомых тов.-печатников, а также и от некоторых членов нашей группы, отбывавших ссылку в различных гиблых местах Европейской и Азиатской России.

Безденежье довольно ощутительно угнетало меня. Родных не было: они уже отдыхали от жизненной борьбы на Ваганьковском кладбище в Москве. Прислала мне той зимой какая-то добрая душа от имени редакции «Русской Мысли» солидную пачку разнообразных книг. К началу весны получил от товарищей из Москвы денег немного и семян разных огородных, как-то: редиску, морковь, огурцы, гаолян и т. п. Стал я готовиться к посеву. Сговорился с якутами об аренде и вспашке земли, находящейся недалеко от моего жилища.

Почувствовалось, наконец, приближение северной красавицы—весны. Снег под лучами солнца стал быстро таять. Прилетела во множестве разная пернатая дичь. Озера вскрылись. Засинели далекие горы.

Дали сини за Леной холодной,
Весел ельник на склонах горы,
Из-под снега травой прошлогодней
Зеленеют бугры.
Птичий гомон, вершины в тумане:
Пахнет скорой весной.
Отчего же тюремные думы
Неотступно со мной?...

С весной ожил и я, очнувшись от зимнего оцепенения. Целыми днями сидел на завалинке, около юрты, наблюдая возрождение природы, и смотрел, смотрел напряженно, уносясь мечтами в ту сторону, где, по моим соображениям, находилась Москва-матушка, в которой я впервые ощутил «сознанье бытия». В первых числах мая исчезли последние остатки надоедливого снега, и якуты вспахали мне арендованную у них землю; вместе с ними засеял я ее семенами ячменя и ярицы. Семена гаоляна я посеял около юрты, предварительно вскопав своими силами землю. Для огурцов и прочих семян устроил грядки. Вообще, копался в земле добросовестно, в непосредственном общении с природой черпая силы и бодрость.



Село Марха в 8 верстах от г. Якутска. Ссыльные тащат воду из пруда.

Через некоторое время показались зеленеющие всходы. Сердце мое радовалось и ликовало, глядя на вечное чудо природы: оживление маленьких сухих зернышек-семян. Подошло жаркое лето. Ночи совершенно исчезли. Солнце кружилось по небу, скрываясь за дальними контурами гор не более, как на час. Утренняя заря сменяла вечернюю; словом, был сплошной дневной свет, при котором во всякое время можно было свободно читать и писать без напряжения.

Летние дни бежали быстро-быстро: я читал, гулял, купался и жил, поглощенный интересами моего огорода и поля. Так дожил я до второго июля, печального для меня дня. Проснувшись очень рано, я почувствовал холод, вышел из юрты и ужаснулся: ячмень мой погиб от ночного мороза! А затем, вскоре навалилась на мою

ярицу кобылка (бескрылая саранча) и пожрала ее всю до основания. Конечно, и у многих якутов получилось то же самое. Я сильно упал духом, так как затратил все свои средства и потерпел фиаско. Зимой мне предстояла сильнейшая голодовка, а возможно, что и голодная смерть. Огородные семена себя тоже не оправдали, почему-то не взошли, хотя я их и поливал десяток раз в день. Гаолян пошел в рост очень хорошо и к концу июля достигал более двух аршин вышины, с крупными листьями и отростками. Мороз его не убил и кобылка не пожрала: вероятно, не нашла его вкусным.

Не знаю, как бы я стал существовать далее в моем положении; возможно, что зимой отправился бы к праотцам, или отвезли бы меня в Якутск, в сумасшедший дом. Вероятно, так и случилось бы, но... «случай ли выручил, бог ли помог»... В начале августа ко мне является казак-якут с предписанием губернатора Якутской области Крафта: «Немедленно по получении сего административно-ссыльному Александру Байкову выехать в г. Якутск». Для чего— не сказано. Сборы были не долги. Через полчаса, распрощавшись с якутами, я верхом на лошади тронулся с казаком в путь, оставив навсегда мой огород и мое жалкое поле.

Путешествие до Якутска было очень хорошим. Погода благоприятствовала, комары и мошка не беспокоили,—их убили ночные морозы. Дней десять скакали мы верхом, с маленькими отдыхами в попутных наслегах, где меняли лошадей. В тайге дорог нет,—существуют только тропинки; поэтому с нами ехали проводники-якуты, провожая до очередного пункта назначения. Разнообразной пернатой дичи в тайге и на озерах было очень много. Достаточно сказать, что проводник палкой убивал глухарей и куропаток для нашего пропитания. В той беспредельной таежной глуши птица не пуганая. Куропатки стайками вспархивали из-под самых ног наших лошадей и, отлетев очень недалеко, опять садились.

Я ждал от моей поездки плохого: думал, что открылись мои прежние политические дела (работа в тайной типографии Московского окруж. к-та Р. С.-Д. Р. П.) и меня тянут в тюрьму для предания суду. Но в Вилюйске узнал от товарищей-ссыльных, что через губернатора аресты по подобным старым делам не производятся; надо полагать—для чего-нибудь иного вызывают.

Вот и Якутск,—приехали. И тут наступила для меня полоса благополучия и оживленной кипучей деятельности в моей сфере. Мне было предложено, как специалисту, сорганизовать и пустить в ход типографию. Шрифт и машины были привезены из Иркутска. С энергией принялся я за дело. Это была единственная частная в том глухом краю типография. Владельцем ее являлся коммерсант и член городской управы, А. А. Семенов. Скоро застучали типографские машины: большая и малая. Появились «смиренные командиры свинцовых армий»—наборщики и печатники, и дело пошло в ход.

Описывать различные работы, выполняемые типографией, не буду. Достаточно только указать на крупные: выпуск ежедневной газеты «Якутская Окраина»,—издатель А. А. Семенов, он же владелец типографии. Редакторами газеты, сотрудниками и вообще литературными силами почти исключительно были интеллигентные политические ссыльные, как, например: В. И. Николаев, В. Д. Виленский-Сибиряков, В. Бик, Ст. Никифоров и многие другие. Выпускался еженедельный журнал «Ленские Волны»,—издатель и редактор политический ссыльный Н. Е. Олейников,—и выходил периодически, на якутском языке, журнал «Саха Санагата́» («Якутская Речь»),—издатель-редактор прис. поверенный Никифоров, из якутов. Так, в непрестанном, ежедневном труде прошло года полтора моей работы. Затем кто-то донес в Петербург, что в типографии работают политические ссыльные. И так как по уставу политическим ссыльным воспрещается работать в типографиях, то сколько ни хлопотал ее владелец об оставлении нас на местах, но волею властей предержащих мы были принуждены покинуть типографию.

Последний год ссылки мне было разрешено отбывать в скопческом селении Большая Марка, недалеко от Якутска. Зиму коротал сравнительно сносно: в городе была хорошая общественная библиотека (заведывающими были М. М. Виленская и М. В. Николаева). Летом приходил в Якутск «на заработки»: вместе с другими ссыльными оклеивал обоями комнаты у обывателей городка, крыл железом крыши домов, красил, шпаклевал,—словом: «от нужды и скуки, на все руки»...

В сентябре 1915 г. мне было разрешено сказать: «Ныне отпущаеши»..., и с последним пароходом я покинул «страну изгнанья и печали». Впоследствии оказалось, что отпущен я был на новые мучения и на нелегальные скитания по России, но описание этого не входит в задачи настоящих воспоминаний.

Ал. Иосифов (Печорин).

С казенной дачи.

В конце февраля 1906 г. тронулись мы из Саратова,—сначала в Западную, а потом в Восточную Сибирь,—этапным порядком. По пути валялись неделями в тюрьмах, обычно грязных, тесных и душных (в Пензе, Самаре, Челябинске). Временами слышались проклятия по адресу тюремщиков, но в общем настроение путешественников держалось на высоких тонах.

После тоскливого, порой жуткого, одиночного сиденья в тесных кельях, перемена мест и лиц, возможность широкого общения, близость свободы, хотя бы и на казенной даче, вносили оживление, бодрость, пробуждали надежды.

К тому же, конвой почти всякий раз оказывался благодушным, сговорчивым. После посадки в вагоны будущие дачники могли чувствовать себя почти как дома. О неволе напоминали только железные решетки в окнах. Ожесточенные политические споры, революционные песни, шутки, анекдоты, легкий флирт у молодежи, а то и проблески серьезного чувства,—все это целиком заполняло досуг большинства.

Но кое-кто унывал. Позади, в России, оставались недовершенные политические планы, разбитые личные радости. А впереди, там, куда бежал нескончаемый великий сибирский путь, гудя и сгибаясь под колесами вагонов, все было полно угрюмой неизвестности или легко угадываемых жестоких испытаний. Кое для кого жизнь решительно ломалась, так ломалась, что склеить ее опять, хотя бы благополучно вернувшись из далекой ссылки, не было никакой надежды. Оттого-то, очевидно, не у всех взгляд загорался весельем, не у всех в душе поднималась бодрость, когда кругом звенел молодой смех или гремела призывная революционная песня.

В Челябе (где мы возлежали по-римски, так как сидеть было не на чем, на сплошных грязных нарах, кишевших паразитами) партия наша поредела: кое-кто направился в южные уезды Тобольской губ. Остальные должны были проследовать на Тюмень, а оттуда речным путем дальше на север Тобольской губернии.

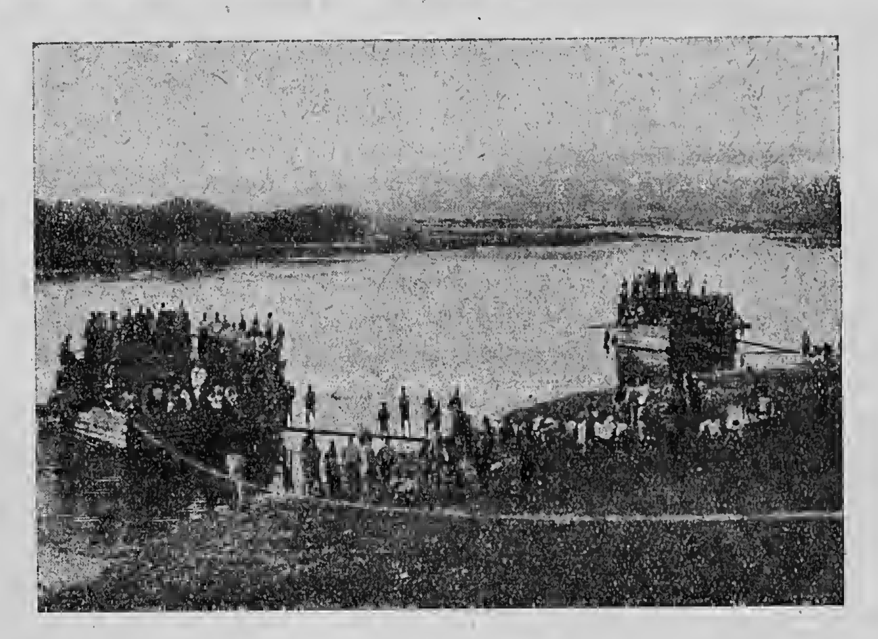
В Тюмени нас встретила, к великой нашей радости, неожиданно-ранняя весна (в половине апреля). А так как и тюремный режим

оказался сносным, то мы положительно отдохнули там от челябинских удовольствий.

В начале мая открылась навигация. Собрали в кучу, погрузили в две баржи и повезли... Куда? Они и сами хорошо не знали. «Там увидите»,—отвечали власти на наши расспросы.

Сначала ехали по Туре, потом по Тоболу, по Иртышу.

Путешественники могли быть довольны: если это и не был вояж знатных иностранцев (за этим мы не гнались), то во всяком случае путешествие было скорее похоже на прогулку беспечных дачников, чем на этапный, страдный путь тюремных сидельцев. Отсутствие



Этап на паузке у берега.

тюремных стен, оконных решеток, ширь горизонта, простор полноводных сибирских рек, зеленый, весенний шум,—было отчего сбросить с себя тюремные настроения! А тут еще погожие, яркие, солнечные дни, светлые ночи, песни при блеске звезд,—словом, житье хоть куда!

Но вот миновали Тобольск, спустились еще вниз по Иртышу верст на полтораста, и «дачников» стали пачками водворять по местам временного жительства, по р. Иртышу, впредь до получения приказа о высылке на восток.

Я угодил в Юрьевское, поселок из нескольких десятков домов, глухой, заброшенный, совершенно лишенный так-называемых культурных благ: ни почты, ни школы, ни медицинского пункта, ни пристани.

Оценив по достоинству все эти обстоятельства, «дачники» из Юрьевского стали перекочевывать под разными предлогами в соседнее

с. Демьяновское, более населенное и культурное. Главное, к Демьяновскому приставали пароходы, и, таким образом, открывалась некоторая возможность уклониться от путешествия на сев.-восток.

Забрав свой небольшой скарб и не дожидаясь разрешения начальства, перебрался туда и я. Меня переправили в лодке товарищи по юрьевской колонии. В Демьяновском была большая колония ссыльных, живших летом в условиях прекрасной дачи и культурного уголка вместе.

Началась и у меня беспечальная дачная жизнь. Я поселился в крестьянском домике, в чистой половине, на самом берегу Иртыша. У меня была отдельная комната, мягкая постель (с клопами, правда, но где же дачи, и без кавычек, обходятся без клопов?). С хозяевами я ладил. Стоило мне все это удовольствие—с милыми хозяевами и клопами—1 рубль в месяц. Все время стояла летняя солнечная погода. С порога моей хаты открывался несравненный, незабываемый вид на заречье. Иртыш и р. Демьянка изгибались лентами по бесконечным далям лугов, искрясь и сверкая в лучах яркого не по-сибирски солнца. С лугов несло дурманящими ароматами бесчисленных цветов и трав. К услугам нашим были: купанье в Иртыше, катанье в лодках, ловля рыбы, охота.

Дома положительно не сиделось. Книга валилась из рук. Читать, размышлять теперь? Нет, сейчас не до того. Не до того, когда там, в недавнем прошлом, непозабытые стены тюрем, лязганье железных запоров, окрики тюремщиков (да и в ближайшем будущем предстояло то же самое, по пути на дальний сев.-восток). А тут, под рукой, прямо за окном — неоглядный простор лугов, яркое солнце, сверкающий могучий Иртыш и свобода, свобода! Да и это еще не все. А бор, темно-зеленый бор из кедров, лиственницы и сосен! Конца ему, казалось, не было. Пересекаемый узкими протоками лесных речек, он бесконечной стеной тянулся по окраине села, уходя куда-то в даль, маня в свою таинственную чащу, обещая обвеять прохладой, успокоить. Какое это было наслажденье— в легкой лодке-душегубке, по одному из протоков, пробраться в глубь бора и бесшумно скользить по воде под косматыми, приветно шумевшими ветвями кедров! Или—причалив к мшистому берегу, броситься наземь у корней какого-нибудь неохватного великана-кедра и лежать часами, без мыслей, отдаваясь лишь звукам леса, впитывая в себя его запахи! Хорошо!..

И право, если бы царские министры того времени знали, как иногда устраивались на «дачах» их политические враги, многим бы из них не дожить до заслуженных расстрелов революции 17 года: передохли бы раньше... от злости.

Однако, как известно, нет ничего вечного под солнцем. Скоро, очень скоро стали доходить из Тобольска слухи о предстоящей отправке на сев.-восток. «Прибежал» т. Гальперин (кажется, с берегов Оби), с категорическим подтверждением этих слухов, за со-

ветом, куда и как лучше бежать. Пришлось забросить прогулки в бор и прочие номера нашей дачной идиллии и заняться вопросом, как быть, что̀ предпринять.

Некоторое время кое-кто еще лелеял надежду (чего хочется, в то и верится), что, авось, тревога окажется напрасной. Но вскоре и эта слабая надежда исчезла: распоряжение о высылке получилось и в Демьяновском.

На «военном» совете из наиболее опытных «дачников», состоявшемся незадолго до получения зловещего приказа, решено было: как только опасность высылки станет явной, дома во всяком случае не жить, скрываться и подготовлять план бегства.

Решение бежать было принято мною не без некоторых колебаний.

В литературе высказывалось мнение, будто в те годы из ссылки не бежал только ленивый,—так легко было устроить побег. Из дальнейшего будет видно, много ли в этом правды.

Командирам пароходов, бегавших по Иртышу, было строжайше запрещено провозить беспаспортных пассажиров, и, боясь полицейских скорпионов, они приказ этот обычно выполняли. Других надежных путей, кроме речного, для бегства с устьев Иртыша в летнее время не существовало. Паспортами демьяновская колония не располагала. Денег на покупку паспортов не было ни у меня, ни в кассе колонии. А деньги вообще были нужны, в особенности людям, награжденным, как я, разными болезнями, требовавшими того или иного режима.

Правда, колония наскребла мне на дорогу 25 рублей (за что я до сих пор храню глубокую благодарность товарищам). При массе нуждавшихся в пособиях по разным поводам, это была даже почтенная сумма, но мне-то для бегства, со всеми возможными его случайностями, этого было, к сожалению, недостаточно. Очутиться без денег в решительную минуту (не иметь возможности купить паспорт и т. п.) значило—попасть после беженской страды в лапы архангелов. А там—отсидка в кутузке и прогулка в отдаленные, если не в отдаленнейшие. Было уже несколько случаев в этом роде с товарищами, пытавшимися бежать на-авось и как-нибудь: в лодках вдоль Иртыша или с пароходами без документов. «Противопоказаний» оказывалось достаточно, и было о чем подумать.

Мог быть, пожалуй, такой выход: отправиться теперь с этапом на восток и бежать с дороги или с какого-нибудь временного пункта, если обстоятельства сложатся благоприятно в смысле паспорта и денег. Однако, это был очень сомнительный расчет. Когда мы ехали на свои «дачи», у каждого было 20 удобных случаев для бегства. Но так как наши конвойные неизменно относились к нам непридирчиво, а порой даже дружелюбно, то мы считали недопустимым подводить их под суровое наказание. Можно ли было рассчитывать наверняка, что положение в этом смысле сложится иначе при путешествии на сев.-восток? Конечно, нет.

А временные пункты? Будут ли они? Не придется ли проследовать прямехонько с демьяновской дачи к чертям на кулички, в какой-нибудь благодушный якутский улус, от которого хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь? Это было более, чем вероятно.

Положение, словом, получалось таковое: итти в ссылку—пропадешь, и бежать без паспорта и почти без денег—засыплешься.

Решение бежать, однако, восторжествовало. Но настроение по этому поводу было не весьма торжественное. Пусть будет, что будет. Надо попытаться. Не отдаваться же проклятым фараонам без борьбы,—вот довод, который был решающим.

Собирались бежать из демьяновского плена одновременно со мной и такие, кому не угрожала высылка на восток. Одни стремились вернуться скорее к оставленной поневоле революционной работе; другие—предвидя неизбежную за коротким сибирским летом долгую студеную и голодную зиму. Иные—по обеим этим причинам.

Предполагали бежать в разных направлениях. Я, опасаясь не выдержать приключений кружного, менее опасного, но более долгого пути, решил взять кратчайшее направление—пароходом мимо Тобольска. На счастье: или пан, или пропал! «Если бы только еще денег! Хоть немного бы денег!»—стояло неотвязно в голове, когда я на разные лады обдумывал план бегства.

Наступил день (памятный день), намеченный мной для от'езда с «дачи».

Пароход снизу ожидался к вечеру.

Я зашел на квартиру об'яснить хозяевам (конечно, не говоря правды), почему несколько ночей не ночевал дома, и забрать кое-какие вещи.

Здесь меня ждали новости: во-первых, приходили два раза стражники,—зачем, об'яснить не хотели (мне-то было ясно, зачем). Во-вторых, поджидавший меня товарищ сказал, что на мое имя пришел в волость пакет на 70 или 80 рублей. Откуда деньги, как и что, он не знал.

Я не верил ушам: мне деньги? Сейчас? 70 рублей? Что-то прямо фантастическое.

Придя в себя и сообразившись с положением, я отправил товарища вперед с вещами, а затем вышел сам, наблюдая, не идет ли кто за мной.

Надо было в «штабе» посоветоваться, как быть с деньгами. Не был ли денежный пакет фортелем со стороны стражников, тщетно пытавшихся схватить меня дома? А если это не фортель, не западня, то как безопаснее получить драгоценные деньги?

Итти в волость было опасно: волостные власти могли знать о предстоящей мне высылке и тут же препроводить меня за решетку. То же, и еще с большим удобством, могли сделать и стражники,

если бы случайно оказались в волости, где они постоянно околачивались. Таким образом, мне самому итти за деньгами значило— лезть прямо волку в хайло. И это—в самый день от'езда! Бессмыслица! Нелепость!

Но что же? Отказаться от денег, в которых, может быть, мое спасение (паспорт и т. д.)? Трижды бессмыслица! Почти преступление...

Передоверить получку денег кому-нибудь? Тоже нельзя: и в этом случае мой визит в волость для засвидетельствования подписи был неизбежен.

Что̀ оставалось делать? Братья Фиши предложили такой план: я пойду за деньгами, а они соберут надежную компанию и будут меня ждать около волости; если меня заарестуют, они постараются расчистить мне дорогу. Разумеется, я решительно отверг этот самоотверженный план, ставивший под угрозу расстрела моих товарищей.

А деньги все-таки были нужны!

Решил пойти один, взяв лишь товарища А. Фиша, на всякий экстренный случай. Авось, кривая вывезет!

Пошли.

В волости не оказалось никого, кроме старшины, большебородого кряжистого мужика, да подростка—то ли сторожа, то ли рассыльного.

Как только мы ступили за порог, старшина сделал едва заметный знак глазами сторожу (я прекрасно его заметил), и тот вышел,— очень поспешно, как мне показалось. У меня что-то екнуло в груди. «За стражниками послал, прохвост, не иначе! Очевидно, знает про меня все. Эх, и зачем было лезть на рожон!».

И мой верный товарищ стоит преспокойно, не догадался пойти следом за сторожем, задержать его, выиграть время! Делаю ему знаки, он пучит глаза, старается понять и не понимает. Эх!..

Но надо было доводить дело до конца. И, главное, спешить, спешить! Обращаюсь к старшине:

— Мне прислали деньги?

«Деньги? Да, пришли. А от кого вы их ждете?»—Я на мгновение опешил.—«Гм... ну, как от кого? От родных, конечно».—«Из какого города?»—«Гм... как из какого города? У меня всюду столько родных!»—«Где же, к примеру?»—«Ах, чорт!—меня стала разбирать злость.—Что за нелепый вопрос где! Да мало ли где! В Киеве, в Одессе, в Харькове, в Саратове».

И я перечислил чуть не до десятка городов, откуда, по моему предположению, могла быть эта посылка.

Мне чинили настоящий допрос. Я всячески старался сохранить спокойствие, хотя внутри меня все кипело. Всякую минуту могли вломиться фараоны, а он тут тянет с расспросами, этот хитрый мужичишка, истый сибиряк, с испытующим взглядом и неторо-

пливыми движениями. Его придирчивые вопросы, как и все его поведение, очевидно, имели целью задержать меня до прихода полиции. Вот он кончил допрос и медленно, возмутительно медленно, открывает тяжелую крышку сундука, не торопясь вытаскивает пачку пакетов, долго ищет, что ему нужно, лениво пересчитывает деньги... А время так безумно дорого! Не выхватить ли мне у него пакет и не броситься ли опрометью вон, пока еще не нагрянули фараоны? Нет, потерплю еще немного. Куда ни шло.

А мой мучитель не торопится. Он, будто бы, ошибся в счете и начинает считать сначала. Пытка, настоящая пытка! Ясное дело— ждет стражников, мерзавец!

Мои глаза, тем временем, заняты усиленной и совершенно разной работой: один глядит возмущенно на старшину, на его толстые заскорузлые пальцы, которые он то и дело слюнит, отсчитывая слипшиеся бумажки, а другой тревожно косит на дверь, ожидая вторжения фараонов.

— Чорт бы побрал этого старшинишку! Убить его мало. Ведь, еще несколько минут, и я пропал!

Наконец, деньги сосчитаны. Я расписался. Деньги в моих руках. Пытка кончена, кончена! Глубоко, облегченно вздыхаю, хочу итти. Не тут-то было! Меня останавливают: «сочтите,—может, я обчелся!».

Что же это такое? Мне чудится под большими, нависшими усами старшины насмешливая улыбка: ясное дело, он издевается надо мной! Очевидно, мой арест предрешен. Где же и когда он произойдет?

Огромным напряжением воли осиливаю свое волнение, считаю деньги с пятого на десятое.

— Правильно. Правильно, правильно, благодарю вас!—и я иду к двери.

А мысль бежит впереди: «они», вероятно, там, за дверью, чтобы неожиданно схватить меня! Но и за дверью «их» нет, и улица пуста.

Игра была выиграна. И большая игра! Ставка была—не 70 рублей, а, может быть, целая жизнь...

Я так и не узнал, откуда и как были присланы эти деньги, и до сих пор с глубокой благодарностью думаю о своих таинственных товарищах или друзьях, пришедших мне на помощь в такой, поистине критический час.

Теперь у меня насчитывалось уже около сотни рублей. С такой суммой можно было действовать смелее.

Я спешил заняться выполнением дальнейших подробностей намеченного плана.

С приходом каждого парохода к пристани, стражники обычно располагались шеренгами по обе стороны сходней и следили во-всю, чтобы не пропустить на пароход кого-нибудь из своих клиентов. Проскользнуть незаметно под перекрестным огнем шпионских глаз—вот была первая задача, которую надо было решить.

Особых костюмов для переодевания, париков и грима под рукой не имелось. Надо было придумать что-нибудь немудрящее и все-таки не влопаться.

Я решил из своей интеллигентской физиономии и длинной фигуры изобразить согбенного, замызганного носильщика и в таком виде прошмыгнуть мимо полицейских ищеек. На квартире у одного из товарищей (кажется, все у тех же незабвенных Фишей) были сложены необходимые вещи: засаленная верхняя одежонка, вся в дырах, такие же штаны, круглая истертая шапчонка. Все это я на себя напялил,—не без некоторого содрогания, уж очень все было грязно,—и выпачкал свои довольно новые сапоги глиной и грязью, чтобы они казались старыми.

Кто-то занялся моей физиономией, подстриг бороду, подравнял усы. Получилось уродливо, зато лицо изменилось, а это и было самое главное. За отсутствием другой косметики, подправили его кое-где грязцой, и маскарад был кончен.

Мои пожитки пошли в мешок, старый и грязный, под-стать моему костюму. Когда я взвалил мешок на спину и, согнувшись, переваливаясь, пошел не спеша к пристани, меня трудно было узнать. Так, по крайней мере, говорили товарищи, встречавшиеся по дороге. Но все же они узнавали меня. А что скажут привычные шпионские глаза? Ведь, меня уже несколько дней искали по селу! Мою физиономию, мою фигуру они, вероятно, предварительно до тонкости изучили! Удастся ли провести их своим незатейливым маскарадом? Или они и не такие виды видали?

С этими тревожными вопросами в голове я медленно тащился к пристани.

Тем временем «прибежал» пароход. Я видел, как стражники выстроились у сходней и стояли там, пронизывая взглядами всех прохожих.

Чтобы отвлечь их внимание от собравшихся утекать, решено было послать на пароход несколько товарищей, не думавших уезжать. Занятые наблюдением за ними, фараоны—надеялись мы—проворонят нас. Однако, фараоны не пошли на эту удочку: из них только часть занялась слежкой за лже-беглецами, а остальные продолжали торчать у сходней. Наша «военная» хитрость не удалась.

Приходилось итти... итти сквозь строй шпионских взглядов! Не подождать ли еще немного? Авось, шпики отойдут, развлекутся чем-нибудь. Нет, стоят и пялят глаза во всю мочь. Хоть бы на счастье взялась откуда-нибудь большая группа пассажиров: за ней удобнее было бы проскользнуть на пароход. Но, как на зло, в этот день из Демьяновского почти нет от'езжающих.

А время бежит, страшно быстро бежит. Фиши уже несколько раз прошли на пароход и обратно. Итти ли мне?

Прогудел призывно второй гудок. Спешно подходят отдельные запоздавшие пассажиры и матросы. Больше медлить нельзя. Ну! Пусть будет, что будет.

Сгибаюсь насколько можно ниже, под мнимой тяжестью своего мешка, иду, кряхтя, отплевываясь и вытираясь грязным рукавом. Вот и шпионские шеренги. Пройду ли? Из-под низко надвинутой шапки бросаю взгляд направо, налево, на «них»: пялят, анафемы, буркалы во-всю! Но как-будто спокойно, без огонька, словно не чуят добычи... Вот «они» уже все позади... Шагов за мной не слышно... Неужели прошел?.. Если бы!.. Медленно поднимаюсь на борт, незаметно скашиваю свой более зоркий глаз на «них»: стоят смирно, за мной никто не пошел... Победа!..

Итак, я на пароходе. Но этим решена только часть задачи, и далеко не главная. Надо еще на этом пароходе проехать без паспорта несколько сот верст и не влететь. Когда обсуждался план бегства на «военном совете», никаких надежных способов решения этой задачи мы не нашли. Мне советовали лишь ускользнуть «как-нибудь» от внимания капитана, забившись в угол; постараться войти в связь с командой и, если это удастся, укрыться в ее помещении.

Но ничего верного во всем этом не было. Приходилось отдаться на волю случая: не заметит капитан, попадется отзывчивая команда—проедешь; а нарвешься на дошлого и придирчивого командира или на черносотенника (хотя бы одного) в команде—пиши пропало.

Я поместился в дальнем затененном углу парохода. Но скоро мой босяцкий вид, помогший проскользнуть мимо стражников, стал, напротив, возбуждать подозрительность соседей. На меня стали косо поглядывать, перешептываться. Можно было ожидать, что мной скоро заинтересуют капитана, а тот на первой остановке меня вытряхнет.

Я пересел ближе к помещению команды, ютившейся внизу в кочегарке. Гляжу—началась проверка документов! Что делать? Как избежать новой опасности? Единственный выход—спуститься в кочегарку. Но что меня там ждет? Однако, долго думать некогда. Улучив минуту, открываю люк и лезу вниз—на погибель или на спасение?

В тесной, полутемной кочегарке сидело несколько человек из низшей команды. Когда мои глаза привыкли к темноте, я разглядел в сторонке еще две фигуры. Вглядываюсь пристальнее—о, радость! Это—мои товарищи по саратовской организации: тов. Петр и Сима И—вич.

Тепло поздоровались, разговорились. Товарищи сели на одной из предыдущих пристаней; паспортов у них не было, как и у меня; это и заставило их искать спасения в кочегарке. Здесь их встретили, оказывается, довольно радушно; и то, что не высадили

в Демьяновском, было значительной гарантией порядочности команды и ее политической сознательности.

Познакомился с командой и я. Пришлось откровенно рассказать о своем положении, утаив лишь о предстоящем путешествии к якутам, в случае поимки. Одни выслушали мой рассказ спокойно, почти безразлично, другие—и большинство—внимательно и участливо. Дело как-будто устраивалось. У нас завязался разговор на злобы дня—что творится сейчас в «России», есть ли у нас надежда одолеть царскую силу и т. д. В результате этих бесед, в дальнейшем кое с кем из команды установились чисто-товарищеские отношения.

Однако, полной уверенности в успехе не было. Ведь, среди десятка наших новых знакомых мог затесаться шпион или заядлый черносотенник. Да и помимо этих элементов, в случае какого-нибудь переполоха (генеральной проверки и т. п.), трудно было рассчитывать на товарищескую поддержку со стороны всех без исключения. Некоторых служащих наше вторжение в кочегарку, видимо, стесняло и беспокоило, и из боязни, как бы чего не вышло, наиболее осторожные, вероятно, не прочь были бы от нас отделаться.

Опять стали тревожить вопросы: доедем ли до Тюмени? Не высадят ли на ближайшей пристани? И что будет в Тобольске, где, как нам было известно, жандармы производят осмотр всех пароходов, шарят по всем углам?

Попытка, осторожная, с извинениями, предложить команде деньги потерпела решительную неудачу: от денег наотрез отказались. Почему? Мотивы могли быть и самые прекрасные, полные товарищеского бескорыстия, и менее благовидные, а то и совсем неблаговидные. Какие были налицо, мы не знали.

Наш пароходик вверх по реке не бежал, а тащился медленно-медленно. Душно, темно было в кочегарке. На палубу мы выходили с большой оглядкой, под вечер и когда кругом никого не было из старшей команды.

Но вот стали подходить к Тобольску. На душе заскребло. Огонек надежды, тлевший в ней, готов был совсем угаснуть; густые тени потянулись со всех сторон. Где и как укрыться от жандармов? Дальше кочегарки, глубже ее, не уйдешь. Других тайников на пароходе, очевидно, не было. А кочегарка выдаст, как пить даст. Достаточно сверху, через люк, внимательно заглянуть вниз, и готово: знатных иностранцев повытянут за ушко на солнышко!

Паспортов за время поездки нам не удалось раздобыть, хотя мы и предлагали большие деньги.

Настроение команды становилось тревожнее. Мы стали замечать косые взгляды. Опасность надвигалась, последняя, самая грозная, с каждым взмахом пароходных колес все ближе и ближе. А выхода не видно было, даже ничего похожего на выход: хоть вплавь в воду бросайся перед Тобольском!

— Дело к серьезному подходит, приятели!—участливо говорил нам один из команды, с которым мы всего ближе сошлись за поездку, молодой, чернявый, высокий, с нервным, подвижным лицом.— Тобольск близко. Беспременно фараоны с обыском придут. Раньше этой пакости на пароходах не бывало, а теперь без нее не обойдешься: обязательно влезут, анафемы!

Каждое его слово камнем падало на сердце: «Стало быть, пропадем!.. Эх! Если бы раньше-то, когда этой «пакости» еще не было!»

— Но,—прибавил, помолчав, наш собеседник,—может, устроим вас как-нибудь. Столько времени везли, авось, провезем и тут!

Мы горячо благодарили его за участие, но в чем могли выразиться спасительные «как-нибудь» и «авось», решительно не догадывались: как-будто, нигде кругом не было даже их признака.

Посоветовавшись кое с кем из своих товарищей, чернявый предложил нам следующий план. Рядом с кочегаркой, в самом конце кормы, была крохотная каморка—отсек (существования которой мы и не подозревали). От кочегарки она отделялась дощатой перегородкой с лазейкой. Лазейка плотно задвигалась доской, так что снаружи трудно было ее приметить. В эту каморку и должны были мы залезть.

Каморка была для нас настоящим открытием, не менее радостным, чем в свое время для Колумба земля. Мучительный вопрос сразу разрешался. Среди глубокой тьмы сразу чудесным образом засияло солнце. Мы спасены! Пусть фараоны рыщут по всему пароходу: им ни за что нас не открыть!

Да, мы спасены... если... если, конечно, никому из команды не вздумается кивком головы или взглядом указать на наше убежище!.. И—если лазейка никому из архангелов неизвестна, что тоже стояло под вопросом.

Но—выбирать было не из чего.

Открыли задвижку, лезем!.. Поместился один, с величайшим трудом втиснулся другой, а третьему—увы—места нет! Сто тысяч чертей, вот тебе и спасение!

Кого-то, стало-быть, надо отдать на верное с'едение фараонам. Кто же достанется им в жертву? И кому лезть в спасительную каморку? Создалось положение, в достаточной мере мучительное. По инстинкту, каждый мог думать: «Кто-то из нас должен пропасть,—это ясно. Но почему именно я? Почему мне не спастись? И зачем этот проклятый выбор? Зачем?..» Разумеется, каждый из нас уговаривал остальных идти в каморку...

Наконец, кое-как вышли из затруднения. Симе И—вич, как женщине, могли угрожать при поимке особого рода издевательства, поэтому она поместилась в каморке первая. За ней последовал я, как человек высокого роста, которого трудно было спрятать как-нибудь иначе. Для тов. Петра, низкорослого, щупленького,

разыскали мешок, посадили его туда, сверху завязали, попримазали, поприсыпали углем и поставили в угол.

Всем строжайше было запрещено кашлять и чихать. А Петру—особенно. Кроме того, ему вменялось в обязанность никак не шевелиться, т.-е., другими словами, во все время стоянки у Тобольска нести настоящую пытку. Наша каморка, сырая, вонючая, до последней степени тесная, была, по сравнению с его мешком, раем: она, все же, допускала возможность менять положение.

Разместились. Вскоре пароход сдал ход: стало быть, Тобольск! Сейчас нагрянут фараоны! Что-то будет? И потянулись минуты ожидания, показавшиеся вечностью. Особенно, надо полагать, для тов. Петра.

Между прочим, в конце-концов, наше положение в смысле риска уравнивалось: если бы жандармам удалось обнаружить в угольном мешке беглого товарища, засыпались бы и мы. Жандармы, конечно, стали бы обнюхивать все мышиные норки и непременно нас открыли бы.

Вот пароход причалил к берегу. За этим несколько минут—тишина!.. И вдруг—сразу суматоха, движение! Должно быть, орава архангелов бросилась на пароход.

«Теперь держись, товарищи! Петя, крепись! Боже тебя сохрани чихнуть от угольной пыли или пошевельнуть онемевшей ногой! Пропадешь. Пропадешь, и нас сгубишь!..» Мы насторожили все наше внимание... Вот шаги стали ближе... Теперь шагают над самыми нашими головами... А вот, совсем близко—звон шпор и лязганье оружия... «Петя, милый!.. Действуй!.. Нет: вернее—бездействуй во что бы то ни стало! Терпи! Спасай себя и нас»... Мгновения, которые не забываются во всю жизнь!.. Но вот—шаги, звон шпор, шум голосов начинают удаляться... Неужели ушли, никого и ничего не открывши? Неужели спасены? Что-то не верится... Ждем условленного стука в перегородку—сигнала о счастливом исходе вражьего налета... Еще несколько мгновений тяжелой неизвестности... Что-то с Петром? А! стучат, громко, уверенно! Уф!.. Словно гора, целый Казбек с души свалился... Стало быть, мы спасены!?.

Как мы потом узнали, фараоны только заглянули сверху в кочегарку, понюхали и ушли прочь, не учуяв дичи. На пароходе вообще на этот раз не было улова. Зато с баржи, которую пароход тащил за собой, сняли несколько беглецов, пытавшихся проехать «как-нибудь», наудалую.

Перед Тюменью мы опять проделали «трюк» с каморкой и мешком, но—скорее на всякий случай, а там—последняя остановка, и—свобода, свобода!..

С парохода мы ушли, дружески простившись с нашими спасителями—кочегарами и матросами, бесконечно тронутые участием,

бескорыстием и самоотверженностью этих, дотоле нам совершенно неизвестных людей.

Верные, неоцененные друзья-товарищи! В самых сокровенных глубинах своих укрыла душа воспоминание о вас, вместе с горячей признательностью, и, пока в ней будет дрожать биение жизни и гореть мысль, будете жить для нее и вы!..

На явочной квартире в Тюмени мне дали годовой паспорт на имя какого-то Ал. Ал. Соколова, плохонький, не очень искусно вымытый,—словом, настоящую фальшивку. Но он показался мне дороже самых алмазных копей Голконды. С ним я и покатил в «Россию», навстречу нелегальному будущему, в достаточной мере истрепанный и физически и душевно, но счастливый, в первую голову, блаженным ощущением свободы, вырванный из зубов фараонов!

Н. Лавринович.

„На уру“[1].

1.

Вся наша маленькая колония собралась у Вацлава, когда в избу вошел десятский и сообщил, что его зовет урядник.

Все переглянулись. Что это могло значить? Обыкновенно урядник держался с нами довольно просто и почти всегда приходил сам. К себе же вызывал лишь в тех редких случаях, когда имел сообщить что-либо особенно важное, или когда приезжал пристав.

— Очевидно, приглашают в Якутку,—заметил кто-то из товарищей.

В этот период (1902—6 г.г.) многих ссылали до приговора,—административного, конечно. И тех из ссыльных, кому затем приходил приговор свыше четырех лет, из Енисейской и Иркутской губерний переводили в Якутскую область. Мы с Вацлавом были именно в таком положении. Мы давно уже знали из писем, что приговорены к пяти годам ссылки, и потому со дня на день ждали об'явления приговора и перевода.

— Ну, в Якутке вы всегда успеете побывать, а пока можете еще пожить в России или ехать за границу.

От урядника Вацлав пришел взволнованный и сердитый.

— Представьте, пристав не давал даже времени собраться. Вот садись и поезжай сейчас же! Наконец, подействовало лишь мое указание, что я здесь не один, а с женой,—дал двое суток на сборы. Да и то велел уряднику строго следить за мной и навещать чуть ли не через каждые два часа.

Создалось положение действительно нелепое. Мы с Вацлавом давно уже собирались бежать. Теперь со дня на день ждали денег и документов. А тут вот сюрприз!

— Быть может, попытаться все же? Может быть, за это время можно что-нибудь устроить в Енисейске?—нерешительно заметил Вацлав.

[1] Автор — бывший слесарь Брянского завода. Был сослан в с. Бельское, Енисейской губернии. Скончался в 1921 году в Крыму.—*Ред.*

— Попытаться можно, конечно, но тогда уже придется ехать «на уру».

В наших давнишних разговорах о побеге намечалось два плана. Один из них, требовавший много времени и выносливости,—план поездки на лыжах через тайгу. Другой путь, более рискованный, мы называли «на уру». При этом весь расчет был построен на том, что мы, если поедем на хороших лошадях и будем хорошо платить на чай, сумеем выиграть несколько часов времени, чтобы добраться до Ачинска, сесть в поезд и стушеваться в массе пассажиров. Само собой разумеется, что теперь, когда за Вацлавом следили уже по пятам, можно было бежать только «на уру».

Наша колония занялась приготовлениями к побегу, а я взял у хозяина лошадь и в ночь отправился в Енисейск.

2.

В Енисейске все удалось устроить довольно быстро. И, основательно покормив лошаденку, часов в одиннадцать утра я тронулся уже в обратный путь с деньгами и паспортом в кармане.

Приблизительно на полпути случилось происшествие, едва не расстроившее весь наш план. Проведя по дороге в Енисейск бессонную ночь, к тому же убаюканный розвальнями, я уснул. Проснувшись, слышу крик:

— Сворачивай, не видишь что ли!

Лошадь моя стояла на дороге, а против нее стояла пара цугом, запряженная в возок. Это был пристав.—«Все пропало!»—как молния пронеслось у меня в голове. Надвинув на уши шапку и подтянув выше воротник дохи, я, как бы спросонья, лениво повернулся спиной к возку и дернул правую вожжу. Мои розвальни глубоко ушли в снег. Возок быстро проскочил мимо. Очевидно, пристав не узнал меня.

3.

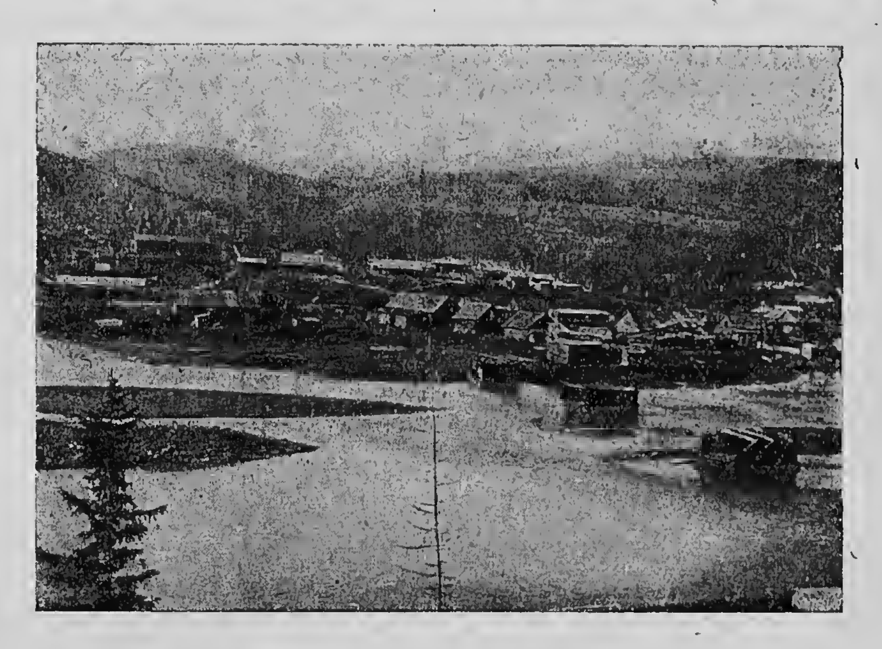
Часов в девять вечера я был уже у себя в селе. Здесь все уже было готово к от'езду. Самое трудное было найти хороших лошадей. Администрация строго запрещала крестьянам давать нам лошадей или возить нас куда-нибудь без разрешения. Конечно, всегда находились крестьяне из менее зажиточных, или поселенцы, которые, желая заработать, рисковали навлечь на себя немилость начальства. Но у таких лошади были плохие. Зажиточные же крестьяне имели хороших лошадей, но боялись давать их. Помог случай. Как-раз в этот день кончили свое дежурство[1] лошади, которые должны были вернуться в свою деревню, лежащую на нашем

[1] В то время в Сибири существовала еще подворная повинность.

пути. Крестьянин из соседней деревни мог и не знать, кто мы, и потому охотно согласился свезти нас.

Вся колония собралась у товарища, занимавшего маленькую избенку на самом краю села. Вацлав должен был пройти задворками прямо к лошадям в самый последний момент, так как слежка за ним усиливалась, кажется, с каждым часом.

Мы с Вацлавом очень боялись, что товарищи, большею частью все очень молодые люди, будут слишком суетиться и этим наве-



Северные прииски.

дут на мысль и сельские власти, что что-то затевается. Но, по счастью, опасения наши оказались напрасными. Повидимому, пока никто ничего не подозревал.

Часам к одиннадцати вечера я был совершенно готов в путь. Снял машинкой свою большую бороду, чтобы изменить внешность, закусил, напился чаю. Вошел товарищ и сообщил, что лошадь ждет, а Вацлав уже пошел туда.

4.

Ночь была темная. С вечера еще выпал снег, мягко хрустевший под ногами.

Если бы меня не окликнул Вацлав, я не заметил бы лошадей и прошел бы мимо. Они стояли в полуверсте от деревни у опушки леса, в стороне от дороги. В маленький легкий возок была запряжена цугом пара хороших лошадей. Вацлав с ямщиком уселись в возок; я же взобрался на козлы. Это была маленькая хитрость.

Постоянно подгонять ямщика, торопить его—значит возбуждать в нем подозрения. Он не был посвящен в цель нашей поездки и, вероятно, думал, что мы просто едем в какую-либо из ближайших деревень повидаться с товарищами. К этим поездкам крестьяне давно привыкли. Между тем как сам я мог гнать лошадей, не возбуждая никаких подозрений.

Застоявшиеся за неделю лошади тронулись дружно. Их не только не приходилось подгонять, но, наоборот, приходилось еще сдерживать.

По обе стороны дороги высились громадные стены леса.

— Однако, паря, волки?

— Где?

— Эва!—ямщик показал направо в лес. Там, действительно, светилось несколько огоньков, переливавшихся фосфорическим блеском. Лошади, очевидно, почуя серых, начали похрапывать и прясть ушами.

— Но, смотри на дело, эва!

Ободренные знакомым голосом, кони немного успокоились и пошли ровнее. Мы выехали в поле, и огоньки вскоре скрылись.

По моим расчетам, мы ехали со скоростью, по крайней мере, пятнадцати верст в час. Таким образом, если бы за нами погнались даже немедленно после нашего от'езда, то и тогда до первой деревни мы выиграем целый час,—ведь, те поедут на казенных лошадях, которые повезут никак не больше десяти верст в час.

Лошадей я не жалел, и когда мы под'езжали к первой деревне, они были в мыле.

— К Еремею, однако, вас завезти?—спросил ямщик, когда мы уже в'езжали в деревню.

— Да все равно. Лошади-то у него хорошие? Нам бы к вечеру до Измайловского надо добраться.

— Чего уж! Лошади первеющие в деревне. Ямщик известный.

Сибирские ямщики ездят обыкновенно по «станкам», от деревни до деревни, которые обычно расположены друг от друга на расстоянии 25—30 верст. При этом чиновники, которые ездят на земских лошадях, заезжают прямо в земскую избу; «вольных» же путешественников ямщики завозят к своим знакомым ямщикам.

— Вздуть самоварчик-то?—обратилась к нам заспанная баба, когда мы, наконец, разбудили ямщика и вошли в просторную избу.

Нам, признаться, очень хотелось погреться, но вместе с тем мы по горькому опыту знали, что, заказав самовар, не удастся скоро уехать, и отказались от удовольствия выпить чаю.

Мы щедро, умышленно при новом ямщике, расплатились с первым и сели в новый возок. Расчеты мои оправдались вполне—32 версты до первой деревни мы проехали в два часа.

— Ну, веселенькие, трогай!—раздался зычный голос нового ямщика. Звякнули бубенцы. Мы выехали из-под навеса и быстро покатили вдоль улицы.

5.

Мы с Вацлавом почти не разговариваем. Да и о чем говорить? О том, что нас обоих больше всего беспокоит и волнует,—догонят нас или не догонят,—неудобно при постороннем человеке. Мы пробовали об'ясняться на иностранных языках, но из этого ничего не выходило. Я почти не говорил по-французски, Вацлав плохо понимал по-немецки. Каждый был занят своими мыслями.

А что, если?.. Брр... об этом не хотелось и думать... Далекая Якутка, весьма возможно Колымск, — оттуда вряд ли убежишь. При одной мысли о такой перспективе по спине пробегает нервная дрожь.

Тяжелые свинцовые тучи начали редеть, рваться. То здесь, то там в образовавшиеся расщелины показывалась луна, заливавшая своим мягким светом дорогу и лес и бросавшая вдоль опушки причудливые тени. Мороз заметно крепчал.

Я плотнее закутался в свою теплую оленью доху и расположился в возке полулежа.

6.

— Однако, паря, заснул крепко,—слышу я сквозь сон. Меня сильно тормошат. Я с трудом открываю глаза. Оказывается, мы приехали на следующий станок.

— Ну и спишь, однако!—снова на разные лады повторяет мой ямщик.

«Да,—думаю я,—если бы ты так, как я, отмахал двести верст да две ночи не спал, то и ты заснул бы так!»

Скоро лошади были готовы, и мы тронулись дальше. Ямщик попался пожилой, менее болтливый, но вез все же хорошо.

В общем, пока все шло гладко. Скверно было лишь то, что ямщики передавали друг другу, что едут ссыльные. Это было неприятно, во-первых, потому, что по дороге нам мог попасться кто-либо из администрации, и тогда неизвестно, чем кончилась бы эта встреча. Во-вторых, это, несомненно, отразилось бы на погоне. Когда охотник гонится по свежим следам зверя, его энергия и настойчивость не ослабевают. Совсем другое дело, если следы потеряны. Он начинает бросаться из одной стороны в другую, мало-по-малу энергия его ослабевает, и, наконец, он бросает преследование. Как потом оказалось, все эти соображения вполне оправдались.

7.

К восьми часам утра мы отмахали верст восемьдесят и позволили себе отдохнуть, закусить и выпить чаю.

— В Ачинск по торговой части?—обратился ко мне белый, как лунь, старик, присаживаясь на лавку.

— Да, по делам,—уклонился я от прямого ответа.

— Хлебом аль пушниной торгуете?

Эти вопросы, признаться, озадачили меня. Значит ли это, что последний ямщик не передал, что мы ссыльные, или старик еще не успел узнать? Но вот в избу вошел его сын, крепкий, коренастый мужик, и тоже обратился с расспросами о ценах на товары. Очевидно, привезший нас на последний станок мальчик был не болтлив и не сказал, кто мы, и те сразу приняли нас за купцов.

— След потерян,—мелькнуло у меня в голове, и я охотно отвечал на задававшиеся мне вопросы и рассказывал, по чем в Енисейске рожь, овес, пушнина. Все это я знал, так как постоянно слышал у торговца, у которого занимался с детьми.

— Ну, с богом, трогай, счастливо!—бормотал старик, любовно хлопая по шее передовую лошадь. Лошади были чисто сибирские: маленькие, кругленькие и очень бойкие.

8.

Выехав за деревню, мы очутились на высокой горе, с которой открывался дивный вид. Внизу, у самого подножья горы, дорогу пересекала глубокая падь. Очевидно, здесь протекала река. За рекой высился острый гребень вековых сосен, окутанных белыми мохнатыми шапками. А дальше, сколько хватал глаз, виднелся густой девственный лес. Кое-где виднелись скалистые гребни гор. Эту чарующую девственную картину освещали косые лучи только-что взошедшего солнца, бросавшего по снегу мириады искорок.

— Какая красота, какой простор!—вырвалось у Вацлава.

— Мне стыдно сознаться,—сказал я,—но мне как-будто жаль так скоро уезжать отсюда.

— Да, интересная, девственная страна,—заметил Вацлав,—и народ интересный, самостоятельный, кряжистый, но что поделаешь, если у нас такой ограниченный выбор: уезжай сейчас, или долгие годы Якутки!

И это говорил человек исключительно городской, выросший и чуть ли не безвыездно проживший в Варшаве. Мне часто жалко было смотреть на него в деревенской обстановке,—так детски беспомощен был он здесь.

Наши лошади быстро мчались под гору, весело позвякивая бубенцами. Возок взлетел на мост и затем круто повернул вправо. Дорога шла вдоль крутой горы, поросшей густым ельником.

— Летось здесь станового убили,—сказал ямщик, показывая кнутом в чащу леса у мостика.

— И часто это здесь бывает?

— Нонче нет, а раньше кажную весну здесь подснежника три-четыре оказывалось.

Снег здесь такой глубокий, что труп, брошенный хотя бы на сажень от дороги, оставался невидным и появлялся из-под снега только весной. Такие, появляющиеся весной трупы сибиряки и называют «подснежниками».

9.

На вторую ночь мы уже приближались к Ачинску. Деревни начали попадаться настолько часто, что мы не в каждой из них меняли лошадей. Дорога стала шире и наезжаннее. Чаще стали попадаться обозы.

И по мере того, как мы приближались к железной дороге, нас все больше и больше беспокоил вопрос,—а что, если «они» догадались одновременно с погоней за нами дать знать в Енисейск, а оттуда в Красноярск, и уже по всей линии послана телеграмма?

Правда, обычно все это происходило значительно медленнее. Так как всякий побег причинял администрации, особенно низшей, неприятности, то она прилагала все старания, чтобы ликвидировать его своими средствами. Прежде всего, беглеца ищут на месте, затем в Енисейске; и только после того, как эти поиски окажутся тщетными, обращаются к губернской администрации. Сплошь и рядом на эти, так сказать, предварительные поиски уходило четыре-пять дней, а то и целая неделя.

10.

В Ачинск мы приехали чуть свет. Но день был базарный, и постоялый двор, куда нас завез ямщик, кишел народом.

— Вы чьи будете?—спросил нас половой, втаскивая вещи.

Я сначала смутился, а потом назвал первую пришедшую на память фамилию енисейского купца.

— А другой евойный приказчик тут, сейчас кудась вышел, я позову.

Встреча с «евойным» приказчиком нам, разумеется, не улыбалась. Да и вообще пребывание на постоялом дворе, где мы каждую минуту могли встретиться с енисейскими торговцами, было довольно рискованно. Поэтому мы, едва выпив чаю, поспешили покинуть постоялый двор. Вещи мы свезли на вокзал и тут же, к нашему великому огорчению, узнали, что первый поезд идет только в пять часов вечера.

Что делать? Оставаться на вокзале целый день неудобно. У нас были в Ачинске товарищи, но заходить к ним было рискованно, потому что за их квартирами обычно была установлена слежка. Оставалось бродить по городу, благо день базарный, и мы могли шляться, не навлекая на себя подозрений.

Мы условились с Вацлавом ехать в разных вагонах и брать билеты не прямо до Пензы, где мы предполагали сделать первую остановку, а по отдельным участкам. Так, я взял билет до Каинска, а он до Ново-Николаевска. Мы имели в виду, что если телеграмма уже дана, то прежде всего обратят внимание на тех пассажиров, у которых билеты взяты прямо до Европейской России. Именно эти города мы выбрали потому, что здесь меняется кондукторская бригада, и, таким образом, новые кондуктора встретят нас, как новых пассажиров.

В общей сложности, я не спал уже три ночи и проехал за это время пятьсот с лишним верст. И потому в пять часов, едва ввалившись в вагон, я улегся на лавку и заснул богатырским сном.

11.

— Билеты пожалуйте, ваши билеты!—громко на весь вагон вопил кондуктор, расталкивая спящих пассажиров.

— Ну и спите же вы, почтенный!—обратился кондуктор уже прямо ко мне.—Насилу добудился!

За плечами кондуктора виднелась монументальная фигура жандарма. Он следил за пред'являемыми билетами и внимательно осматривал пассажиров.

По обе стороны пути тянулась жиденькая, чахлая, сплошь обгорелая тайга.

В Ново-Николаевске, где должен был брать билет Вацлав, поезд стоял почему-то очень долго.

— Ищут кого-то!—вполголоса сообщил соседу ходивший на станцию мастеровой.—Архангелы так и шныряют промеж вагонов.

По перрону, действительно, то и дело сновали жандармы, часто пробегал жандармский офицер. Но вот раздался звонок. В вагон снова вошел мастеровой.

— Нашли, взяли, на площадке последнего вагона был.

Я очень беспокоился за Вацлава, и как только тронулся поезд, я отправился по вагонам, чтобы посмотреть, цел ли он. Он был «цел», но сидел взволнованный, очевидно, этими поисками, красный, как кумач. Увидев меня, он, видимо, успокоился.

12.

Давно уже исчезла чахлая, тянувшаяся на сотни верст тайга. Кругом расстилалась беспредельная, покрытая снегом равнина.

Мы приближались к Челябинску, самому страшному для нас пункту. Здесь, на границе Азии и Европы, как мы слышали, тщательнее, чем где-либо, осматривают пассажиров, документы.

С момента нашего исчезновения прошло уже пять суток, и телеграмма, несомненно, уже разослана. Интересно было бы знать,

как описаны были в телеграмме наши приметы. Мне случайно удалось узнать, что несколько месяцев тому назад, когда бежал один мой товарищ, его приметы были описаны следующим образом: «среднего роста, блондин, бритый, доктор медицины».

Если отбросить последнюю «примету», которая ни на лице, ни в документе не значилась, то остальные приметы были столь общи, что, руководствуясь только ими, можно было задержать, по крайней мере, пол-поезда.

Поезд остановился у станции. Кое-кто из пассажиров, взяв вещи, направился к выходу. Но, увы, вагон оказался запертым.

— Что это значит?—недоумевают пассажиры.

— Это часто в Челябе бывает,—поясняет сибиряк.—Стало, контроль документов будет.

Вскоре, в самом деле, щелкнул замок, и в вагон вошли жандармский офицер с тремя жандармами и несколько кондукторов.

— Приготовьте ваши билеты и документы!

Жандармский офицер окинул беглым взглядом наше купе, вытащил из кармана записную книжку и, заглянув туда, начал шарить глазами. Внимание его привлек господин, сидевший в самом углу купе. Офицер взял его документ, внимательно просмотрел и как-то нерешительно вернул его обратно.

Я обратил внимание на внешность господина, так заинтересовавшего жандармского офицера. Он был высокого роста, блондин, с окладистой русой бородой. Я готов был биться об заклад, что этого господина жандарм принял за меня. Очевидно, в телеграмме, в числе примет, значилась и моя борода, которую я снял, уезжая из своего села.

На меня жандармский офицер не обратил никакого внимания. Да и в самом деле, чем могла привлечь внимание моя фигура? Небритая физиономия, барнаульский полушубок, олелья шапка и пимы (валенки)—типичная фигура сибирского купца или приказчика.

Эта сценка привела меня в очень хорошее настроение. Мне очень хотелось поиронизировать насчет жандармских «примет». И только явным усилием воли мне удалось удержаться от какой-либо мальчишеской выходки.

13.

Я проснулся от какого-то шума в вагоне. Едва брезжил рассвет. Справа и слева были видны отроги гор Уральского хребта.

— Пред'явите ваши билеты! Кто едет от Ачинска?—визгливым голосом кричал кондуктор.

За ним шел жандармский офицер и целая группа кондукторов и жандармов.

— Вы откуда едете?—вопрос был обращен ко мне.

— Из Каинска,—ответил я возможно тише, чтобы не слышали соседи, среди которых были пассажиры, ехавшие со мной от Ачинска.

— Ваш билет!

Я пред'явил билет. Кондуктор успокоился. А жандарм даже не взглянул на билет. И этот жандармский офицер, как и челябинский, все присматривался к господину с русой бородой.

— Вы откуда изволите ехать?—обратился, наконец, он к нему.

— Из Ачинска.

Физиономия жандарма вытянулась.

— Будьте добры пред'явить ваш документ!

Офицер долго и внимательно рассматривал документ, видимо, тщательно разглядывал подписи, печати.

— Я вас попрошу на минутку последовать за мной.

Они прошли в служебное отделение. Скоро наш спутник, смущенный, вернулся на свое место, а жандармский офицер со своей свитой продолжал свое дело.

— Они разыскивают кого-то, и вот приняли меня за того, кого разыскивают,—отвечал господин на расспросы любопытных пассажиров.

14.

Мы миновали Уфу, Златоуст, Самару. Состав пассажиров сильно изменился, и моя барнаулка и пимы уже обращают на себя внимание.

Я все чаще и чаще захожу в вагон к Вацлаву, так как его состояние начинает пугать меня. Нервный, крайне впечатлительный, он за эти дни изменился до неузнаваемости,—так отразились на нем эти волнения. Кажется, еще немного—и с ним начнутся нервные припадки.

Наконец, мы благополучно добрались до Пензы. Разыскав моего брата, мы отдохнули у него, почистились и переоделись в европейское платье.

В ту же ночь мы тронулись дальше.

15.

На какой-то маленькой станции Балашовской дороги в наш почти пустой вагон садится группа не то рабочих, не то мелких торговцев. Один из них показался мне очень знакомым. Я пристально всматриваюсь, припоминаю и... узнаю переодетого жандарма, несколько лет тому назад возившего меня из Харькова в Орел.

Эта встреча, конечно, могла быть чистой случайностью. Но в первый момент, само собой разумеется, прежде всего приходит в голову мысль, что это не случайность, что он, как человек, знавший меня в лицо, умышленно послан в погоню за мной.

Что делать? Бежать куда-либо в сторону, бросить Вацлава? А если это чисто случайная встреча? Чтобы выяснить это, я схожу на первой же станции и слежу за ним. Он не обратил ни малейшего внимания на мой маневр. Очевидно, он даже не узнал меня.

16.

Поезд мчит по знакомым местам, где «снова былое на память приходит».

Слева в окошке мелькают фабрики и заводы, справа—мелкие деревянные постройки окраин Харькова.

Бродягу всегда тянет посмотреть на родные места, несмотря на то, что именно в родных местах его задержат скорее, чем где бы то ни было. Сколько приходилось мне слышать таких рассказов! Особенно врезался мне в память следующий случай. Ссыльно-поселенец, пробыв в Сибири 10 лет, получил право жить где угодно, за исключением лишь своей губернии, где он совершил преступление. Но его больше всего тянет именно туда. Исколесив всю Сибирь, пройдя пешком тысячи верст, он попадает, наконец, в родной город и, еще не повидавшись с родными, заходит в трактир отдохнуть и выпить чаю. Здесь его узнают, арестовывают и отправляют обратно в Сибирь. Так он и не повидался с родными.

То же самое едва не случилось и со мной.

Мне очень хотелось остановиться в Харькове, повидать знакомых. Мы долго торговались по этому поводу с Вацлавом и, наконец, сторговались—остановиться только до следующего поезда.

Заходим в буфет, пьем кофе. Но что это? Почти против нас усаживается молодой жандармский офицер—ад'ютант Харьковского жандармского управления, который вел мое первое дело! На наше счастье, он не один, а с дамой и, повидимому, очень ею занят.

Мы сидим, как на иголках. Обжигаемся горячим кофе. И едва допив свои стаканы, расплачиваемся и бежим без оглядки.

Упрекам нет конца. Я чувствую себя виноватым и соглашаюсь на все предложения Вацлава. И мы мчим дальше.

Снова мелькают окраины, дачи. Вот «Новая Бавария», где «некогда она меня встречала»...

Прощайте, родные места! Бродяга не имеет права любоваться вами!

Г. Нестроев.

Наши побеги.

Как ни зорко следила полиция за ссыльными, но побеги, хотя и с большим трудом, удавались. В 1907 году, когда сибирское крестьянство было почти сплошь революционно настроено, а местные черносотенцы иемы, когда урядники, пристава и исправники сквозь пальцы смотрели на иобеги, а матросы, пароходная администрация и даже пароходовладельцы не боялись ответственности и иокровительствовали побегам ссыльных,—из одного только Олекминска бежало около 45 человек из 50.

Самым выдающимся был побег Хаенко, Махлина и Андреева, административно сосланного из Москвы после оправдания его военно-полевым судом ио процессу Владимира Мазурина.

Рассказывали, что весь путь до Иркутска они совершили почти пешком, без денег, имея лишь крестьянские адреса. Они шли в качестве ириискателей, которые массами направлялись летом на Витимские и Олекминские золотоносные системы, изучив основательно их «язык», нравы и манеры и узнав подробно путь. После Витима иуть сделался труднее, и они пользовались помощью крестьян, которые их укрывали и указывали им ближайшие дороги на следующие станки. Кое-где, встречая крестьян, они садились в телегу и отдыхали от долгой ходьбы.

Так шли они почти три месяца. Летом 1908 г. Андреев прибыл в Якутск и заходил узнавать, сможет ли он, до отправки в Вилюйск, бежать вторично.

Массовые побеги обратили внимание далеких властей. Было отдано распоряжение «принять меры». Уже в 1908 г. все приходящие и уходящие иароходы осматривались тщательно полицией. И пока хотя бы один ссыльный оставался на пароходе, он не отходил от пристани. Кроме того, каждый пароход сопровождался до конечного иункта агентом по надзору за ссыльными, которых все они знали в лицо. И если кто-либо садился на пароход не в Якутске, а в каком-либо другом месте, то иодвергался риску быть узнанным. Помимо всего, после отхода каждого иарохода (два раза в неделю), в квартиры всех ссыльных под разными предлогами пытались ироникать агенты, городовые—с целью узнать, все ли на месте.

Несмотря на все эти меры, с января по сентябрь бежали: из Вилюйска—Двинянинов, из Якутска—И. И. Ракитникова, Иванов, Бэла Лапина, Свядощ и пишущий эти строки. И. И. Ракитникова, жившая в семье Афанасьевых, бежала зимой. Иванов—также. Все думали, что зимний его побег удался. На самом же деле, он скрывался на квартире Сабунаева, где просидел до первых чисел июня, лишь по вечерам со всякими предосторожностями выходя прогуляться и подышать свежим воздухом. В начале июня, когда все давным-давно о нем забыли, он перешел на совершенно свободную, вследствие выезда на заимку, квартиру Блоха, откуда скоро перебрался на баржу—в качестве, кажется, погонщика скота, отправлявшегося в Витим.

В июле бежала Б. Лапина, член боевой организации партии с.-р., при помощи капитана парохода фирмы Громовых, которых «старый» ссыльный Михалевич втянул в это дело, пользуясь знакомством с ними по прошлым временам. Он же вывез Двинянинова из Вилюйска. Прожив недели две у меня на заимке, прячась от всяких взоров, он при той же помощи оставил Якутск.

Наиболее рискованным был побег Свядоща.

По рассказам его товарищей, дело происходило так: в августе ему удалось попасть на пароход «Якут», на котором губернатор выехал встречать иркутского ген.-губ. Селиванова, ревизовавшего область. Случилось как-то, что губернатор спустился в машинное отделение и здесь увидал Свядоща, всего черного, измазанного, прятавшегося в помещении для угля. Арестованный, он был отправлен в Якутскую тюрьму на пароходе «Пермяк», капитан которого был архи-черносотенцем. Из тюрьмы его увезли в Вилюйск. Но на осенней пристани, в семи верстах от города, он, в удобный момент, бросился в воду, выскочил на берег и скрылся.

Через несколько дней он выехал на первый от Якутска станок—Табагу—и с помощью случайно встретившегося крестьянского парня, узнавшего в Свядоще политика, ночными сигналами заставил капитана парохода, идущего из Якутска, послать за ним лодку на берег. Оказалось, что то был пароход «Пермяк». С ближайшего станка капитан дал знать, что беглец у него. Но в судьбе Свядоща приняли горячее участие матросы, которые прятали его до села Солянского, где он был спущен на берег следующим образом.

Когда пароход остановился для нагрузки дров, на пристани появился полицейский и зорко следил за всеми сходящими. Тогда приказчики, ехавшие в Иркутск, затеяли во втором классе драку, разбили лампу, стекло, одному даже нос. Поднялся такой шум, что полицейский кинулся в каюту, а тем временем Свядощ сошел на берег, где был окружен появившимися солянцами и увезен. Поиски не дали никаких результатов. Свядощ исчез бесследно.

После этого случая обыски происходили во всех каютах, вплоть до капитанской. Побеги на пароходе становились небезопасными.

А их, до закрытия навигации, предполагалось еще два. Так как пользование одним и тем же пароходом задерживало побеги, то в сентябре мог отправиться лишь один, Михалевич же остался в Якутске до 1909 г. Я выехал последним, мало уверенный в успехе, так как после переговоров с масленщиками выяснилось, что имеется лишь до Витима одно место, где можно спрятаться, но откуда можно также полететь в воду. Все же я поехал.

В 2 часа ночи, переодетый, побритый, с паспортом сына купца в кармане, я подошел к пристани, где ожидавший масленщик увел меня к себе в каюту. Выходить из нее нельзя было ни в какие часы. Ел и пил я вместе с тремя обитателями каюты; они же предупреждали меня, когда можно было по каюте ходить, выглянуть в окошко и даже вылезать по ночам из него на палубу. На пятые сутки меня предупредили, что из Олекминска идет навстречу пароход, повидимому, для обыска. Были уверены, что обыск будет тщательный, так как такая «почетная встреча»—впервые. Скоро пароход со всякими чинами прицепился к нашему, и обыск начался.

— Теперь мы вас запрячем,—сказал, смеясь, масленщик.— Чуть-чуть неприятно и мокровато будет, но зато, надеюсь, не найдут. Вы только осторожней, не шевелитесь, не то выкупаетесь!

И с этими словами он сорвал кусок верхней планки с деревянной стены и быстро вынул две доски, обнаружив в стене отверстие в $^3/_4$ аршина ширины и аршин высоты.

— Лезьте!.. Это стена наружная, смежная с колесом, над которым положены 2 доски. Здесь мы прячем контрабандный чай. На этот раз—вы, вместо него.

Лежа над вертящимся колесом, покрытый брызгами и пеной, несмотря на шум, я слышал вопрос: «А там, за этой стеной, ничего нет?» Слышал и ответ: «А что же там, кроме колеса, может быть?..»—И все смолкло.

— Ну и струсил же я,—сказал потом масленщик,—когда мне задали вопрос. Эти таможенные чиновники, повидимому, знают все наши тайники. Посмотрели бы—хороший там «чай» нашли бы!..

— Да, только весь мокрый, продрогший, лязгающий зубами, но все же еще живой, хоть пролежал в этом адском шуме, на досках, сгибавшихся под тяжестью тела, больше двух часов!

До Витима я ехал после этого спокойно. В Витиме—пересадка. Не успел пароход пристать к берегу, как полиция заняла сходни и пристально осматривала каждого сходящего. Прибежал масленщик.

— Пристав едет в Киренск... Выходите! На пароходе встречу.

— А что, если узнает?—промелькнула мысль.—Ведь, он меня видел восемь месяцев тому назад, зимой, когда я ехал в Якутск. У них память на лица хорошая...

Я совершенно забыл, что в купчике, гладко выбритом и причесанном, в пенснэ и в соответствующем одеянии, трудно, даже

невозможно узнать политического с длинными волосами и большой бородой, в шубе и валенках, в меховой шапке и вязаном шлеме,—этом одеянии зимнего пути в Якутск. Понятно, что никто не обратил на меня внимания, и я был помещен в каюте масленщиков.

Во время одной из стоянок бежали с парохода двое уголовных. Конвой рассыпался по тайге, долго искал бежавших, но их и след простыл. Быстрота, с какой они исчезли, давала право думать, что они спрятались где-либо на пароходе. Поэтому мы все полагали, что пароход будет обыскан. Провал был бы неизбежен. Но солдаты махнули на бежавших рукой и скоро успокоились. За исключением нескольких часов тревоги, проведенных в связи с этим побегом, все остальное время до Усть-Кута прошло совершенно спокойно, в разговорах и беседах.

Но вот и Усть-Кут. Отсюда езда на лодках довольно затруднительна, так как каждая лодка, которую тянет берегом тройка или не менее пары лошадей, требует сильного рулевого, чтобы она не приставала к берегу, и верхового, управляющего лошадьми. Когда я добрался до конторы, лодок уже не было. Надо было спешить обратно на берег выяснить, нет ли где-либо свободного места. Издали увидел якутского купца Кушнарева, подбежал к нему:

— Нельзя ли с вами? У вас лодка собственная...

По удивлению, выразившемуся на его лице, понял, что он не узнает меня.

— Не узнали? Такой-то...

— А! Очень сожалею, что не могу помочь. Мест нет. Смотрите, как набито. Идите влево, авось найдете место в других лодках.

Недалеко на берегу я заметил двух молодых людей в фуражках горняков, укладывавших вещи в просторную лодку. Я направился туда.

— Нельзя ли с вами? Лодок нет...

— У нас лодка казенная...

— Тем лучше. На казенный счет поеду.

Говоря так, я всматривался в их лица, молодые и открытые, вызывавшие доверие. Я обратил внимание на то, что, несмотря на чернорабочего, бывшего в их распоряжении, они делали все сами, распоряжаясь не как сухие чиновники, а как дельные работники-разночинцы. Узнав, кто я, они, казалось мне, не откажут. И, действительно, узнавши о моем побеге, они ни минуты не колебались. С ними, без всяких препятствий, доехал до Жигалова. А отсюда, с одним из них, в казенном крытом экипаже, без всяких затрат, добрался до Иркутска и заехал к нему же, оказавшемуся молодым горным инженером, производившим какие-то изыскания в районе Верхоленска...
